

ИЛ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+



2021

12

“ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО”
ДАНИЕЛЯ ДЕФО

АБДУЛПРАЗАК
ГУРНА
В РУБРИКЕ
“НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ-2021”

ФЛОБЕР
200 ЛЕТ

[12]

2021

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ И ЛИТЕРАТУРА

	3 ЯНА СИМОН <i>“Без страха жить учиться”</i> . Отрывки из книги. Перевод с немецкого и вступление Людмилы Болотновой
	40 ЩЕПАН ТВАРДОХ <i>Морфий</i> . Роман. Перевод с польского Сергея Морейно [Окончание]
Нобелевская премия – 2021	213 АБДУЛРАЗАК ГУРНА <i>Провожатый</i> . Рассказ. Перевод с английского Анастасии Бородачевой
Вглубь стихотворения	222 УИЛЬЯМ ШЕКСПИР <i>Сонет XVIII</i> . Переводы с английского. Составление и вступление Андрея Корчевского
Флобер – 200 лет <i>Составление, перевод с французского и вступление Анастасии Глагощук</i>	227 АНАСТАСИЯ ГЛАДОЩУК <i>“Эта книга – мое завещание”</i>
	229 ГЮСТАВ ФЛОБЕР Из <i>“Лексикона прописных истин”</i>
	237 РЭМОН КЕНО <i>“Бувар и Пекюше” Гюстава Флобера</i> . Предисловие к роману
Переперевод	249 РОЛАН БАРТ <i>Кризис истины</i> . Интервью
	254 ДАНИЕЛЬ ДЕФО Из книги <i>Дальнейшие приключения Робинзона Крузо</i> . Глава XIII. Перевод с английского и вступление Александра Ливерганта
Статьи, эссе	266 ЕВГЕНИЙ БЕРКОВИЧ <i>Томас Манн и Первая мировая война</i>
Библиография	273 Содержание журнала “Иностранная литература” за 2021 год
	284 Алфавитный указатель авторов журнала “Иностранная литература” за 2021 год
Авторы номера	286

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 года – “Иностранная литература”.

Главный редактор

А. Я. ЛИВЕРГАНТ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА

С. М. ГАНДЛЕВСКИЙ

А. В. ГЛАДОШУК

О. Д. ДРОБОТ

Т. А. ИЛЬИНСКАЯ
ответственный секретарь

Международный совет:

ВАН МЭН

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

МАТЕЙ ВИШНЕК

МИЛАН КУНДЕРА

КЭНДЗАБУРО ОЭ

РОБЕРТ ЧАНДЛЕР

ХАНС МАГНУС

ЭНЦЕНСБЕРГЕР

Общественный редакционный совет:

Л. Г. БЕСПАЛОВА

Н. А. БОГОМОЛОВА

Е. А. БУНИМОВИЧ

Т. Д. ВЕНЕДИКТОВА

А. А. ГЕНИС

В. П. ГОЛЫШЕВ

Ю. П. ГУСЕВ

С. Н. ЗЕНКИН

Г. М. КРУЖКОВ

М. А. ОСИПОВ

М. Л. РУДНИЦКИЙ

И. С. СМЕРНОВ

Е. М. СОЛОНОВИЧ

Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

А. В. ЯМПОЛЬСКАЯ



“Без страха жить учись”

Отрывки из книги

Перевод с немецкого и вступление Людмилы Болотновой

Летом 1998 года Яна Симон, 25 летняя берлинская журналистка, начала записывать беседы со своими дедом и бабушкой, Кристою и Герхардом Вольф, известными писателями ГДР. В этих беседах речь шла о временах национал-социализма, о ГДР и о сегодняшнем дне. Беседы продолжались до июля 2012 года. Из них получилась книга, фрагменты которой мы предлагаем читателю.

Берлин–Панков, 22 августа 1998

В первый раз мы встречаемся в квартире бабушки и деда на севере Берлина. Время после полудня, мы сидим в зимнем саду за кофе и пирожниками. И каждые несколько минут слышим шум самолетов, которые садятся в аэропорту Тегель. Дедушке и бабушке почти по семьдесят, мне едва двадцать пять. Я только что начала работать журналистом. Кассетный магнитофон для записи лежит передо мной. Они смотрят на меня полные ожидания, потому что не очень хорошо представляют себе, чего же я, собственно, хочу. Я заявила только, что хочу говорить с ними об их жизни.

Яна Симон. Я почти ничего не знаю о вас, о вашем прошлом.

Криста Вольф. Тогда просто почитай “Образы детства”.

Я. С. Я уже читала. Но там написано не все. Я бы хотела услышать историю вашей жизни от вас самих.

Герхард Вольф. Я хотел поехать с твоим кузеном Антоном в этом году в Тюбинген в Бад-Франкенхаузен на празднование тысячелетия и показать ему мой родной город, но у нас так и не нашлось на это времени. Когда я был еще мальчишкой, в Бад-Франкенхаузене тогда было восемь тысяч жителей, бассейн, приют для больных астмой, который после войны преобразовали в детский дом, а руководил им отец Кристи, дедушка Иленфельд. Рядом с Франкенхаузеном расположена знаменитая Шлахтберг. Место, где в 1525-м была одержана победа над восставшими крестьянами¹.

Мой отец состоял в партии и был бухгалтером Военного союза рейха. Поэтому после войны он не мог больше работать по профессии, он должен был работать на государство в сельском хозяйстве в качестве рабочего. Власти нужны были рабочие руки, и нацисты младшего звена посылались туда. Потом он поступил на кнопочную фабрику, крутить пуговицы, а позже снова стал работать бухгалтером.

Я. С. И как ты воспринимал то, что твой отец был членом НСНРП (НСРПГ)², да и ты был в “Гитлерюгенде”, не так ли?

Г. В. Нет, не был. В отличие от Кристи я не был восторженным приверженцем Гитлера. Я просто не подходил для “Гитлерюгенда”. И это связано для меня скорее с травмирующими воспоминаниями: однажды командир юношеского отряда отвел нас, мальчиков четырнадцати-пятнадцати лет, в бассейн и просто бросил всех не умеющих плавать в воду. Командиры отрядов были высокие, сильные парни, а я был маленький, тощий белокрысый мальчишка. Некоторые из мальчиков потом старательно учились плавать, но я отказывался и занял защитную позицию, как это называется в борьбе. Такое поведение стало проявляться у меня еще сильнее, после того как отец женился на войне второй раз. Моя мама умерла в 1938-м от рака груди, мне было тогда десять лет. И мой отец познакомился со своей второй женой Фелицитас, называемой Фейхен, через полевую почту. Это была настоящая представительница нацистской женской породы: женщина-нацист. Она носила золотой спортивный значок и сразу же повела меня плавать. Но я отказался принимать в этом участие.

Я. С. А кем твой отец работал?

Г. В. Мой отец, как и дедушка Иленфельд, относились к поколению, родившемуся на рубеже веков. Они сражались еще в Первую мировую войну. Мой дедушка еще совсем молодым был призван добровольцем в армию. Но вскоре ему на лодыжку упал пулемет, и поэтому он сидел потом все время за письменным столом в канцелярии. Он даже хотел стать журналистом — единственный в семье. Все остальные были рабочие. Многие поколения работали в городе Зуле, делали втулки. Они никогда не были на войне, они делали

оружие. Во время летних каникул я приезжал к моему дяде, он брал меня с собой на фабрику, и с одной из кузин мы участвовали в пристрелке винтовок. Там, во время испытаний, я сидел в яме, надо мной хлопали выстрелы, и я указывал, куда они попадали. Мне это очень нравилось.

После Первой мировой войны отец был принят в стотысячную армию (Рейхсвер)³ и служил в чине младшего офицера в канцелярии. Позже он был в объединении “Стальных шлемов”, организации фронтовиков, которая позже вступила в СА — штурмовые отряды. Там у моего отца была скромная должность служащего в министерстве финансов. К тому же он был очень хорошим учителем стенографии.

К. В. Я научилась у него стенографии.

Г. В. Благодаря этому он выигрывал призы. Это был типичный маленький человек, оказавшийся в отрядах штурмовиков. Он был 1896 года рождения и, как и отец Кристи, принимал участие в походе на Польшу во время Второй мировой войны, недолго пробыл во Франции. Затем они были освобождены от службы по возрасту.

К. В. Мой отец оставался в солдатах в канцелярии командования округом, но по вечерам он мог приходить домой. Поверх серых солдатских штанов он носил белый китель и в таком виде приходил в наш магазинчик в Ландсберге, чтобы помогать маме, которая и во время войны не прекращала в нем работу.

Я. С. Дед, а как ты воспринял то, что в семье появилась новая мама?

Г. В. Она была очень строгая. Один из нас должен был чистить обувь, другой пылесосить. Недавно мы нашли мое заискивающее письмо к ней.

Я. С. Ты не очень-то любил эту женщину.

Г. В. Нет, это письмо нашел мой брат Дитер, я приветствовал “новую маму” и писал: “Хорошо, что у нас снова есть семья”, что совершенно не соответствовало действительности. В 1942 году она родила от моего отца еще одного ребенка. Это был мой сводный брат Гельмут, в 1987 году он погиб в автокатастрофе.

Я. С. Ты о нем никогда не рассказывал. Вы росли вместе?

Г. В. Не совсем. Я вскоре покинул дом. В пятнадцать лет я был призван в армию в качестве помощника в люфтваффе. Как же молоды мы были тогда! Мой отец был тогда бухгалтером в объединении “Кифхаузен”, и поэтому мы переехали в Ратсфельд, ближе к Франкенхаузену. Впервые у нас была прекрасная квартира в только что отремонтированном доме с ванной и туалетом; тогда это была редкость.

Я. С. В пятнадцать лет тебя послали воевать, и куда же?

Г. В. Сначала в Эрфурт, на окраине города стояла 4-я зенитная батарея, она сбивала самолеты-истребители. Во время наступления противника двое молодых ребят были тяжело ранены. Затем мы стояли у плотины Сааль. Перед этим англичане разрушили торпедой плотину Эдер на Западе, и теперь приходилось защищать остальные плотины.

От тумана ничего не было видно. Мы сосредоточились в горах, и от одной вершины горы до другой висела сетка с маленькими взрывными шашками внутри. В общем-то, до января 1945-го там мало что происходило. Потом нас всех отправили на фронт, на Одер. Там стояли зенитные батареи большого калибра, у которых почти не было снарядов. Русские с одного из плацдармов уже пересекли Одер, который, собственно, и был линией фронта. Там было затишье до начала большого наступления 16 апреля, во время которого русские обрушили на нас мощнейший ураганный огонь. Я располагался рядом с Бад-Фрайенвальде, и мы бежали севернее Берлина к американцам.

Я. С. Ты все еще верил тогда в победу Германии?

Г. В. Нет. Американцы были уже в Тюбингене. Но были и такие, кто говорил: “У Гитлера есть чудо-оружие! Война не может быть проиграна!” А потом я попал в плен. Выше Мекленбурга на восточной стороне Эльбы. Мы все стремились туда: подальше от русских, поближе к американцам. Путь лежал через Эберсвальде и до Мекленбурга, по дорогам растянулись потоки беженцев. Мы сидели в старой пожарной машине. Оружие и каску я выбросил. Когда американцы нас схватили, у меня уже ничего не было. Американцы заставили нас строить импровизированный лагерь и тянуть колючую проволоку вокруг небольшого соснового леса. Сначала нам давали пакеты с завтраком — кекс и сигареты, — один пакет на трех человек. Но у нас были еще консервы в рюкзаках. Через 14 дней нас, подростков, распределили по окружающим крестьянским хозяйствам. Там мы исправно получали жареный картофель и молочный суп. Мы все трое были из Тюрингии и в одно прекрасное утро просто сбежали, сами себя освободили. Нас, правда, никто и не держал, ведь мы были действительно почти мальчишки. Это было в мае 1945 года.

К. В. Но ведь капитуляция была подписана только 8 мая.

Г. В. К тому моменту мы уже были на пути к дому.

Я. С. Ты испытал облегчение, когда война закончилась?

Г. В. Да, все уже хотели домой! Многие из тех, кто раньше вернулся, снова были арестованы русскими и снова попали в плен. Кругом была большая неразбериха.

Я. С. А ты верил в Гитлера, ты же за него воевал?

Г. В. Я был телефонистом, по-настоящему не воевал. Спустя несколько лет я работал как драматург вместе в Кондрадом Вольфом⁴ над фильмом “Когда мне было девятнадцать”. Его семья жила в России в эмиграции, и он воевал на стороне русских. Во время войны в 1945-м мы лежали в окопах по разные стороны Одера, напротив друг друга, и я слышал, как они агитировали по радио, запускали немецкие шлягеры и призывали сложить оружие. Но мы были глухи к этим призывам. Мы что, должны были переплывать через Одер?

Я. С. И с кем ты связывался по телефону?

Г. В. Я тянул провод, прокладывал связь между отдельными подразделениями. Иногда мы попадали под обстрел русских самолетов. Наша батарея имела позывной... “береза”? Нет, “ива”!

Я. С. Это значит, что ты тогда верил в национал-социализм?

Г. В. Ты понимаешь, это странный вопрос! Что значит верил? Мы тогда на фронте говорили о том, что американцы стоят уже у Айзенаха, спрашивали себя: что же это все означает? Как нам вернуться домой? Что случилось?

Я. С. У тебя был страх за свою жизнь?

Г. В. Настоящего животного страха, собственно, не было никогда. Когда я сидел под ураганным огнем в ДЗОСе⁵, у меня не было каски, голова была накрыта котелком. Я просто думал тогда, как бы себя защитить. До 16 апреля вообще все было спокойно. А когда все началось, батарея отодвинулась назад, вглубь. Я больше не знал, есть ли приказы вообще.

Я вспоминаю один случай, но не помню, где это произошло. Мы окопались и подготовили винтовки. А меня поставили за пулемет, с которым я вообще не умел обращаться. Потом пришли русские, выстроились в шеренги напротив нас, и зажужжали пули. Слава Богу, был отдан приказ отступить. Я обрадовался, и мы побежали, а пули свистели и свистели вокруг. Наша батарея сделала всего несколько выстрелов, потом пушки взорвали, и мы сбежали. Я сидел в машине передвижной радиостанции, рядом со мной лежал мужчина, лицо у него было бледное, из руки сочилась кровь. Потом появился кавалер Железного креста, он хотел нас задержать. Он стрелял в воздух, кричал, что мы должны защищаться. Кругом была полная неразбериха. Бегство, конечно, было полно приключений.

Когда в 1945-м я вернулся домой, нас в конце концов из Ратсфельда выселили. Русские сделали из замка лазарет. И однажды, в течение одного дня, нам пришлось собрать свои вещи и с помощью трактора вывезти их на буксире. Мы поселились во Франкенхаузене как беженцы и жили полгода в школе в одном из классов.

Я. С. А ты знал к тому времени о том, что существовали концентрационные лагеря? Что-нибудь об этом доходило до тебя?

Г. В. (*задумался*). Очень трудно сказать.

К. В. Я знала об этом.

Г. В. Я должен хорошенько подумать. Совершенно точно, что об этом почти ничего не говорилось.

К. В. У нас называли это КЦ, когда взрослые говорили об этом — “Концерт-лагерь”.

Я. С. Как так “Концерт-лагерь”?

К. В. Мои родители держали продуктовый магазинчик, покупатели друг с другом, разумеется, беседовали. Ребенком я, конечно, далеко не все могла понять. Должно быть, в 1935-м или в 1936-м я впервые услышала это слово. Мой отец сам произнес: один покупатель, такой-то, вернулся из “Концерт-лагеря”, но им не разрешается ничего об этом рассказывать. Мне это запомнилось, тут, вероятно, была какая-то тайна, взрослые всегда говорили об этом только шепотом. Что существовали КЦ, об этом знали.

Я. С. А вы могли что-то конкретное себе представить?

К. В. Нет, совсем ничего.

Г. В. Это довольно сложно точно проследить. Я помню, что сразу после войны в Бад-Франкенхаузене мы с друзьями пошли посмотреть пьесу Гюнтера Вайзенборна “Нелегалы”⁶. Там он описал Сопротивление, борьбу против нацистов. Мы над этим смеялись.

К. В. Да?

Г. В. Но после войны у нас были хорошие учителя, и один из них, учитель немецкого, социал-демократ, прошел Бухенвальд. Тогда мы и узнали, что было что-то вроде КЦ Бухенвальд. До войны об этом не говорили. Очень трудно сказать, о чем действительно знали, а может, не хотели знать. Например, известие о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года просочилось, несмотря ни на что. Я был телефонистом. Офицеры вели себя очень странно, неясно было, на чьей они стороне. Это как безвоздушное пространство, это я помню совершенно точно.

К. В. 20 июля мой отец был еще в Управлении призывного пункта и получил вечером сообщение по телефону с кодовым словом. Я помню, он испугался и сказал, что что-то должно случиться, поскольку произошло нечто ужасное. Через два дня нас всех – гитлерюгенд, гитлермэдхен – собрали на Марктплац моего родного города Ландсберга на Варте⁷ и выстроили в форме большого каре, и штурмбанфюреры объявили: “фюрер” спасен. Провидение сохранило нам “фюрера”. Заговорщики были объявлены предателями.

Я. С. Обо всем остальном вы узнали уже после войны? И как на вас повлияли эти ужасные разоблачения? Это, наверное, было шоком?

К. В. Это была катастрофа. Что я до этого знала, ну или догадывалась, так это то, что преследовали евреев. Моя тетя Грета имела, по тогдашним оценкам, еврейские черты: темные волосы, нос с горбинкой. Она была очень привлекательной женщиной, и у нее был муж, в которого она была безумно влюблена. Но у него была любовница. Поэтому она с ним рассталась. Однажды она пришла к нам и сказала: “Представьте себе, эта любовница распускает слухи, что я якобы еврейка!” В тридцатые годы это было катастрофой. Я была еще маленькой, вероятно лет семи, и ужасно испугалась. Я пошла в кухню, уселась на ящик с углем. Моя мама спросила: “Что такое?” Я сказала: “Я не хочу быть еврейкой”. Тогда мама сказала: “Боже мой, откуда же ребенок знает, что значит быть еврейкой”. Одним словом, это витало в воздухе. Но сегодня я вряд ли могла бы сказать, откуда уже в семь лет я знала, что быть еврейкой опасно.

Г. В. У нас напротив жила фрейлейн Давид, которую я очень любил, потому что она мне дарила кубики. И вдруг ее не стало. Но об этом не говорилось. Во Франкенхаузене одна супружеская пара носила жёлтые звезды, старые люди, больно было смотреть на них, это было странно...

Я. С. Именно это я и имею в виду, этого невозможно было не заметить!

Г. В. Об этом не говорили.

Я. С. Но нельзя же было не увидеть витрины магазинов с надписью “еврей” или людей со звездой на одежде.

К. В. Послушай, Яна, я ни разу не видела ни одного человека со звездой на одежде.

Г. В. Я видел только одну эту пару. Когда я пришел с фронта в отпуск, мы ехали на автобусе за покупками из Ратсфельда во Франкенхаузен. В автобусе сидел пожилой мужчина с еврейской звездой. Автобус был полон, и моя мачеха Феехен сказала громко: “Что ж получается, немцы должны стоять, в то время как евреи сидят!” Я счел это отвратительным. Это же был пожилой мужчина.

К. В. Я видела, как горела синагога в Ландсберге. Эту сцену я описала в романе “Образы детства”. Наверное, я пошла в старый город. Помню, я была в тренировочном костюме и увидела, как горит синагога. Мне запомнилось на всю жизнь: мужчины, в длинных одеяниях с обвисшими локонами и в кипах, которые я до этого никогда не видела, спасают предметы культа: золотые чаши, сосуды из пылающей синагоги. Об этом никогда больше не говорилось. Недавно я снова была в Ландсберге и увидела, что весь квартал снесен.

Я. С. Что ты тогда подумала?

К. В. Было сострадание, я была жалостливым ребенком. В то время мне нельзя было рассказывать историй, в которых была несправедливость. Я сразу начинала рыдать. Когда я писала “Образы детства”, я попыталась описать уничтожение евреев в Ландсберге. Это получилось у меня только до определенной степени, частично. Моя семья была не такой, как у Герда, у нас был магазин, свой дом...

Г. В. ...вы стояли выше по общественной лестнице.

К. В. Мы принадлежали к мелкой буржуазии, но находились на более высокой ступеньке. Отец Герда был мелким служащим, а мой все-таки торговец. В принципе они имели одинаковый менталитет. Мой отец был очень общительный. Но все равно у моих родителей друзей не было. Они не приглашали гостей и не давали обеды, как мы сегодня. Такого у нас вообще не было.

Я. С. В доме никогда не говорили о политике?

К. В. Говорили!

Г. В. Но с детьми нет, мало говорили. Мой отец ни разу мне не сказал, что моя мама умерла. Тогда в семье почти не разговаривали, и я был совершенно изолирован, много читал.

К. В. У нас было немного по-другому. Вся наша семья жила в этом же городе. Мои бабушка и дедушка с маминой стороны были из восточной Германии. Оба дедушки работали на железной дороге, что было гордостью семьи. Дед, который был переведен в Ландсберг, компостировал в кассе билеты.

Г. В. Железная дорога, новые железнодорожные ветки — большой прогресс в промышленности.

К. В. Мои дед с бабкой жили в бараке на Кессельштрассе, они были очень бедны. Бабушка тянула всю семью, она держала коз и

кроликов, сама их резала. Мне, ребенку, этого, конечно, не говорили. Отец моей мамы, дедушка Герман, один раз в месяц ходил получать пенсию. Однажды я была у них, когда бабушка его отправляла, она сказала: “Сразу возвращайся домой!” Он не мог себе позволить ни рюмки шнапса, но и не мог от этого удержаться. Моя мама очень переживала, что вынуждена унижаться перед инспектором — лишь бы ее отца не уволили.

Мама ходила в среднюю школу, она была талантлива. А отец еще талантливее — во всем. В общедоступной восьмилетней школе он был первым. Его учитель пришел к моему деду и сказал: “Твой сын такой толковый, ему необходимо окончить среднюю школу”. Дед возразил, что об этом не может быть речи, его сын должен быть такой же, как все. Он так и не разрешил отцу учиться дальше, сам же почти не умел ни читать, ни писать. Этот учитель помогал моему отцу. Семья отца происходит из западной Пруссии, у каждого из родственников были свои маленькие дурачества. Когда они приезжали к нам в гости, я так смеялась — они так забавно дурачились. Дядя Генрих, к примеру, или тетя Эмми — когда мы праздновали день рождения, у нее была такая “пукающая” подушка. Она садилась на нее, и вдруг посреди семейного праздника начиналось это — ка-а-в-у-ф-ф-ф!

Я. С. Так значит, твой отец не окончил среднюю школу?

К. В. Мама окончила, а он нет, и это сказывалось на их отношениях. Мама изучала иностранные языки и, когда мой отец что-то неправильно говорил по-французски, с укором говорила: “Ах, Отто!” Он был во французском плену. “Не долби меня без конца!” — говорил он в ответ. У меня создалось впечатление, что их свадьба была для мамы последним шансом. Когда она вышла за него замуж, ей было двадцать шесть лет, а в те времена это было уже поздно. Она была очень независима, работала бухгалтером на большой фабрике по производству сыров. Она могла сама себя обеспечивать. И после того как они поженились, они завели магазинчик.

Я. С. Где же они познакомились?

К. В. На празднике у одной из маминых подруг. Отто обратил на нее внимание. Он слегка выпил, и, когда она хотела уходить, он вызвался ее проводить, она же этого не хотела. Все же он ее проводил. Мама потом усадила его на камень в саду перед домом, и, когда она потом посмотрела из окна, его на улице уже не было. Она же всю ночь думала: “Куда же он мог деться в таком пьяном состоянии?” А он доплелся до парка и переночевал на скамейке. Так, во всяком случае, гласит семейное предание. Утром его поднял на ноги полицейский. Он быстро привел себя в порядок, позвонил с работы маме на фабрику и спросил, когда они снова смогут встретиться. На маму это произвело впечатление.

Г. В. Расскажи про Лехнера!

К. В. Это семейная история, о которой я узнала намного позже и которая меня очень занимала. Когда я писала “Образы детства”, я много расспрашивала отца о нашей семье, и он рассказал следую-

щее: у сестры мамы, тети Эльфриды, яркой женщины, много раз были выкидыши. Это означало, что у нее не может быть детей. Ее муж, дядя Макс, был доверенным у торговца углем Видеманна. И вдруг она забеременела. В нашей семье никогда не говорили о таких вещах. Ты себе, конечно, не можешь этого сегодня представить, как тогда все подслушивали и пытались выведать подробности. Ребенок у нее родился семимесячным. Я, конечно, хотела узнать побольше, но никто мне ничего не рассказывал. Его срочно окрестили. Герхард, так звали младенца, выжил. Папа как-то проговорился, что в семье ходил слух, будто ребенок был не от дяди Макса, а от лечащего врача-еврея тети Эльфриды, доктора Лехнера. В “Образцах детства” я об этом пишу. Я описала праздник, где доктор Лехнер, которого я назвала доктор Ляйтнер, сидит около тети Эльфриды. Прошли годы, и неожиданно в начале 80-х я получаю письмо из Канады, начинающееся со строчек: “И из темноты является Господь, насколько лишь возможно, и нити, порванные, вновь соединяет”⁸.

Г. В. Мы спорили, кто автор. Гёте?

К. В. “Дорогая Криста Вольф, — говорилось в письме. — Пишет Вам доктор Ляйтнер”. Лехнер иммигрировал из Германии в 1936 году. Я сразу же ответила, и уже из второго письма стало ясно, что он действительно приходится отцом Герхарду. Потом он специально приезжал в Германию, и мы встречались в Западном Берлине. Такой благородный на вид мужчина. Он рассказал, что часто видел тетю Эльфриду возле своего кабинета, и однажды она вдруг предстала перед его дверью. Он сказал: “Милостивая госпожа, вы знаете, что я не имею права вас принимать”. Его кабинет врача был переведен с Марктплац, он имел право принимать только евреев. Тетя Эльфрида сказала, что это ничего не значит, ее врач тоже еврей, но он сейчас в отпуске. Доктор Лехнер установил, что у тети Эльфриды все в порядке. То, что она не может забеременеть, это проблема чисто психологическая.

Г. В. Это было безумие. Оба жили в одном доме. Когда все собрались по поводу крещения Герхарда, доктор Лехнер сидел на месте дяди Макса...

К. В. при крещении, как правило, каждый мог попросить исполнить песню, и гости должны были ее спеть. Доктор Лехнер попросил спеть “У колодца перед воротами” — самую немецкую из всех немецких песен. И эту немецкую песню немецкая семья спела для врача-еврея. Я спросила моего отца: “Это не было опасно?” Он сказал: “О Боже, нет, это же был врач тети Эльфриды, и мы знали, что она его очень ценит и что он симпатичный человек и очень помог ей родить ребенка”.

Я. С. Что было дальше?

К. В. Доктор Лехнер, находившийся во время Хрустальной ночи⁹ в Берлине, вернулся обратно в Ландсберг, а там всех евреев города собрали в спортивном зале средней школы. И он тоже должен был там

быть. Но у него в кармане было разрешение на выезд в Америку. Он был допрошен, за это частично отвечали старые члены социал-демократической партии Германии (СДПГ). Лехнер сказал, что у него есть разрешение на выезд, не хватает только билета на пароход. Его отпустили. В ноябре 1938 года тетя Эльфрида отвезла его на вокзал, и он уехал. После войны тетя Эльфрида нашла его через Красный крест. Он жил в Чикаго и к тому времени был уже женат. Несколько раз они писали друг другу, потом она прекратила переписку, не хотела мешать его семейной жизни. Позже его сын Герхард написал ему с просьбой дать ему ссуду на обучение. Действительно, Лехнер послал ему деньги, и больше я о нем никогда не слышала.

Я. С. Какая печальная история.

К. В. Не знаю, где сейчас Герхард. Эту переписку надо бы опубликовать, но без его согласия сделать этого я не могу.

Я. С. Бабушка, с тобой было по-другому, чем с дедом, ты ведь по убеждению вступила в Союз немецких девушек.

К. В. Абсолютно. Когда я туда вступала, “Гитлерюгенд” стал государственной организацией, вступить в “Гитлерюгенд” должен был каждый, но заставлять было не нужно. Мне было 10 лет, и я сама хотела туда.

Я. С. Почему, что тебя привлекало?

К. В. Меня... да... фюрер привлекал.

Я. С. Сама его личность или то, что он говорил?

К. В. Я сидела у радио и слушала его речи — это тьяканье, лающий немецкий язык. Яна, ты должна себе представить, уже в первом классе у нас был учителем убежденный национал-социалист, человек из СС, который в этой форме приходил в школу. Он преподавал нам религию и представлял нам Иисуса Христа предшественником нашего “фюрера”. Он нам объяснял, что Германия проиграла в Первой мировой войне из-за предательства коммунистов и евреев. Потом появился этот позорный Версальский договор, и вот теперь наконец-то Германия снова встает с колен. Фюрер пришел для того, чтобы вести немецкий народ к новым вершинам. Я ощущала все это, как нечто созидательное, то, чем можно гордиться.

Г. В. Тогда мгновенно прекратился и экономический кризис. Был взлет. Было чувство, что все идет вверх, вперед, но мы не знали, увы, куда...

К. В. Ну да, я была ребенком и не воспринимала все так всерьез. К тому же у меня было одно свойство, которое у Герда выражено гораздо слабее. Я была невероятно восторженной. Мне хотелось чем-то восхищаться, во что-то верить. Я вспоминаю, как я с одной своей подружкой, которая думала точно так же, беседовала на школьном дворе: ну да, сегодняшнее поколение никогда не станет таким, как хочет “фюрер”, но, когда мы вырастем, мы станем именно такими, какими нас хочет видеть “фюрер”. Вот такую чушь мы болтали в девять-десять лет.

Я. С. И какими же “фюрер” вас хочет видеть?

К. В. Настоящими немецкими матерями и женщинами. Людьми, которые ради Германии будут способны жить и умирать. В национал-социализме большую роль играл культ смерти.

Я. С. Речь идет о самопожертвовании?

К. В. Были такие мрачные песни и стихи: “Германия должна жить, даже если мы должны умереть”¹⁰ – этот лозунг висел в зале для рисования в моей школе.

Г. В. “Кто хочет жить, борись, и кто не хочет сражаться в этом мире, похожем на бесконечный боксерский поединок, не заслуживает жизни” – слова “фюрера”, и их записывали в поэтических альбомах.

Я. С. В ваших детских душах вызывало восхищение желание самопожертвования?

Г. В. Об этом мы не очень-то задумывались.

К. В. К концу войны, когда нам было уже по пятнадцать-шестнадцать лет, оставались еще люди, которые вступали в последнюю схватку за Гитлера.

Г. В. Существуют фотографии, на которых Гитлер награждает железным крестом совсем маленьких мальчиков.

Я. С. Все это звучит так, будто вы уже тогда были весьма политизированы.

К. В. Политизированы в некоем примитивном смысле. В действительности, в политике я, конечно, ничего не понимала. Что мы вообще знали? Откуда? Ведь если во всем твоём окружении нет ни единого человека, который мог бы тебе рассказать, что происходит в мире, то каким образом ты ребенком можешь знать, что происходит? По радио мы слышали только нацистские передачи, никаких зарубежных программ. Слишком велик был страх у моих родителей. В двенадцать лет я читала “Черный корпус”, мрачную эсесовскую газетенку.

Г. В. В моей семье такой не было.

Я. С. А почему такой у вас не было?

Г. В. Из-за неграмотности. Вплоть до самой войны о политике у нас в семье вообще не говорили. Эта новая мать, Феехен, как ее называли, работала в приюте для детей с ограниченными возможностями, и она рассказывала, какие жалкие эти дети. Для нее они были “бесполезной жизнью”, их следовало стерилизовать. Она дружила с одним эсесовцем и вела дома настоящие нацистские дневники.

К. В. “Народ без пространства” – такая книга стояла у нас дома на книжной полке.

Г. В. Когда появилась Феехен, она принесла с собой портрет фюрера. Сначала у нас над столом висел Гинденбург, а потом Гитлер.

Я. С. А как ты реагировал на нее и ее воззрения?

Г. В. Я не понимал, почему должен был отныне стать сильным спортсменом или пловцом. Она завела строгий режим, который мы, дети, должны были выполнять.

Я. С. Любви у нее к вам было совсем немного?

К. В. Совершенно никакой!

Г. В. Позже, в 1950 году, она скоропостижно скончалась от рака. Она сказала тогда: “С этим новым миром я не хочу иметь ничего общего!” До самого конца она верила в нацизм.

К. В. Когда мы с Герхардом сошлись, Феехен сказала моей матери: “Герд не создан для семьи, Криста должна держаться от него подальше!”

Г. В. В 1946 году после объединения КПП и СПГ я вместе с моим школьным другом вступил в СЕПП¹¹. Мы просто хотели разозлить старших. Это было основной причиной. Однажды за обеденным столом я объявил: “Я вступил в СЕПП”. У моего отца ложка выпала из рук. “Когда-нибудь ты в этом раскаешься!” — сказал он.

Я. С. Пророк!

Г. В. Мой отец сказал, что никогда больше не вступит ни в одну партию. И вот наступил мой триумф. Я очень гордился собой, своим мужественным поступком. В те времена было легко вступить в партию, не нужно было рекомендаций, поручителей. Нам было по восемнадцать лет, и мы плохо представляли себе происходящее. Наш учитель Шрёдер нам очень импонировал, старый социал-демократ, сидел в Бухенвальде, преподавал литературу. Но учителя времен нацистов еще частично оставались и после 1945 года, учитель музыки например, который сочинил “прекрасную песню” “Знамя со свастикой”.

Я. С. Вы можете вспомнить тот день, в который вы впервые узнали, что действительно происходило, когда впервые услышали о существовании концентрационных лагерей и уничтожении евреев?

К. В. У меня перед глазами такая картина: я вижу, будто сижу на скамье и читаю книгу, с очень плохой печатью. Автор пишет о концентрационном лагере. Я смотрю и думаю: если действительно так было, значит все, что нам говорили, — неправда. Почему я так подумала? Нацисты не скрывали, что хотели своих противников уничтожить. Но уничтожение евреев в таком количестве держалось в тайне. Почему им приходилось это скрывать? Потому что тогда еще имели влияние христианские идеалы, то есть то, каким человеку следовало бы быть. Все это не сочеталось с нацистским представлением о человеке. Мелкое бюргерство тянулось к Гитлеру. С другой стороны был лишь тонкий слой приверженцев, готовых жить, как эсесовцы, вести себя так, как это им предписывал “фюрер”.

Мы не ходили в церковь. Я прошла конфирмацию, моя бабушка считала: так должно быть. Моя мама не была противницей нацизма, но у нее были христианские убеждения. Она помогала другим, например супружеской паре Леманн, учителям средней школы. Они жили совсем рядом с моими родителями и много лет были покупателями у нас в магазине. И вот однажды, как сейчас вижу, учитель средней школы Леманн стоит посреди нашей жилой комнаты в крайнем возбуждении, стоит, потирая руки, и объясняет маме, что он подозревается в еврейском происхождении. Его усыновила

еврейская чета, но его настоящие родители были “арийцами”. Он хотел найти документы, чтобы это подтвердить, потому что его уже уволили из школы, и жену тоже...

Г. В. В каждой семье должен был быть документ, подтверждающий арийское происхождение вплоть до Средних веков...

К. В. И хотя к этому времени я уже готова была вступить в “Югендмэхен”¹², я безумно сочувствовала этому человеку. Моя мама сказала ему: “Вы совершенно не обязаны мне все рассказывать. Я вам верю, и, конечно, вы и впредь можете у нас покупать”. И что она сделала? Она посылала каждую неделю меня и моего брата к Леманнам помогать им с английским языком. Брату он помог избавиться от шепелявости при помощи маковых зерен. Или однажды мама — и это было действительно опасно — ближе к концу войны помогала советским военнопленным. На стадионе в Ландсберге были сооружены бараки для советских военнопленных и иностранных рабочих. Но до нас дошли слухи, что их не кормили, и они умирали как мухи. Однажды у нас была в гостях тетя Эмми из Кёнигсберга, она сидела перед домом и вязала, а я бродила по улице. В это время пришла одна украинка, она ходила за покупками для жен офицеров, и они шептались с моей тетей, которая знала польский язык. Потом она исчезла. Только после войны мне рассказали — украинка рассказала моей тете, — в лагере есть молодая девушка, она ждет ребенка, но у нее совсем нет вещей для ребенка. Когда мама это услышала, она отдала целую корзину с порванными простынями и платками. Через несколько дней перед нашим магазинчиком лежал букет цветов и записка: “Спасибо”. Если бы об этом узнали, маму бы забрали.

Я. С. Бабушка, ты рассказываешь о своей маме с восхищением. Как влияли на вас ваши семьи? Что в вас от ваших родителей?

К. В. Мы с братом обожали маму и почти обожествляли ее. Когда она однажды заболела и ее положили на операцию, я сразу же устроила ужасный скандал, стала реветь, топтать ногами. Моя мама тогда сказала мне: “Ты настоящее дитя революции!” Это потому что я родилась 18 марта. Она доминировала в семье и билась за нас, как львица. Папа, напротив, был мягче, слабее... качество, которое я лишь позже смогла в нем оценить. Его способность приспособливаться меня тогда раздражала. Но он был хорошим человеком!

Г. В. Это был типичный приспособленец.

Я. С. Политически?

К. В. Нет, вообще.

Г. В. Он хотел со всеми быть в хороших отношениях.

К. В. Часто мне не нравилось, как он обходился с людьми. Но потом, в последние годы его жизни, я вполне оценила, что почти до конца своих дней он сохранил дружелюбие и интерес к людям. На протяжении долгого времени я думала, что ему не хватает гордости, которая есть у мамы. Мама была очень гордой, я — в нее.

Г. В. Мой отец никогда не говорил со мной о маме. А я никогда не спрашивал. О том, что она умерла, рассказала мне наша домра-

ботница. Я был взбешен. Я редко злюсь, но на похоронах матери вцепился в нашу соседку и сказал: “Ты же никогда ее не выносила!” У меня не было тесных отношений с моей семьей. Я хотел как можно быстрее уйти из дома.

К. В. Для меня это просто невообразимо. У него не было близости с семьей и он не хотел этой связи. От очень тесной связи с семьей я смогла избавиться только с его помощью. <...>

С тех пор как я начала работать над “Обрами детства”, я снова и снова спрашиваю себя: почему для меня стало катастрофой, когда я узнала об уничтожении евреев.

Г. В. Что значит катастрофой? Это все же как-то уж слишком!

К. В. Когда я узнала, что нацисты действительно творили в Германии...

Г. В. Ну, и как выглядела эта катастрофа?

К. В. После нашего бегства, когда мы обосновались в Гаммелине, в этой деревне земли Мекленбург, помню в точности, как мы поехали в 1946 году на вокзал встречать отца. Мы договорились встретиться после войны у моего дяди, папа прибыл туда после года пребывания в русском плену, и оттуда он сразу нам написал, что приедет. Мы заказали повозку и поехали на вокзал. Из поезда высаживалось множество людей, возвращавшихся из плена. Среди них был и отец — человек в очках с эмалированной оправой, которые он закрепил при помощи резинки, надетой на уши. Лысый, бог знает во что одетый, кожа и кости. У мамы была в то время больная щитовидка, и она тоже была похожа на соломинку посреди поля. Они не узнали друг друга и сначала прошли мимо. Когда они встретились во второй раз, она спросила: “Отто?” Он: “Герта?” Ужасно! Я тоже не узнала отца. На обратном пути, когда наша машина приблизилась к крестьянскому двору, у окон сидели беженцы и пели: “Луна взошла”, — приветствовали моего отца. Мне казалось все это ужасным. Потом все собрались на кухне. В доме жили к тому моменту не меньше полусотни человек: беженцы, бывшие узники концлагерей. Я ушла в комнату и в полном одиночестве села в кресло. Тетя Эльфрида подошла ко мне и сказала: “Оставь, Кристель, все образуется. И твой папа станет таким, каким был!”

Я. С. У тебя было чувство, что это уже не твой отец?

К. В. Мы все спали в одной крошечной каморке. И по ночам я слышала, как они боролись. Отец, видимо, лез к матери, а она говорила: “Оставь, Отто! Оставь!” Когда я слышала, как мать отвергает отца, я злилась на нее: он все же был ее мужем и моим отцом, — но я и ее понимала. Мне было тогда шестнадцать лет.

Я. С. Война погасила любовь?

К. В. Мой отец был тогда похож на морщинистого тощего старика. Он ел все, что давала ему хозяйка хутора, доедал все остатки. Я понимала его. С другой стороны, это выглядело ужасно. Мама воспринимала это так же, как я.

Я. С. Это задевало?

К. В. Это было унижительно.

Я. С. Когда ты его снова признала отцом?

К. В. Достаточно быстро.

Я. С. Он много рассказывал о войне?

К. В. Вообще ничего. Только однажды, когда мы уже жили в Бад-Франкенхаузене и он снова стал уважаемым человеком, руководителем приюта, все нормализовалось, семья собралась вместе, и все мы выглядели так, как и должны были выглядеть. И вот тогда мой отец мне сказал: “Слушай, Кристель, одно я хочу тебе сказать: человек страшен, запомни это!” Такого я от моего отца никогда не ожидала, ведь, по сути, он всегда был очень правильным человеком.

Я. С. Я вспоминаю, как он мне, десятилетней, однажды рассказывал, как его чуть было не занесло снегом. С трудом спасли...

К. В. Это было в Первую мировую. Во вторую — он чуть не умер от голода.

Я. С. Как вы в конце концов оказались во Франкенхаузене?

К. В. Как только отец более-менее окреп, в нем тотчас проснулся инстинкт: я обязан содержать семью. Он работал тогда в страховой компании в Шверине, и там его спросили, не хочет ли он стать руководителем приюта. Мы упаковали все наши вещи — всё, что нам удалось спасти: одиннадцать баулов и один рюкзак, из которого выглядывала ручка от сковородки. Приютом во Франкенхаузене была вилла. Когда мы туда приехали, нам показалось, что это сон. Там стояла мебель, сохранившаяся от эсесовцев, были даже кровати. Невероятно! Мы жили на нижнем этаже. И с того момента у нас появилось чувство, что мы вновь стали нормальными людьми. Ведь до этого мы были беженцы и всегда показывали крестьянам уцелевшие фотографии: “У нас тоже когда-то был дом! У нас тоже когда-то были деньги! Мы тоже кем-то были!”

<...>

Я. С. Я бы хотела вернуться еще раз к твоему побегу из Ландсберга. Ты можешь припомнить тот день, когда стало понятно, что теперь вы должны бежать.

К. В. Да, помню каждую минуту. Это был конец января 1945 года. Уже несколько недель через наш город тянулись беженцы с Востока. У нас квартировали наши двоюродные братья и сестры. Занятий больше не было. В моей школе был лазарет, там также размещали беженцев. Мы им помогали. Я часами делала бутерброды с ливерной колбасой. Но больше всего мне нравилось возиться с детьми, рассказывать им сказки. Там была беременная женщина на большом сроке с четырехлетним ребенком. Она совершенно не знала, что ей с ним делать. Я пришла домой и потребовала: “Мы должны взять этого ребенка!” Мои родители сказали, что не могут этого сделать, и за это я их возненавидела. Они умалчивали о том, что вскоре нам самим, скорее всего, придется уезжать. Это была очень тяжелая зима, все время шли и шли беженцы. Они проходили мимо нашего дома по снегу, многие без сапог, с распухшими, воспаленными ногами, а мы все еще думали, что нас это не коснется. До того

дня, когда однажды, рано утром, я проснулась, а наш коридор был завален множеством мешков и набитых вещами тюфяков. Это означало, что вот-вот появится на машине дядя Макс и мы должны будем бежать! Взрослые все устроили. Дядя Макс приехал на тракторе с кузовом и собрал всех родственников: дедушки, бабушки, двоюродные братья и сестры, жены, мужья и их родственники — все забрались в кузов. Я сидела на набитом вещами спальном мешке, а внизу стояла мама и говорила: “Я остаюсь!” Она хотела сохранить дом для нашего отца. И она действительно осталась.

Я. С. Ты думала, что больше ее не увидишь?

К. В. Я покидала город, и у меня было только две мысли: моя родина потеряна, мы туда уже никогда не вернемся; маму я потеряла, ее я больше уже никогда не увижу.

Я. С. Что это означало для тебя тогда — Родина?

К. В. Этот город, этот дом. Все то, к чему я очень привязана. Мама вернулась домой, как она рассказывала позже, сняла портрет фюрера, сожгла его и побежала в казарму к другу моего отца. Тот сказал: “Госпожа Иленфельд, вы еще здесь? Вы разве не видите, что происходит? Ландсберг некому защищать, и завтра русские будут здесь. Бегите отсюда!” Через пару часов после нас и она тоже бежала из города, но пешком. Позже ее подобрала последняя почтовая машина, которая ехала во Франкфурт. Переправляясь через Одер, она спрашивала всех, кого встречала, не видели ли они грузовик Видермана из Ландсберга.

Я. С. Вы не договорились о месте встречи?

К. В. Нет, мы не знали, где остановимся. Через четырнадцать дней она нашла нас в Виттенберге на Эльбе.

Я. С. У тебя наверняка было чувство, что она тебя бросила. Как ты восприняла вашу встречу?

К. В. Кто-то спросил: “Здесь есть люди из Ландсберга? Грузовик Видермана?” Мы лежали на соломе в классной комнате, в какой-то школе в Виттенберге. Потом кто-то позвал: “Твоя мама здесь!” Наверное, я должна была бы подпрыгнуть от радости, но осталась лежать совершенно неподвижно...

Счастье выразилось тогда в абсолютной внутренней пустоте, внутреннем молчании. Плакать я тоже не могла, я только лежала совершенно неподвижно, точно окаменела.

Я. С. Когда это изменилось?

К. В. Сейчас этого больше нет, я не хочу больше прятаться. Тогда были особые, значительные события, в которых я так себя вела. Острые, драматические ситуации, в которых, вероятно, срабатывал некий защитный механизм, и я впадала в неподвижность, каменела.

Я. С. Ты стыдилась своих чувств?

К. В. Скорее всего, это во мне от мамы. Она могла совершенно неожиданно расплакаться, радовалась реже. Боюсь, у нее было в жизни мало радостного. <...>

<...>

К. В. После войны, как я уже рассказывала, мы поселились в Мекленбурге в деревне под Шверином. Там, в Шверине, я пошла в десятый класс. Когда наступило 1 Мая 1946 года, мы с одной из моих подруг, которая тоже была из переселенцев, решили, что не будем приспосабливаться и маршировать под красными флагами. Мы прикололи себе на одежду незабудки, проехали немного на поезде, а потом скрылись в кустах. Мы считали, что мы должны хотя бы немного, но хранить верность. К тому времени до нас стала доходить информация о преступлениях нацистов. Я вспоминаю, как в одной из газет я прочитала о концентрационных лагерях, и это было настолько достоверно, что я поверила. Книги о концентрационных лагерях появились позднее. Когда они появились, Герд?

Г. В. Название Аушвиц¹³ в первых книгах не появлялось. Бухенвальд стал при русских снова лагерем. В основном, там сидели нацисты, но не только. Кругом была неразбериха.

К. В. Ты был в Тюбингене. Ты знал о Бухенвальде, я же совершенно не имела об этом никакого представления. Я никогда не слышала, что там был лагерь.

Г. В. В Ратсфельде, где мы жили во время войны, в замке Ратсфельд была запасная штаб-квартира Управления по генеалогическим исследованиям Третьего рейха¹⁴ и там находилась картотека евреев со всей Европы. Когда я вернулся домой после войны, я нашел в лесу разбросанные обуглившиеся карточки из картотеки, на которые никто не обращал внимания. Большинство личных дел было сожжено. И я не собирал эти карточки. Этого не было сделано. Никто не сознавал всей важности этих карточек, не знал, что эта картотека значит. Потом появились первые советские фильмы, далеко не всегда хорошие. Происходила переоценка...

К. В. Иногда они были просто ужасны.

Г. В. Мы смеялись над ними.

Я. С. Что в них было — новый человек?

К. В. Да, а также великий Сталин.

Г. В. У меня были тетрадки с картинками нацистского искусства. Когда в конце войны нас, солдат, разместили в Оденбрухе, мы проходили как-то мимо мастерской нацистского скульптора Арно Беккера¹⁵. Там было полно статуй, мускулистых фигур — настоящие богатыри. Но мне это больше не импонировало, я от этого исцелился. Позже Красная армия их собрала, доставила в свои казармы в Виздорфе, и эти скульптуры установили в парке.

После войны у нас в школе появился новый директор, которого нацисты отправили в отставку. Социал-демократ, который восторгался английской демократией. На одном из школьных праздников мы пели “Когда мы идем плечом к плечу”. Потом, когда мы открыли шкаф в классе, на нас высыпались сборники пе-

сен нацистских времен, была там и эта песня. Нацисты ею пользовались.

Я. С. Эту песню я тоже пела в школе.

Г. В. Ее поют социал-демократы еще и сегодня.

К. В. И перевоспитание оказалось в мусорном ведре!

Г. В. Некоторые сопротивлялись новому. Один писал на доске крупными буквами “schulfrei” – занятия отменяются, хотя никакой отмены не было. Отчасти у нас были те же самые учителя. Настоящие “товарищи по партии” не имели права преподавать, но другие, нацисты средней руки и сочувствующие, оставались учителями.

Я. С. Как вели себя эти учителя? Они сразу подстраивались под новое время? Мой учитель по государствоведению после падения стены подался в психиатрию. И что было с учебниками? Наши учебники по истории и учебник по истории СЕПГ, которую мы должны были учить почти наизусть, были выброшены в мусорное ведро. Вы свои старые книги тоже выбросили?

К. В. Конечно!

Г. В. В первое время после войны не было ни учебников, ни учебных планов. Были некоторые учителя, которые свои биографии изменили, подчистили. Нацисты, которые вдруг исчезли. Я сам стал довольно быстро учителем. После окончания школы я пошел на курсы помощника преподавателя гимназии, взяли преподавать биологию. Через три месяца нам дали нагрузку в старших классах. Потом я преподавал в Шлотхайме. Я был всего на два года старше своих учеников. Царил полный сумбур. Были новые хорошие учителя, один из них был убежденный марксист. На коллегии шли бурные обсуждения – даже о Троцком.

К. В. У нас в Шверине некоторые учителя раздавали написанные от руки учебные материалы, чтобы у нас хотя бы что-то было на руках. Этот материал мы должны были до следующего урока выучить наизусть. И те, кто это выполнял, получали 1 [то есть высшую оценку. – *Прим. перев.*]. Потом я заболела туберкулезом и попала в лечебницу для туберкулезных больных. Только в 1947 году я пошла в школу моего дедушки в Бад-Франкенхаузене. Но его там уже не было, он пошел учиться на помощника преподавателя гимназии... В школе во Франкенхаузене мы читали первые марксистские брошюры издательства “Дитц”. Они были напечатаны на плохой бумаге. Например, “Происхождение семьи, частной собственности и государства” Фридриха Энгельса. Я находила их исключительно интересными и убедительными. Учителя также оказывали на нас влияние в этом направлении. С математикой у меня дела обстояли плохо, чего наш учитель по математике не замечал до самого конца, так как я в него втюрилась, ну и он немножко в меня...

Я. С. Сколько же тебе было тогда лет?

К. В. Девятнадцать. Уже вполне можно было влюбиться! Этот учитель мне нравился, было в нем что-то роковое... Он очень мно-

го знал о Великобритании, и, если нам удавалось увлечь его этой темой, он забывал о физике и математике. Он состоял в коммунистической партии и, как нам казалось, был убежденным коммунистом. Он и с нами разговаривал на эту тему. Потом, когда я в 1949 году вступала в партию, он был моим поручителем.

Я. С. Минуточку! Быстро же у тебя изменилось мировоззрение!

К. В. Все эти брошюры я находила очень убедительными. Я думала, что люди просто должны понять, как нужно жить и каким должно быть общество. Важно было понять, что социализм — это лучший исход, и тогда все наладится.

Г. В. Нацистская идеология состояла из мифов и пропаганды, а сейчас это была наука.

К. В. Наука, здравый смысл и разъяснение.

Г. В. Теория прибавочной стоимости, например, казалась нам вполне правдоподобной. К этому добавились книги Анны Зегерс и Бертольда Брехта. Все это и было нашим просвещением.

Я. С. Учителя пытались вас перевоспитать, но у вас же в голове была совершенно другая идеология?

К. В. Она испарилась.

Г. В. Идеология в голове — это слишком сильно сказано. Мы не читали ни Гитлера, ни нацистских теорий. Чисто идеологически ничего не знали. И к тому же война закончилась так плохо...

К. В. ...и чем больше узнавали, что действительно происходило во времена нацистов, тем больше исчезала, улетучивалась эта так называемая идеология. В переходную фазу было время так называемой депрессии. Своего рода крушение, крах, когда действительно пришлось поверить в реальность всех этих преступлений. Несколько месяцев я искала, на что я могла бы опереться. Тогда я пришла к христианству. Бад-Франкенхаузен — это город Томаса Мюнцера, и в средней школе один священник заметил, что все ученики какие-то неприкаянные. Он собрал интересующихся и раз в неделю проводил занятия по христианскому учению — катехизису. Он проповедовал социальный вариант христианства.

Г. В. Мой пастор, у которого я во время нацистов проходил конфирмацию, под сутаной носил форму СС, а иногда оттуда выглядывал и кинжал. В церкви во Франкенхаузене висела картина с изображением распятия Иисуса, которая, должно быть, во время нацистов была перерисована. На ней вокруг креста стояла группа мужчин, один был в стальном шлеме, а другой в форме СС.

К. В. Когда я туда ходила, ее снова перерисовали.

Я. С. Но ведь христианство не имело на тебя воздействия?

К. В. Я очень старалась вникнуть. Каждое воскресенье я ходила в церковь, читала Библию. Через несколько недель пошла к пастору и сказала: “Я больше не приду!” Он спросил: “Почему?” Я: “Я не могу верить” Он: “Как так? Почему?”

Я: “Я не могу верить в непорочное зачатие или в воскресение мертвых. А это основополагающие вещи”. Он сказал, что ожидал,

что когда-нибудь у меня возникнут сомнения. Он тоже вначале не был верующим христианином. Но произошло событие, которое изменило его жизнь, и он поверил. Тем не менее, несмотря на это, мы остались друзьями. Тогда этот христианский период и закончился.

Потом мы читали в школе марксистские брошюры, книги, и у меня был тот самый учитель математики, который позже стал моим поручителем. Годы спустя выяснилось, что при нацистах он работал в министерстве Геббельса¹⁶. И поэтому был потом уволен с должности директора школы. Очень многие жалели, что он должен был уйти. В действительности он не был злым. До сих пор я думаю, что он был приличным человеком. Один раз после этого мы виделись. О его увольнении мы не упоминали, мы говорили о моих математических способностях. И на этот счет мы имели совершенно противоположные мнения. Я сказала: “Вы должны были бы заметить, что я ничего не понимаю ни в физике, ни в математике”. Он этого не заметил. Вскоре я была на встрече одноклассников, и один из них сказал, что думал, что однажды я получу Нобелевскую премию по естественным наукам. “Ты свихнулся? — спросила я его. — Я математику у вас списывала”.

Я. С. Ты искала что-то, на что ты могла бы опереться, я понимаю. Но как могло это тебя привести к вступлению в СЕПГ, это для меня загадка.

К. В. За полгода до этого у меня в гостях был мой хороший друг из моего класса. В то время у меня во Франкенхаузене в полуподвальном помещении была собственная комната с ванной. Он сказал: “Слушай, я вступаю в партию”. Я точно помню, что я тогда сказала: “Ты, должно быть, совсем с ума сошел, раз вступаешь к красным в коммунистическую партию?” Я с ним поспорила. “В таком случае мы больше не можем оставаться друзьями, — сказала я ему. — Зачем ты это делаешь?” Он сказал, что много читал, ему многое открылось, и если находишь верной теорию, то обязан что-то сделать для этого практически. А незадолго до того, как я поступила в университет, я тоже вступила в партию. По сути, я исходила из того же самого. Я полагала, что в университете нужно осуществлять эти идеи.

Я. С. В какие идеи ты верила?

К. В. В социальное равноправие и в антифашизм, который в этой партии находил, как мне казалось, наибольшее выражение. Позже, в Берлине, я познакомилась с людьми, которые сами были антифашистами, сидели в концентрационном лагере или в исправительном доме.

Г. В. Я вступил в партию, как я уже рассказывал, в пику своим родителям. Друг, с которым я вступал в партию, подал заявку на обучение в Свободный университет в Западном Берлине. Это было в 1949 году, вскоре после образования ГДР. Он считал, что я должен к нему поехать. Я стал помощником преподавателя в средней школе, так как не происходил из рабочей семьи и потому не мог в ГДР получить сту-

денческого места и, соответственно, стипендии. Но помощник преподавателя средней школы после двух лет работы имел право учиться в университете. Я тоже подал заявку в Свободный университет Берлина и прошел собеседование. Но принят не был. Потом получил обещанное разрешение из университета в Йене.

Я. С. Ты разрывался между двумя системами.

К. В. Вероятно, Герд уехал бы на Запад.

Г. В. Только из-за друга. Свободный университет Берлина был основан в противовес Университету Гумбольдта, они были противники.

Я. С. Ты очень рано вступил в партию, сразу после войны.

Г. В. Можно сказать, в пику родителям.

К. В. Старшие привели нас к катастрофе. Теперь, думали мы, должна существовать сила, чтобы это исправить, чтобы ни национал-социализма, ни чего-либо подобного никогда больше не было. Это внушали нам и учителя: фашизм не должен возродиться.

Г. В. Я принимал активное участие в Союзе по культуре¹⁷. В Шлотхайме я был председателем отделения, потом был делегирован в Центральные учебные курсы в Бад-Заров, а затем на конгресс Союза по культуре в Берлин. В Берлине я смотрел спектакли Брехта “Господин Пантила и его слуга Матти” и “Мамаша Кураж”. К этому моменту я знал о мире большой литературы куда больше, чем Криста.

Я. С. А как проходили партийные собрания, они возникли с самого начала?

К. В. Во Франкенхаузене их не было, во время учебы в Йене бывали. Я подала заявление на германистику, другие курсы я не рассматривала. Я хотела стать учителем, мы оба хотели, Герд и я. Но я получила отказ, так как не была из рабочей семьи. Для меня это было катастрофой. И тут мне снова помог тот самый учитель, который был моим поручителем. Он поехал вместе со мной в Эрфурт в Министерство народного образования. Я осталась ожидать в приемной, он вышел и сказал: “Дело улажено!”

Я. С. А как вы познакомились?

К. В. В самые первые недели учебы в Йене в 1949-м. Одна студентка из Шлотхайма, она была знакома с Гердом, восхищалась им и, может, была немного в него влюблена... Она говорила: “Слушай, там придет один такой, Герхард Вольф”. Я отвечала: “Ах да, это брат друга моего брата”. Я имела некоторое представление о Герде, хотя его и не видела. Она сказала: “Он умный, знает много всего, знает поэзию, много стихов!” Когда он в конце концов появился, я поднималась по лестнице в столовую и передо мной шла та самая сокурсница. Она повернулась: “Смотри, Герд приехал!” А потом она представила нас друг другу. И тогда промелькнула искра...

Г. В. Да? У меня позже...

К. В. У меня сразу же. Глаза, этот взгляд. Он посмотрел на меня украдкой. Я, кстати, тоже. На нем были вещи из перекрашенной униформы. Но самым ужасным было его пальто, СС-шинель его от-

ца. Мы все были тогда так одеты. Я носила белое пальто, перешитое из больничного одеяла. Мне пришлось отрезать надпись “Госпиталь Ланков”, и поэтому пальто было очень коротким... Я всегда помню эту первую встречу, как сейчас ее вижу.

Я. С. А как вы сошлись?

К. В. Мы посещали один семинар, а потом подолгу сидели в университете и читали. Обычно мы последними, по вечерам в девять или в десять часов вечера, сдавали книги. Тогда мы как раз читали Герхарда Гауптмана. И однажды вечером Герд пошел провожать меня до дома. Я жила на другом конце города, на другом берегу Зале, в крошечной комнатке с буржуйкой. И туда, при трескучем морозе, он меня провожал по замерзшей речке Зале. А затем должен был возвращаться в свою комнатку у вдовы Шпрехт. Он был такой тощий, с впалыми щеками... В июне 1951 года мы поженились. Конечно, у нас не было денег. Я получала сто марок в качестве студенческой помощи. У наших родителей тоже ничего не было. Мы были беженцами. Тогда Герд пустился на поиски работы и через одну знакомую попал на радио.

Г. В. Им тогда не хватало людей. Заведующий радиовещанием был в прошлом узником концлагеря, главный редактор сидел в каторжной тюрьме. Два, три человека, которые, как и я, были вполне политически благонадежны, стали редакторами. А другие два-три были кадровые работники, люди недалекие. Один спросил меня: “Ну и как ты находишь книгу Виктора Гюго?” Я с моими четырьмя семестрами германистики и лекциями Георга-Лукаса¹⁸ считался высокообразованным. Как помощник редактора я получал двести семьдесят марок в месяц и к тому же имел возможность знакомиться с хорошими авторами.

К. В. Когда Герд делал передачу, он получал дополнительно пятьдесят процентов от оклада. Это было спасение, иначе мы не могли бы сводить концы с концами. Вскоре после этого он был переведен в Берлин, на радио. Сначала редактором, а потом руководителем редакции.

Я. С. Тебе эта работа нравилась?

Г. В. Да, это было интересно. На Немецком радио мы занимались темой объединения немецкой культуры. Немецкое радио проводило громадную работу по пропаганде объединения Германии, чего очень не хотели в Западной части. Это продолжалось до 1956 года. Но работа была очень напряженной, тогда с 1953-го до 1956-го я доучивался в университете Гумбольдта и одновременно писал программы.

Я. С. Вы хотели тогда объединения Германии?

К. В. и **Г. В.** Да, безусловно. <...>

Я. С. Бабушка, а как ты смогла сразу после университета устроиться в Союз писателей?

К. В. Я написала дипломную работу о реализме в творчестве Ганса Фаллада и в 1953 году сдавала экзамен у известного литерату-

роведа Ганса Майера¹⁹. Он меня заметил и предложил мне работать у него ассистенткой. Но я не хотела, меня интересовала современная литература. И Союз писателей был для этого самым подходящим местом. Через своего коллегу, который был дружен с Куртом Бартелем²⁰, тогдашним первым секретарем Союза писателей, я подала туда заявление, и была принята научным работником. Кстати, и Хайнер Мюллер²¹ в то время там работал.

Г. В. Теперь Криста имела возможность инструктировать молодых авторов.

К. В. Существовало рабочее объединение молодых авторов. Мы ездили туда и объясняли им, как они должны писать.

Я. С. К этому моменту ты сама почти ничего еще не написала. Как же ты могла обучать молодых авторов? Идеологически?

К. В. Вероятно, догматичкой я не была, я ориентировалась на соцреализм, при этом всегда была оторвана от жизни. Следуя учению Лукаса, мы точно знали, каким должен быть роман и как персонажи должны себя вести. Секретарь партии, например, не мог изменять жене. Длилось это недолго, мы и сами вскоре стали над этим смеяться, но в тот момент мы все это воспринимали очень серьезно и невероятно много спорили.

Я. С. А были люди, которые говорили: “Это все ерунда!”

Г. В. Конечно, такие были, но не в нашем окружении. Частично они уехали на Запад...

К. В. О времени учебы и о теориях много чего можно рассказать. Георг Лукас был учителем, и молодые доценты воспитывались совершенно в духе его учения и переносили это на нас. Понятие реализма мы переняли у Лукаса и горячо спорили с буржуазными студентами.

Я. С. Кто являлся для вас буржуазными студентами?

Г. В. Те, кто не были в партии.

Я. С. Но вы ведь тоже не происходили из рабочего класса! И поэтому не имели возможности просто так учиться. Я бы тогда подумала: “Что это за бессмыслица, нелепость такая?”

Г. В. Отчего же? Столетия рабочих угнетали. А теперь были факультеты для рабочих и крестьян. И они были очень даже неплохие.

К. В. Считалось, что это восстановление справедливости.

Г. В. Да, теперь они впервые имеют возможность учиться. “Классово сознательный” звучало лучше всего, “связанный с интересами класса” — уже хуже.

К. В. Об этих понятиях можно было спорить часами, ночи напролет. Частенько мы лежали ночью в кровати и беседовали о политике, партии, правда, с постоянно возрастающим недоверием. Много было нам чуждо, и мы пытались и друг друга, и других уговорить, убедить, что именно так и должно быть, и оттого, что у нас мелкобуржуазное происхождение, мы, вероятно, что-то неправильно понимаем.

Я. С. Что вызывало у вас недоумение?

К. В. Например, первые выборы в Народную палату ГДР в Йене в 1950 году. Уже тогда партии вступали в блок, но могли избираться и по отдельности. В некоторых округах, я думаю, Христианско-демократический союз (ХДС) имел тогда большинство. Мы работали агитаторами на выборах, ходили от одной двери к другой и убеждали людей идти на выборы. Когда же мы сами пришли на избирательный участок и стали искать кабинку для голосования, ее там не было, даже для проформы. Мы не понимали, что происходит.

Г. В. Люди должны быть запуганы, чтобы они не вздумали поставить крестик не там, где нужно.

К. В. Там нам сказали: “Вы, конечно же, за кандидатов Национального фронта, а в таком случае вам нужно только листочек сложить и просунуть его в урну”. После этого мы пошли в горы, гуляли там целый день и все время спрашивали сами себя: “Что же это такое?” Они нас обманули, мы же подавали заявление как агитаторы на демократических выборах. Нам же ничего не сказали. Это был первый звоночек, когда мы заметили: “Слушай, что-то здесь не так!” Когда же мы обсуждали это в студенческой среде, нам говорили, что у нас неверный классовый подход. Это классовая борьба, буржуазные партии должны быть побеждены, а мы должны новую власть защищать и отстаивать. Согласно высказыванию Иоханнеса Р. Бехера²²: “Власть дана вам, чтобы вы никогда, никогда больше не выпускали ее из рук!” Нам всегда приводили это высказывание в качестве контраргумента. И мы думали, что все эти испытанные в классовой борьбе товарищи не могут ошибаться. Значит так должно быть.

Но однажды я почувствовала, что лично меня обманули. Это было в Берлине в 1954 году, когда были выборы в Западном Берлине. Стены еще не было, и мы были назначены агитаторами СЕПГ от Союза писателей. В Доме профсоюзов на Унтер-ден-Линден нас проинструктировали, раздали материалы и сказали: “Вы легальные агитаторы!” Инструкторы дали каждому из нас удостоверение с нашим именем и фамилией. “Вы не должны ничего бояться! — было нам сказано. — Но ваши паспорта не должны попасть в руки наших классовых врагов”. Это уже должно было бы меня насторожить, ведь мы работаем легально. Затем я с одной соратницей, которая, кстати, очень боялась, отправилась в Западный Берлин...

Г. В. Они должны были проводить беседы с людьми.

К. В. До этого не дошло, Герд! Мы зашли в первый же дом и все сделали совершенно неправильно. Мы должны были только позвонить и передать людям проспекты по выборам. Мы начали с первого этажа вместо того, чтобы начинать сверху с последнего. Внизу никого не было. Слава Богу! Мы просто просунули проспекты в щель для писем. Во всем этом доме никого не было. Когда же мы спустились вниз, нас уже ждал западно-берлинский полицейский. Ему позвонили. “Что вы здесь делаете?” — спросил он. “Мы агитаторы от СЕПГ, совершенно легально!”. “Пройдете со мной”, — сказал полицейский. Тогда я еще была наглой и храброй. На улице мальчишка играл в сточ-

ной канаве, он посмотрел на нас и закричал: “Коммунисты! Всех повесить!” Я ответила ему: “Слишком много придется работать!”

Полицейский доставил нас в ближайший полицейский участок. Все происходило как в детективе. В участке мы должны были сидеть и ждать. Наконец нас принял начальник отделения. Я сказала: “Мы здесь совершенно легально, я протестую”. Он просмотрел наши материалы и указал на то, что нет печати и что бюллетени являются нелегальными. Это означало, что наши товарищи нам солгали. Наши материалы были полной чужьей. До этого, читая их в трамвае, я подумала, что ни одного человека пропаганда подобного рода не сможет убедить. Позор!

Я. С. Что там было написано?

К. В. Глупые лозунги ужасным языком. Поэтому я была невероятно рада, что в доме никого не было. А теперь выяснилось, что и печать отсутствовала. “Товарищи” сильно нас подвели! Они могли бы нас предупредить. Мы все равно поехали бы в Западный Берлин, но были бы к этому готовы. Я начала спорить с начальником участка. Он сказал: “Вы же умная женщина. Как вы можете верить такой ерунде!” Через некоторое время он попросил меня повернуться. Над скамейкой, на которой мы сидели, висела большая карта Советского Союза. На ней были нарисованы желтые прямоугольники. Он сказал, что прямоугольники — это лагеря, в которых находятся политические заключенные. Но я ему не верила. Он сказал: “Вы можете мне поверить, я сам был в одном из таких лагерей. Я один из тех, кого Конрад Аденауэр вызволил оттуда”. Но я была выше этого и сказала: “Ах, в таком случае вы тоже зачинщик войны. Я больше не собираюсь с вами разговаривать!” Вероятно, он был социал-демократом. Тогда я не верила, что в Советском Союзе было так много лагерей.

Через некоторое время пришел лейтенант. Он должен был произвести личный досмотр. Я отказалась. “Только если будет производить женщина”, — сказала я. Тогда позвали вахмистра-женщину, и она велела мне раздеться. У меня был с собой паспорт агитатора на выборах. Я сказала: “Невозможно — здесь нет занавесок!” Потом я разделась за дверцей шкафа. В руке я держала это удостоверение, листочек картона. Когда чиновница хотела его забрать, я разорвала его у нее на глазах. Я же не должна была допустить, чтобы он попал в руки классовому врагу. При этом она меня немного поцарапала. “А сейчас вы меня еще поранили!” — закричала я. “Вы все такие?” — спросила она. “Не все, но многие”, — ответила я. Потом мы поехали в зеленом полицейском фургоне в СИЗО тюрьмы Моабит. Мою соратницу отправили в тюрьму для несовершеннолетних. Она была напугана, но держалась мужественно.

Я сидела в камере. Было неприятно, даже очень. Сначала я сидела с четырьмя другими женщинами в камере предварительного заключения. Невероятно. Сперва они спросили, конечно, почему я здесь. “Распространяла листовки”. — “А, политическая. Занимаешься ерундой!” — сказали они. Меня они всерьез не принимали. Одна

из женщин все время бормотала: “Нет, я ничего не скажу”. Мне стало любопытно, что же случилось. Оказалось, она работала горничной в одном из отелей, и на ее этаже пропало украшение. Она рассказывала это так, что было понятно: она эти драгоценности украла и спрятала. Я подумала, что завтра она уже не будет все отрицать. Другая бегала по камере и все время повторяла: “Из-за какой-то зубной щетки, из-за одной зубной щетки?” Как-то я спросила ее: “Что же такое с зубной щеткой?” Они гуляли с мужем и зашли в аптеку купить какую-то мелочь. Продавцу необходимо было отлучиться на склад, а перед женщиной на прилавке стоял стакан с зубными щетками. И она не смогла устоять. Но не успели они зайти за угол, как их догнал полицейский. Он вытащил зубную щетку у нее из кармана куртки и тут же ее задержал. И такое случилось с ней уже не первый раз. Она сказала: “Ну, мой старик, если только они будут стоять у него над душой, он все расскажет. Но самое главное, чтобы он не показал им на половицу. Если только они поднимут половицу, чего там только нет!”. У нее дома под полом на кухне был целый склад. У нее уже была судимость за такое же правонарушение, однако сейчас она никак не могла понять, что из-за одной зубной щетки должна сидеть в камере. Женщины охотно рассказывали мне свои истории. И я их поддерживала, держитесь, мол, твердо...

Я. С. (*смеется*). Быть твердыми, непоколебимыми в борьбе против классового врага?

К. В. Они не должны сдаваться буржуазному государству. Я сказала, что они рабочий класс, бедняки, с которыми все равно будут обходиться несправедливо. На следующий день меня перевели в одиночную камеру тюрьмы Моабит. Там стояли кровать, табурет и шкафчик. На стене висел стакан для полоскания. В первый день моего пребывания меня посетил пастор, он хотел узнать, какую религию я исповедую и нужно ли мне утешение. “Я не исповедую никакой религии”, — сказала я. Исходя из этого на табличке, на двери моей камеры, после моего имени было написано: “диссидент”. Так я первый раз стала диссидентом. Так я узнала значение этого слова: неверующий. Пастор спросил, что я хотела бы почитать, я ответила — Маркса. И получила толстый томик Шекспира. И это было намного лучше, чем какие-нибудь банальные пересказы.

Г. В. Тогда начались акции солидарности за Кристу. Представители режима навевались к ней с громадными тортами. Мы также могли навещать ее в тюрьме. Приходила ее мама, ее отец беседовал с ведущим следствие. Тот сказал, что он сам ничего не понимает. За пару дней до выборов в Западном Берлине ее должны были снова выпустить.

К. В. Я была в тюрьме одну неделю.

Я. С. Как ты узнал о задержании бабушки?

Г. В. Почти сразу. Криста не вернулась, и потом через Союз писателей появилась новость о ее задержании.

Я. С. Ты сразу к ней поехал?

Г. В. Нет, сначала необходимо было получить разрешение на посещение, после этого я к ней отправился.

К. В. Об этом писали в газетах. В тюрьме мне стало плохо. Я действительно была очень взволнована и напугана, не могла ничего есть, был спазм желудка. Те, кто меня посещал, приносили фрукты и шоколадные конфеты. В моей камере было много самых разных коробок с конфетами, пирожными. Но все равно это все было очень неприятно. Каждый день меня допрашивали. Агитаторы должны быть изолированы от общества и пройти предварительное заключение. Следователи пытались меня переубедить. Но, конечно, я была непоколебима. Ко мне невозможно было подступиться. Я была убежденной коммунисткой.

Я. С. Почему в Западном Берлине хотели арестовать агитаторов?

Г. В. Шла холодная война!

К. В. Они не хотели, чтобы агитаторы из ГДР проникали на выборы. После недельного заключения меня забрали из тюрьмы два человека из университета. Как только я оказалась дома, я написала жалобу, что нас послали в Западный Берлин, сказав реальность. Ответ был: “Партия знает, что делает”. И я снова подумала: “Я не игрушка, с которой они могут делать что захотят. Партия знает, что я полностью на ее стороне, и хочет меня использовать, но тогда она должна говорить нам правду”.

Я. С. Если вы были такими верными партии, как же вы пережили 17 июня 1953 года?²³

Г. В. Как служащий радио я не имел права поехать в Западный Берлин. Это правило можно было бы и нарушить, но этого не делали. Мы были весьма дисциплинированными. И вот пришло 17 июня. Шла борьба. Холодная война. В Руммельсбурге мы приспособили здание фабрики под радио, и в этот переходный период вели передачи из помещения яхт-клуба в Грюнау. Это здание сотрудники радио вряд ли смогли бы отстоять, они стояли со шлангом для воды у двери. После этого на предприятиях стали создаваться боевые рабочие дружины.

К. В. Тогда я еще училась в Лейпциге. Вначале события 17 июня я восприняла как восстание против нас, против партии. По городу тянулись рабочие, которые имели антипартийный вид. Я носила партийный значок и пыталась разговаривать с людьми, но они реагировали на меня с раздражением.

Я. С. Речь, кажется, шла о том, что новые нормы труда были невыполнимы.

Г. В. Да, это было спровоцировано введением завышенных норм труда. Накануне вечером их снова упразднили. Но было уже слишком поздно.

К. В. Движение разрасталось, оно было направлено против тогдашнего правительства и партии. В Лейпциге по городу шли трамваи, на которых было написано: “Прочь козлиная борода!” Это был намек на эспаньолку Вальтера Ульбрихта. Мы, студенты, эти

надписи стерли и сразу же пошли в институт. Мы думали, там должны быть товарищи по партии, которые нам скажут, что мы должны делать. Но там никого не было. Мы звонили в комитет партии, но и там никто не отвечал. Функционеры смылись, трусили. Мы побежали в Управление коммунистической юношеской организации, но там “контрреволюционеры” уже выбрасывали из окон печатные машинки и папки с делами.

Студенты исторического факультета решили: “Давайте все вместе отстоим свой институт!” Мы забаррикадировались. Находясь внутри, мы видели, как восставшие идут мимо. Среди них были также совершенно отмороженные типы с голым торсом и дубинками в руках. А потом появились советские танки. По вечерам было установлено ночное дежурство. Я сказала, что мне нужно домой, у меня маленький ребенок. Но мне ответили, что так дело не пойдет. По счастью, у меня в гостях был мой брат, и это меня несколько успокаивало. Ночью я ехала домой на трамвае, по дороге собирала полные карманы партийных значков, которые многие выбросили. Я осмелела, я специально не сняла свой значок и видела, как люди вокруг стараются от меня отвернуться. На следующий день мы пошли в ресторан. Как только я вошла туда со своим партийным значком, люди встали со своих мест и пересели подальше. Но, несмотря на сомнения, я не сдавалась. После восстания проходили партийные собрания, на которых я требовала, чтобы обсуждались причины восстания. Первые два дня это было еще возможно, затем настроение поколебалось, и событие 17 июня получило оценку “Враждебного рабочего контрреволюционного восстания”. И с этого момента уже больше не обсуждалось, почему люди вдруг так вышли из себя, настроились против существующей власти. Тогда я опять подумала: “Нет, что-то не так!”

Я. С. Восставшие были рабочими. И как объясняли в партии, что рабочие объединились против себя же, восстали против рабочего государства?

К. В. Именно этого, к сожалению, и не объяснили. Говорили, что это “контрреволюционеры”, что их ввели в заблуждение. Да и западная радиостанция РИАС, конечно, тоже подогревала ситуацию.

Г. В. Министр юстиции ГДР Макс Фехнер незадолго до того объявил, что рабочие вообще-то имеют право бастовать. Он был сразу же снят с должности и получил тюремный срок. С того дня никакой самокритики больше не было. Это означало, что было неправильно, нельзя было давать врагам почву под ногами.

Я. С. Самокритичности я должна была учиться уже в школе. Наибольшее впечатление на меня произвел Вольфганг Леонхард в своей книге “Революция освобождает своих детей”²⁴, в книге говорится о постоянной мощной самокритике внутри партии.

К. В. Самокритика была и в дальнейшем, однако партийная верхушка сама себя не критиковала. Через несколько дней после 17 июня, среди всего прочего, имело место также очень самокритич-

ное выступление премьер-министра Отто Гротевоя на угольном комбинате в Бёлене, в котором он сказал, что партия совершила ошибку. Но с того дня — никаких дискуссий! Никаких признаний своих ошибок.

Г. В. Первый секретарь Союза писателей Курт Бартель подтрунивал над фигурами рабочих-строителей на сталинской аллее: теперь, мол, им многое пришлось бы исправлять.

Я. С. Но это же были “ваши рабочие”.

Г. В. Об этом много говорили. Рабочими руководили либо с Запада, либо бывшие нацисты. В некотором роде так и было.

Я. С. А потом появились советские танки, и этого никто не ожидал?

К. В. Нет.

Г. В. Вальтер Ульбрихт спасся у русских в Карлхорсте. У меня на радио было двое коллег из Советского Союза. Они говорили: “Слава Богу, друзья все возьмут в свои руки!”

Я. С. Для вас советские также были друзьями?

К. В. В значительной степени, да. Отчасти.

Г. В. Мы говорили, конечно, что мир в опасности.

Я. С. А потом пришли “друзья”, и все обернулось против народа, к которому вы и сами себя относили.

Г. В. Можно посмотреть на это иначе. Если бы не Советы, вернулись бы снова нацисты. Тогда, кстати, были сожжены в Магдебурге книги Стефана Хермлина²⁵, который являлся евреем по происхождению. Такие вещи тоже происходили.

К. В. Только восемь лет прошло после Второй мировой войны.

Г. В. Через неделю после 17 июня я увидел один-единственный раз Ульбрихта вблизи. В выходные я остался в качестве руководителя на радио. Неожиданно ночью позвонили: “Приедет Ульбрихт!” Он приехал, сел за стол и от руки написал заявление, в котором говорилось, что, начиная с полночи, трамваи снова будут ездить в Западный Берлин. Движение трамваев до этого было перекрыто. Это передали по радио. Потом позвонили, и человек с явным русским акцентом спросил: “Кто передал известие?” — “Вальтер Ульбрихт”. — “Так-так”. И положил трубку. Скорее всего, Ульбрихт не проинформировал об этом русских. Это была его инициатива. Он хотел скорейшей нормализации обстановки.

К. В. Поэтому он и появился лично. Если бы редакторы на радио не увидели его воочию, они не могли бы передать это сообщение.

Я. С. Как вы воспринимали в то время Советский Союз и Сталина?

К. В. Сталин умер в марте 1953 года. В тот момент я очень горевала. Я тогда еще думала, что это большая потеря для лагеря, стоящего за мир во всем мире. Разоблачение преступлений Сталина началось только в 1956 году. Но до этого оставалось еще три года, за это время кое-что проскальзывало, понемногу я теряла веру в то, что он был великим миролюбом.

Я. С. В ГДР существовал культ Сталина, как и в Советском Союзе?

Г. В. Когда вышла его книга “Марксизм и вопросы языкознания”, она показалась нам весьма бестолковой. И это вершина научных знаний? — думали мы.

К. В. Он писал, что язык тесно связан с классовым сознанием. В этом не было ничего нового или особенного. И мы должны были это изучать. Нам это не казалось чем-то выдающимся.

Г. В. На собраниях Свободной немецкой молодежи (FDJ) выбирали почетного председателя. Что всегда означало: “Мы выбираем почетным председателем товарища Сталина!” Затем все вскакивали, аплодировали и снова садились. Все это продолжалось и дальше: “Мы выбираем товарища Мао Цзэдуна!” Тут мы уже могли не очень сильно хлопать. И когда после этих собраний мы шли домой, то спрашивали себя: “Что это такое?” Ну, хорошо, предположим, это проявление переходного периода, детская болезнь коммунизма, все уляжется. Но по-настоящему нами овладели сомнения, когда мы познакомились с четой Шлоттербек²⁶. Фридрих Шлоттербек во времена нацистов был заключенным концлагеря, вся его семья была уничтожена. И у нас, в ГДР, он снова был осужден во время нашего сталинского процесса над Слански²⁷. Супруги Шлоттербек разъясняли нам многое в истории и во внутренних течениях коммунистической партии. Анна была с 1939 года в Центральном комитете.

Я. С. Когда вы с ними познакомились?

Г. В. После 1962 года, когда мы переехали из Халле в Кляйнмахноф. Это были рассказы настоящих коммунистов, которые знали о всех конфликтах внутри партии.

К. В. Мы уехали из Халле, так как у нас были большие разногласия с партией.

Г. В. Появилась очень злая критика Хорста Зиндермана на роман Кристи “Расколотое небо”. Тогда Зиндерман был первым секретарем партийной организации СЕПГ округа Халле. Он писал что-то об упаднических настроениях и о неправильном изображении разделения Германии. В книге сделан слишком сильный акцент на тему любви, погибшей из-за раздела страны!

Я. С. До четы Шлоттербеков вам не встречались “реальные, настоящие коммунисты”?

К. В. Встречались. Лирик Луиз Фюрнберг²⁸ после XX съезда КПСС нам написал: “Оттепель, наконец-то я снова могу писать!” Нас эти конфликты тоже коснулись, а Фюрнберг вскоре умер.

Г. В. Инфаркт в сорок девять лет! Он не выдержал разоблачения Сталина. Для него это был тяжкий удар.

Я. С. Я писала мою магистерскую работу о Хрущеве и о времени оттепели. Когда Хрущев в своей речи на XX съезде в 1956-м осудил культ Сталина, как это было воспринято в ГДР?

К. В. На партийном собрании был зачитан секретный доклад, а по западному радио он был распространен более широко.

Г. В. Во время восстания в Венгрии 1956 года я лежал в больнице.
Я. С. Восстание в Венгрии тоже было для вас контрреволюцией?
К. В. Вначале да. Но тогда мне необходимо было лечь в больницу, родилась твоя тетя Тинка. И я не очень-то отслеживала события.

Г. В. Но когда затем новое правительство казнило Имре Надя²⁹, а Лукаса арестовало, — это было что-то совершенно новое. Это совпало также с Суэцким кризисом. Ситуация была очень щекотливая.

Я. С. А были дискуссии, споры внутри партии, это было еще возможно?

К. В. Не знаю, не помню.

Г. В. Могу назвать Генриха Бёлля. Большинство не решалось приглашать нас, редакторов, с радио ГДР. Когда мы ездили в Западную Германию, это было полужагоально, и у нас не было валюты. Но Бёльль нас принимал, вел с нами дискуссии. Многие не имели с нами дела, у них был страх перед коммунистами. Но контакты тогда все еще продолжались. Это закончилось только после Венгерского восстания. У нас была отстранена антиульбрихтовская группа, и начались процессы против Вольфганга Хариха³⁰ и тех интеллектуалов, которые требовали внутрипартийных реформ. Это была уже некая черта. Грань.

К. В. После венгерского восстания Герд заметил, что на радио больше невозможно продолжать работать.

Г. В. После 17 июня 1953-го на фабриках были организованы боевые дружины, очень короткое время я был в такой дружине на радио и два раза участвовал в рейдах. Потом нам пришлось исключить двух наших коллег из партии: диктора новостей, который по ошибке сказал “лагерь войны” вместо — “лагерь мира”, и еще одного, который у себя дома ходит голым...

Я. С. ...этого не разрешала социалистическая мораль.

Г. В. Меня принудило это сделать руководство партии. Однажды Криста получила серьезное партийное взыскание, потому что потеряла какой-то партийный документ, у нее украли его в магазине.

Я. С. За это можно было получить партийное взыскание?

Г. В. Строгий выговор. Это ее и спасло, из-за этого она не могла пойти в партийную школу. На радио одна сотрудница сказала: “Знаете, где я ношу свои партийные документы, чтобы никто не добрался до них? В трусиках!”

Я. С. Странные у вас там были люди!

Г. В. Это были странные типы. Однажды у нас было замечательное эссе Ханса Майера. Там он написал, что немецкая литература в сравнении с великой литературой двадцатых годов не имеет никакого веса. Литература ГДР — разукрашенные садовые домики... Такие формулировки он использовал. Я был руководителем отдела культуры немецкого радиовещания, подписал этот текст в эфир, но передачу потом сняли. Кто-то из главных редакто-

ров прочитал эссе, снял эту передачу и выступил сам. Но я об этом ничего не знал.

Вечером я пошел с коллегами в клуб прессы на Фридрихштрасе. Повсюду мы разослали телеграммы, в том числе и Бёллиу. Они также должны были эту передачу с Майером услышать. Мы сидели все вместе и хотели это событие отпраздновать, и вдруг пришел кто-то и сказал: “Что вы наделали! Отстранили Майера и дали говорить какому-то придурку”.

Вместе с венгерским восстанием оборвались и важные профессиональные связи с Западом. Это было время, когда сотрудники, интересовавшиеся джазом, арестовывались прямо на собрании. Но тогда я уже на радио не работал. Мне рассказывали об этом коллеги уже задним числом. Я покончил с радио в 1957 году. К этому времени начались процессы против Вольфганга Хариха и Вальтера Янка³¹. Мне пришлось бы на радио здорово изворачиваться, чтобы и дальше делать карьеру. Боже избави! Мне совершенно не нравилось, как высказывались такие люди, как Карл-Эдуард фон Шнитцлер³², и как они себя вели. От этого лучше отказаться, сказал я себе. Короче, я ушел и объяснил это тем, что хотел бы посвятить себя научной работе. <...>

Я. С. Вы были рады, что все закончилось?

К. В. Закончилось что?

Я. С. ГДР!

К. В. Закончилось то, в каком это было виде, да, этому мы были рады. Так не могло больше продолжаться. Но тогда у нас была, я бы сказала, иллюзия, возможность некоего третьего пути.

Г. В. В переходный период, вскоре после падения стены появилось воззвание “За нашу страну”³³, авторы воззвания выступали против поглощения ГДР Западной Германией, за самостоятельность ГДР. Люди из “Нового форума” нас к этому призывали. Они вернулись из поездки в Бонн, куда они были приглашены Гельмутом Колем. Они сказали: “Вы даже не можете себе представить, что там за люди, как Коль с нами обошелся; свысока”.

К. В. Тогда я сказала: “Хорошо, что вы явились инициаторами такого воззвания, но уже поздно. Я в этом участвовать не буду!” И тогда мы поехали в Лейпциг. У меня там была лекция, три актовых зала были переполнены. Я рассказывала, что делала со дня падения стены, я закончила словами: “Революция в Лейпциге в хороших руках!” После лекции студенты подошли ко мне: “Госпожа Вольф, вы не знаете, что произошло? На демонстрации в прошлый понедельник вдруг появился лозунг: ‘Мы один народ!’” Тогда я им рассказала о воззвании “За нашу страну” и что я нахожу, что этот лозунг возник слишком поздно. Студенты меня настойчиво просили: “Примите участие! Это же так важно!” Когда мы снова были в Берлине, я позвонила Фолькеру Брауну и сказала: “Хорошо я с вами!” Позже я получила черновик текста воззвания. И там семь раз повторялось слово “социализм”. И я начала с того, что стала редактировать слово социализм.

Г. В. В конце концов осталась только “социалистическая альтернатива”. Но мы должны были написать “базовая демократическая альтернатива”. Себастиан Флюкбайль³⁴ из “Нового форума” сказал: “О социализме не может быть и речи”. Мы сказали: “Но должны же мы отличаться от других!”. Мы долго спорили и в конце концов осталась “социалистическая альтернатива”. Нужно было бы сформулировать как-то по-другому, точнее, что мы ни в коем случае не имели в виду ГДР. Но самое ужасное было в том, что к этому званию сразу подключился Эгон Кренц³⁵.

К. В. Это было ужасно!

Я. С. Вы не думаете, что вы были слишком далеки от того, что хотел народ? Если бы вы меня спросили, я бы сказала, что это звание — полная ерунда.

К. В. Тем не менее его подписало более миллиона человек. О чем думал народ: вперед к немецкой марке? Я никогда не смогла бы это сформулировать.

Я. С. Вам и не нужно было это формулировать. Интеллектуалы всегда играли большую роль в ГДР, их перевозили, как в Советском Союзе. Народ прислушивался к интеллигенции, почитал писателей как нравственных лидеров, то, что они говорили, было значимо, на это равнялись. Сейчас по-другому. Я могу себе представить, что вам и по сей день трудно осознать, что вы свою важную роль утратили.

К. В. Это меня несколько не смущает. Ты даже не можешь себе представить, под каким ужасным прессом я находилась все годы в ГДР. Это было ненормально. У меня постоянно было чувство, что от меня что-то требуется. Иногда я не могла реагировать, иногда не хотела, а иногда боялась. И когда это давление прекратилось, я действительно испытала облегчение. Сегодня властвует тотальная пустота. Может быть, это снова изменится.

Г. В. Первая демонстрация, во время которой появились плакаты “Мы один народ”, была спонсирована баварским пивом. В Дрездене.

Я. С. Но даже если она и была спонсирована, тогда это было выражение свободы. Я помню, как я сама страстно мечтала о немецкой марке. С моим тогдашним другом из Австрии я хотела получить паспорт Interrail, я мечтала об этом годы — проехать на поезде через всю Европу. Я надеялась, что вскоре наступит объединение валют, иначе у меня просто не будет денег.

Г. В. (смеется). Ты тоже относишься к этому ужасному народу.

Я. С. Да, конечно.

К. В. С учетом предшествующих обстоятельств, это понятно.

Я. С. В день Валютного союза я была на практике в газете “Нового форума” “Другие”³⁶. Недалеко от Французской улицы, я сидела в редакции, рядом был продуктовый магазин, и там, как и везде, продукты ГДР были отсортированы и в большинстве выброшены. На следующее утро в витринах уже стояли пирамиды из пакетов

попкорна и др. Сюрреализм. Потребление, все материальное производило на меня вначале сильное впечатление. Все старое, ГДР — для меня тогда закончилось. Обрублено. Конечно, вы с самого начала мучились, страдали и строили все это вместе с ГДР. Но для меня и для моего поколения ГДР — это нечто нереальное, недолговечное.

К. В. А сделай-ка прыжок через эти восемь лет, от Валютного союза до сегодняшнего дня. Ты видишь где-нибудь в этом сегодняшнем мире, в современном обществе какие-то нематериальные устремления?

Я. С. В данный момент нет. Во имя чего еще могут объединиться, так это успех — определенный слой, по крайней мере. Я полагаю, для моего поколения признание и успех — это самое важное. Они показывают, что ты есть, создают ощущение, что кто-то воспринимает тебя всерьез.

Г. В. Ты получаешь читательский отклик на твои статьи?

Я. С. Да, много писем. Меня читают. В мои годы вы уже были в партии и занимались политикой.

К. В. Еще как!

Я. С. А как вы видите мое поколение, двадцатипятилетних, сегодня?

К. В. Кроме вас, своих внуков, я никого не знаю достаточно близко из вашего поколения, поэтому не решусь что-либо сказать по этому поводу.

Г. В. Как ты объяснишь эти толпы на Love-Parade, что это?

К. В. Я этого не могу понять. Я ощущаю это как концентрированную пустоту.

Я. С. Это совершенно другой взгляд на жизнь. У вас это что-то, во что вы верили, за что боролись, чем восхищались и отчего страдали. Такого сейчас нет. Может быть, это и хорошо.

Примечания*

1. Крестьянская война (1524—1525) под предводительством Томаса Мюнцера (1490—1525), идеолога и руководителя народной Реформации в Германии. 14 и 15 мая 1525 г. состоялась битва при Франкенхаузене, в результате которой крестьянская армия была окончательно разгромлена. (*Прим. перев.*)

2. НСРПГ (Национал-социалистическая рабочая партия Германии), существовавшая с 1920 по 1945 г., с января 1933 г. — правящая, а с июля 1933 до мая 1945 г. — единственная законная партия в Германии. (*Прим. перев.*)

3. Рейхсвер — союз, состоявший из профессионалов-добровольцев. В соответствии с резолюциями Версальского договора 1919 г. мог насчитывать только 1000 человек. (*Прим. перев.*)

* Примечания автора, кроме оговоренных случаев.

4. Конрад Вольф (1925–1982) – кинорежиссер, в 1933 г. эмигрировал со своей семьей сначала в Швейцарию, затем в Советский Союз, в 17 лет вступил в Красную армию, позже работал режиссером на киностудии ДЕФА и был с 1965 по 1982 г. президентом Академии искусств ГДР, дружил с Герхардом и Кристой Вольф.

5. ДЗОС – дерево-земляное сооружение. (*Прим. перев.*)

6. Гюнтер Вайзенборн (1902–1969) – писатель, участник Сопротивления, поддерживал “Красную капеллу”, приговорен нацистами к смертной казни, освобожден советскими войсками, его участие в Сопротивлении отражено в пьесе “Нелегалы”.

7. Криста Вольф родилась и выросла в городе Ландсберг на Варте/Ноймарк. Сегодня этот город носит название Горжув Велькопольски и находится в Польше.

8. Слова из стихотворения Фридриха Хеббеля “Освящение ночи”.

9. Ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., во время которой по всей Германии и Австрии прошли еврейские погромы. (*Прим. перев.*)

10. Слова из стихотворения Генриха Лерша “Солдатские провода”.

11. СЕПП – Социалистическая единая партия Германии. (*Прим. перев.*)

12. “Югендмэхен” – нацистская организация для девушек, то же, что для юношей “Титлерюгенд”. (*Прим. перев.*)

13. Аушвиц (или Освенцим) – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940–1945 гг. в округе Верхняя Силезия. В Освенциме в 1941–1945 гг. было умерщвлено свыше 4 млн человек, среди них 1 млн евреев. (*Прим. перев.*)

14. Имперское управление по генеалогическим исследованиям – генеалогический исследовательский институт при Министерстве внутренних дел, основан в ноябре 1933 г. Принимал решение в спорных вопросах о выдаче т. н. “Паспортов предков”. (*Прим. перев.*)

15. Арно Беккер (1900–1990) – скульптор, считается одним из популярнейших скульпторов времен национал-социализма.

16. То есть в Имперском министерстве народного просвещения и пропаганды – создано 13 марта 1933 г. (*Прим. перев.*)

17. Союз по культуре для демократического обновления Германии был основан Иоханесом Р. Бехером. Цель Союза – борьба с нацистским прошлым и культурное воспитание населения. Позднее Союз по культуре ориентировался на культурную политику ГДР. (*Прим. перев.*)

18. Георг Лукас (1885–1971) – венгерский философ и литературовед, считается одним из обновителей марксистской эстетики.

19. Ганс Майер (1907–2001) – литературовед, в 1963-м уехал в ФРГ, Криста и Герхард Вольф до самой его смерти состояли с ним в постоянном контакте.

20. Курт Бартель, по прозвищу КуБа (1914–1967) – писатель и драматург, в 1933-м вступил в социалистическую партию Германии и эмигрировал в Чехословакию, позже в Англию, в 1946-м вернулся в Германию и вступил в СЕПП.

21. Хайнер Мюллер (1929–1995) – драматург, последний президент Академии искусств ГДР.

22. Иоханес Р. Бехер (1891–1958) — поэт и политик, функционер КПГ, эмигрировал в 1933-м в Чехословакию, потом в СССР, в 1954 г. — министр культуры ГДР, автор национального гимна ГДР.

23. Восстание 17 июня 1953 г. в ГДР — экономические выступления рабочих в июне 1953 г. в Восточном Берлине, переросшие в политическую забастовку против правительства ГДР по всей стране. Власти ГДР объявили волнения результатом иностранного вмешательства. В заявлении ЦК СЕПГ от 21 июня 1953 г. движение протеста характеризовалось как “фашистская авантюра” и “фашистская провокация”. 17 июня было объявлено “заранее спланированным днем X”.

24. Книга увидела свет в 1955 г., в ней историк Вольфганг Леонхард описывает свой побег из Германии в Советский Союз в 1935 г., а после войны — в Белград.

25. Стефан Херmlin (1915–1997) — писатель, эмигрировал в 1936-м через Палестину во Францию и потом в Швейцарию, после войны возвратился в Германию, с 1947 г. жил в Восточном Берлине, дружил долгие годы с Вольфами.

26. Фридрих (1909–1979) и Анна (1902–1972) Шлоттербек. Фридрих Шлоттербек — писатель-коммунист, 10 лет провел в лагере и в каторжной тюрьме, в 1944 г. бежал в Швейцарию. В 1944 г. со своей женой Анной переехал в Восточную Германию. В ГДР во время сталинских репрессий снова был осужден. Вольфы с ними дружили.

27. Сталинские процессы против правящих членов коммунистической партии ЧССР и генерального секретаря Рудольфа Слански коснулись также и ГДР.

28. Луис Фюрнберг (1909–1957) — лирик, писатель-новеллист, антифашист; вернулся в 1946 г. после эмиграции в Палестину обратно в Прагу, избежал репрессий во время процессов 1952 г., переехал в ГДР в 1954-м, там работал в Исследовательском мемориальном комплексе в Веймаре.

29. Имре Надь [1896–1958] в 1917 г. вступил в РКП(б), в годы Гражданской войны сражался в рядах Красной армии, присутствовал в Ипатьевском доме во время убийства царской семьи. 7 января 1933 г. был завербован в качестве секретного осведомителя НКВД СССР. В соответствии с документами, имевшимися в архиве КГБ СССР, активно сотрудничал с НКВД и писал доносы на работавших в Коминтерне венгерских коммунистов. По доносам, собственноручно подписанным Имре Надем, были арестованы десятки человек, из которых 15 были расстреляны или погибли в лагерях. Арестован в ночь с 4 на 5 марта 1938 г., но через несколько дней был освобожден. В 1939 г. был восстановлен в рядах ВКП(б). (*Прим. перев.*)

30. Вольфганг Харих (1923–1995) — философ и журналист, с 1944 г. в подполье, в 1946-м вступил в коммунистическую партию Германии, в 1954 г. — главный редактор издательства “Ауфбау Верлаг”, член “Круга единомышленников”, неформального кружка интеллектуалов-марксистов, требующих реформ внутри партии. 29 ноября 1956 г. арестован и в 1957-м показательно осужден на 10 лет тюрьмы за “организацию конспиративной враждебной государству группы”. В 1964 г. был освобожден и работал в издательстве “Академии”.

31. Вальтер Янк (1914–1994) — издатель и драматург, при нацистах узник концентрационного лагеря, потом был выслан в Чехословакию, участвовал в гражданской войне в Испании на стороне интернациональных бригад, позднее эмигрировал в Мексику. В 1947 г. вернулся в Германию, жил в ГДР, руководил издательством “Ауфбау Верлаг” с 1952 по 1956 г., в 1956 г. был осужден на 5 лет по делу “Организации конспиративной, враждебной государству группы”, позже был драматургом на студии ДЕФА, дружил с Вольфами.

32. Карл-Эдуард фон Шнитцлер (1918–2001) — журналист и радиокомментатор, позже ведущий пропагандистской передачи “Черный канал”.

33. Воззвание инициаторов движения “Гражданская инициатива” в последний год существования ГДР. Конечный вариант составлен Кристой и Герхардом Вольф, опубликован 28 ноября 1989 г. Воззвание содержит требование выступить против поглощения Западной Германией, за государственную самостоятельность ГДР. Воззвание подписало более одного миллиона человек. Тогда воззвание было воспринято как нереалистичное, элитарное. (*Прим. перев.*)

34. Себастиан Флюкбайль (р. 1947) — физик, один из основателей “Нового форума”, в 1990 г. — министр без портфеля в последнем правительстве ГДР.

35. Эгон Кренц (р. 1937) — с 1984 г. второй человек после Эрика Хонекера в руководстве ГДР, а с октября 1989 г. в течение семи недель был председателем Государственного Совета ГДР.

36. “Другие” — межрегиональная еженедельная газета, основанная “Новым форумом” в январе 1990 г., закрыта в апреле 1991 г.

ЩЕПАН ТВАРДОХ

Морфий

[40]

ИЛ 12/2021

Роман¹

Перевод с польского СЕРГЕЯ МОРЕЙНО

Часть 2

Глава VIII

Хотел бы ты видеть себя, видеть вас его глазами. Но не можешь, Костичек. Многие вас роднит, но этого по-прежнему недостаточно.

Но какими же разными были дела ваши ратные, Костичек. Это твое офицерство. Грудзёндз, Теребовля, уланы.

Пуškai он, человек со съеденным войной лицом, и был уланом, это лишь знак, звук, не более. Твой уланский полк и его уланский полк — мундиры различны, пусть и похожи в чем-то, традиция-то одна, у них даже более уланские, куртки двубортные, как положено, а у вас простые. Твой отец родился затем, чтобы быть конным офицером, палашом намечая цели атак; зачем родился ты, Костичек?

Как мало ты знаешь, Костичек. Помнишь одно это лицо, помнится оно, словно бы выжженное в твоём десятилетнем мозгу: отец идет. Все те пять лет твоей жизни всякий его приход был праздником. Побывки длиной в пару дней, а то и в пару недель, позже алтарь в его честь, мать подводит тебя к нему, бронзово-желтое фото: двубортная куртка улана, руки стиснули рукоять палаша. Ты помнил, как прежде он затачивал свой палаш, и застыл перед портретом, пробуя взглядом коснуться лица, скрытого за плоской фотоэмульсией.

А после он приходил домой, в отпуск. Сначала жестяной звяк ножен на лестнице, звяк ее о шпоры, а после он открывал дверь, долго целовал твою мать или, точнее, она долго целовала его и говорила: “Мой мальчик вернулся”. Он был ее мальчиком, и все в доме было праздничным, домашние правила редуцировались, и я даже мог обращаться к отцу, не будучи спрошенным.

Ночами, у кровати, он рассказывал мне свои приключения, нынче знаю, что он их сочинил. Но что еще мог он рассказать мне об этой войне, не такой, как положено? О той войне без атак, которые

1. Окончание. Начало см. в “ИЛ”, 2021, № 11.

юный поручик намечал бы палашом своему взводу? Мог ли он рассказать о том, каково тонуть в окопной грязи, о стальных грозах? Итак, он рассказывал сочиненные истории.

Весь мир сочинен, Костичек. И это как круги на воде.

Фати вел патруль, а тут вдруг выскакивают на него две сотни ужасных итальянских берсальеров. Берсальеры суть солдаты с перьями на шлемах. И они как тратататата из пулеметов! А Фати обнажил саблю и бац! Отсек первый султан! Бац! Отсек второй султан. И так бац-бац-бац, поотсекал им все султаны, и стало им так стыдно, что они бросили пулеметы и убежали. Так Фати добыл три итальянских пулемета и двести султанов, за что Его Величество кайзер дал ему *Eiserne Kreuz*. Папа показывает *Eiserne Kreuz* 1-го класса.

Школьные товарищи не верили, и один ткнул меня в нос за такие байки. Я тычка не вернул, потому что он был сильнее, зато принес на следующий день фото отца в форме улана, двубортная куртка, уланская каска, эфес палаша. Они завидовали. Еще принес черное перо султана берсальера, которое Фати специально привез для меня с самой войны.

Едет Фати на лошадке, а тут вдруг... английский танк! И шпарит изо всех стволов! А было их всего пятнадцать, пулеметы и пушки! Железные! Ну, а Фати саблю в кулак и бац-бац-бац, поотрубал все стволы! И англичане в плач!

А то ехал Фати по полю, а тут на него — летчик! И так пикировал, так пикировал, что крылом сбил с отца шапку. А в другой раз пролетел и так крылом цепанул, что бах! — в лоб Фати, тот упал, ткнулся в камень и сомлел. Рапапорт, то есть мерин отцовский, — так его звали, Рапапорт — вернулся в полк один, и все однополчане ну оплакивать отца, гибель его. Но что это, что за дела! Рапапорт не дает себя расседлать, лягается, ржет и наконец срывается и вскачь, уланы пытаются ловить его, а он шагов на пятьдесят отбежит и стоит, а уланы за ним. И долго так — пока не привел их к папочке! А там как раз французское наступление начиналось! И черные, как ночь, негры с ощеренными зубами! И штыками! Но однополчане справились, отца на Рапапорта посадили и от негров сбежать сумели!

А как уж сбежали от них, оказалось, что папина шапка на поле лежит! А где это видано — уланский офицер без шапки! И где это видано, немцы от негров бегут? Так что взяли они *Maschinengewehr* и давай по тем неграм! Ратататататата! И бежали негры, аж пыль столбом, а те за ними, пока не нашли шапку, пусть и простреленную из пулемета.

Он тогда показал тебе шапку, в подтверждение своей истории, ты помнишь? В квадратной тулье фуражки была дырка, такая, что в нее аккуратно проходил твой пальчик.

А я показывал товарищам в школе: проделал пальцем дырку в странице учебника и показывал: вот такая была в уланской шапке папы! Потом учитель наказал меня за это.

Но негров папа прогнал и одному даже ссек саблей голову! И тогда они уже верили, верили безоговорочно, хотя отсеченную саблей

голову ты добавил сам, из собственной фантазии. Отец не упоминал отсеченную голову негра. Равно не привозил ее домой.

А потом мой отец вернулся без лица и не рассказывал никаких историй, вообще ничего не говорил.

Мне не позволяли посмотреть на него, но я прокрался, чтобы из-за приоткрытых дверей заметить лишь его силуэт, неожиданно тоненький и слабый, едва ли не девичий. Он никогда не был крупным — был жилистым, как горняки, работающие в шахте, низкие, худые, покрытые комками мышц, узкие бедра, широкие, хотя и тонкие плечи. Но теперь он был худым как девочка, узеньким, крохотным. Он оперся на плечи матери и служанки, каждая крупнее и выше него, серый мундир висел на нем, как на пугале. Я слышал, как его укладывают спать, слышал его дыхание, слышал всю ночь, как он свистит и хрипит, как играют в горле покрытые рубцами связки.

А потом еще раз глянул в замочную скважину и увидел.

В комнате горел свет, мама разбирала корзину, что покрывала лицо отца, разобрала ее до конца, а он обернулся тогда, и я рассмотрел эту жуткую маску, которая сменила знакомое, любимое лицо: красивое, немецкое, златовласое и голубоглазое.

И я закричал.

Твой отец услышал этот крик. И он понял.

Твоя мать услышала этот крик. И знала, что маленький ее мальчик, единственный, кто сумел сделать ее беременной, ее возлюбленный Бальдур с золотыми волосами и разорванным лицом тоже слышал этот крик и понимал.

Мать выбежала из спальни отца, схватила меня за воротник пижамы, затащила, как щенка, в мою комнату и жутко там излупила: оголив мои ягодицы, секла розгой, а дом наполнился воем на два голоса: моим и глухим, хрипящим воем моего отца.

Мне порой доставалось на орехи, так что порка была для меня не в новинку, но так сильно я ни разу не получал ни до, ни после.

Но даже когда она лупила меня и когда я выл, то выл более от страха перед тем лицом монстра, нежели от боли. От боли выл мой отец, и выл тихо, или, вернее, хотел выть, стеноя своим новым, жутким голосом, свистел, хрипел ей: Schlag ihn nicht, hör sofort auf ihn zu schlagen, schlag ihn nicht!¹ — ибо знал, знал, что она меня не любит, что любит только его, не любит плод своих чресел, ибо может любить только то, что наполняет эти чресла, а не то, что эти чресла произвели.

А потом я лежал в пустой ночи один, с горящей задницей, и старался не слушать их, и в темноте я видел это его жуткое, нечеловеческое больше-не-лицо, опухшее не-лицо, лицешрам, лицерану, лицежерло, узкая полоска жуткого рта и черные нити хирургических швов.

Я слышал, как ночью они говорили, в их голосах гнев, новый гнев, странный гнев.

1. Не бей его, сейчас же прекрати его бить, не бей его! (Здесь и далее перевод с немецкого Михаила Рудницкого.)

В школу на следующий день я не пошел. Никто меня туда не посылал, оттого и не пошел. Когда мать ушла, я проскользнул в спальню отца, годами бывшего так ненамного старше меня, и прильнул к его тощей спине. Прошептал: *Ich liebe dich, Vati...*¹

Немое рыдание всколыхнуло его, он трясся так какое-то время, как в конвульсиях, но он не повернулся ко мне, не дотронулся до меня. Я ушел. Три месяца я не заходил в комнату, где лежал мой отец. Только слушал его свисты, хрип и стоны.

Три месяца спустя ты снова на него смотрел, Костичек, ты помнишь, снова смотрел на него. В воскресенье. Падал первый снег, таял на теплой еще мостовой.

Он стоял в мундире у входной двери, покачиваясь. Ты вышел из комнаты в пижаме в клеточку.

— *Der Kaiser hat abgedankt*², — сказала мать, тонкая, как сосулька, в зашнурованном по шею платье. Она больше не любила Бальдура.

Что с того, что кайзер отрекся от престола? Отец стянул поясом грязный уланский ваффенрок. Простым, солдатским, у пояса деревянная кобура в кожаной сбруе, из нее торчит круглая рукоять пистолета. Я очень хотел посмотреть на этот пистолет. Рядом на “жабе” штык-нож, а мне хотелось спросить: “Отец, где твоя шпага?”

Позднее ты поймешь, что эпоха сабли и винтовки прошла, настала эпоха ножа и револьвера.

Его лицо было замотано бинтами, на бинтах аптечная резинка удерживала очки в проволочной оправе, которую нельзя было заложить за уши.

Он надел шапку.

— *Nau ab*³, — сказала мать.

— Я только хотел попрощаться, — просвистел отец из-под бинтов.

— *Na dann verabschiede dich, und dann raus*⁴.

Он хотел подойти ко мне, обнять меня, я боялся его, но жаждал этого объятия. Она преградила ему путь.

— *Sage deine Abschiedsworte und dann verpiss dich, aber sofort*⁵, — рявкнула она. Он смотрел на меня, хотя сквозь стекла и через повязки его глаз не было видно.

— Прощай, *mein Söhnchen*. До свиданья, — шепнул он мне.

Боялся ее, боялся даже обойти стороной, чтобы обнять меня. На ваффенроке у него был *Eiserne Kreuz* 1-го класса и знак “За ранение”, регалии доблести, а он боялся пройти мимо нее, чтобы обнять своего единственного сына.

Ушел, так и не обнявши меня.

А ты остался, Костичек, остался с ней в этой пустой квартире, еще более опустелой, чем когда-либо. Через несколько месяцев вы уже

1. Я люблю тебя, папочка... (Нем.)

2. Кайзер отрекся от престола (нем.).

3. Проваливай! (Нем.)

4. Ну, тогда прощайся и прочь (нем.).

5. Сказал свое “до свидания” и сгинул, только живо (нем.).

были в Варшаве, золотобронзовое фото с подлинным лицом твоего отца исчезло, исчезли все памятки о нем, исчезли из ванной его бритва, помазок и крем Truefitt & Hill, бесстыдно английский в годы войны с англичанами, но ты знаешь сам, всякий немец тех лет хотел бы быть англичанином, даже не желая этого признать, он мечтает об английскости, к английскости стремится, за англичанина выдает себя, и все, что ему удастся, есть скверная копия, вице-англичанин, не более. Немецкость есть центральноевропейская, континентальная, хтоническая тоска по атлантической, морской английскости — но ей не достает места, чтобы набрать английский размах. Здесь нет дыхания океана, оттого безумства немецкости вечно будут сдобрены чувством вины. Немецкая ненависть к славянству или еврейству вечно купается в чувстве вины, маскируя бездарно ненависть к самим себе: англичанин, не моргнув глазом, морит голодом буров в концентрационном лагере не оттого, что отказывает им в людскости: он отказывает им в английскости. Прусак же ненавидит поляков, зная, что сам является внешне онемеченным славянином. Австриец ненавидит чехов, сам будучи не более чем слегка глазурированным немецкостью чехом.

Все это, целое то немецкое самоненавистничество, заколосилось примерно в те дни, как твой отец потерял лицо. Хотя, быть может, и ранее, да, определенно ранее: гуннская речь Вильгельма, который сейчас, когда ты живешь своей жизнью, Костичек, обитает в малом домике в Голландии, для императора малом. Гуляет по голландскому саду, себе не изменяя: глупый, спесивый, породистый, меланхоличный, в полосатом костюме и рубашке со стоячим воротничком. Жалкий, неудачливый монарх из оперетки.

А скорее всего еще раньше, в кругу бородатых мужчин, собравшихся в Версале, где среди мундиров темно-синих и белых, среди кирас и воздетых к небу остриев кирасирских палашей была провозглашена Германская империя и немецкость вдруг лишилась своей формы, ведь до того она утверждалась в тяге к единению, такова была ее естественная динамика, а кроме того — что бы значило быть немцем в Рейхе?

Немцу предстояло обрести новые формы бытия немцем, и он обрел их в Англии. Немецкий дворянин был плохой копией английского дворянина, от англичан император Вильгельм научился тому, что завело голову Эфика, первого любовника твоей матери, из Глейвица на пекинские мостовые. Помнишь? Не помнишь, а голова его была отрублена широким лезвием двуручного китайского меча дадао, но ты не помнишь, Костичек.

Знаешь, что тогда с ним случилось, с твоим отцом?

После ты часто воображал его себе таким, каким видел на фотографиях. Баварские шерстяные чулки и короткие брючки, перья на шляпе, смешно же, смешно? Немного; но, впрочем, ордена, скрещенные кости и эдельвейс вместо черепа — эмблема Оберланда.

Ты воображал его себе уже в Варшаве, читая в газетах о боях в Силезии, и воображал себе отца Бальдура втайне от матери, ибо тебе не позволялось воображать его себе. А ты, однако, воображал: как с

пистолетом в руке ведет он атаку на строй польских боевиков. Ты не знал точно, на чьей ты стороне.

Ты представлял его себе с лицом, скрытым тенью от козырька раскидистого шлема, с лицом невидимым, когда он бежит, кресты доблести и отваги на груди у него, вспыхнуло красное пятно меткой пули, отец падает сначала на колени, а на груди вспыхивают новые метки пулемета, и твой отец валится лицом в мокрую борозду, двадцать третья мая 1919 года, лихо в селе Лихыня, рядом окоп, а в окопе ритм: шлем штык шлем у широкого козырька шлема лезвие приклад на земле ждут свистка ты видел на фото английские шлемы мелкие наши шлемы глубокие французские шлемы гребенкой и ритм шлем штык шлем и под Лихыней окоп неглубок шлем штык шлем ждут присевши припавши спины крулятся шлем штык шлем свисток, ритм ломается и скопом из окопа козырьки иголки штыков многопалая рука страны и земли и народа поляки и немцы бьются на улицах меж деревянных домов и домов из кирпича, бьют штыками прикладами саперными лопатками ножами и пистолетами и кулаками и бранью и слезами и криками: “Мутти!”, “Мамочка!”. Так тебе тогда мудро казалось, а когда ты был на войне, никто не кричал “мама”.

Как же прекрасна ты, гражданская война, без лишней отчужденности меж врагами, меж врагами что братьями. Чужие люди не должны друг друга убивать, убивать друг друга должны только близкие, только близкие убьют с нежностью, жестокость есть своего рода нежность, жестокость весьма человечна, одних лишь животных убивают так, чтобы они не страдали, жестокость будто ласка плетьюми будто ласка на плачу стреляют пацанов белесых или чернявых словно осыпая их поцелуями.

Мне нравятся гражданские войны, Костек. Твоя серая подруга любит гражданские войны. Гражданская война питает меня сытнее, чем та, где чужие убивают друг друга.

А твой отец лежит щекой в черной земле, мертвый и никого не зовет.

Таковы были твои детские представления.

А сейчас тебе тридцать, ты пьян, ты одурманен и одержим похотью, ты с Саломеей и с Игой, ты в Адрии, и стонет кларнет, и он здесь.

Ganz leise kommt die Nacht¹. Драматическое меццо, твердое “р-р”, певица имитирует шведский выговор и низкий голос Сары Леандер. Твой отец кланяется обеим дамам. Огни кружатся. Ты знакомишь их.

— Это большая честь, die Damen kennenzulernen², — высвистывает отец.

— Ich kann allem widerstehen...³ — начинает твердый альт новую дерзкую песню.

1. Так тихо ночь приходит (нем.).

2. Познакомиться с дамами (нем.).

3. Могу устоять пред чем угодно... (Нем.)

— Танцуем! — кричит пьяная Саломея и подает тебе руку Иги. Она подает тебе руку Иги и Иги, и Ига поддается тебе безвольно, вернее, это ей она поддается.

Надо танцевать, теперь тебе надо танцевать! Саломея склоняется к твоему отцу.

— Herr Graf, ich weiß, dass es sich eigentlich nicht gehört, aber ich halte es nicht länger aus: darf ich Sie zum Tanz bitten?¹

За этой жуткой маской изуродованного лица ты улавливаешь смущение, поскольку Саломея зовет его на танец так, словно бы этой маски не было, словно бы она видела его прежнее, подлинное и прекрасное лицо, словно бы зазывала его в постель.

Как же так, как же это может быть, что женщина обращается ко мне, думает твой отец, ибо знает о себе нечто очень важное, чего ты не знаешь.

Тогда, двадцать лет тому назад, в Каттовиц, в каменице по адресу Рихард-Хольтце-штрассе, 1, над немецким Kaiser Café, которое позже станет польской “Асторией”, в квартире в бельэтаже твой отец, он вернулся с войны, перемолотый шрапнелью.

А твоя мать хочет его, она опять его хочет, хочет целиком. Ты спишь, спишь, как малая зверюшка, спишь, спрятан в норке кровати, скрыт от очей и притязаний мира.

А они в спальне. Мне нужно тебе что-то сказать, Катажина, говорит Бальдур, но не словами, это говорят его глаза, когда Катажина Штрахвиц дома Виллеман расстегивает пуговицы на высоком викторианском платье. Мне нужно тебе что-то сказать, Катажина.

Ты моя жизнь, Катажина, говорят его глаза и ладони, помогая платью упасть с ее плеч.

Я все забыл ради тебя, Катажина. От всего отрекся, все похерил, забыл одиннадцать братьев рода Штрахвиц, убитых семьсот лет тому назад под Легницей, и единственного выжившего, предка нашего Воеслава с головой вепря в гербе, его я также забыл. Я забыл императора и его конных лейб-гвардейцев. Титулы и сеньораты. Blut und Ehre habe ich auch aufgegeben.

Alles².

Всё.

А теперь мне нужно тебе что-то сказать.

Твоя мать не слышала слов, сказанных глазами твоего отца, Костичек. Мне нужно тебе что-то сказать.

А ты с Игой в слоуфоксе. Laß mich gehen³, — поет вокалистка очередной шлягер Сары Леандер. Laß mich gehen. Саломея влечет твоего отца на дансинг, Костек, а он идет, внезапно безволен, одурманен, идет, шаркая длинными худыми ногами, идет неуклюже, словно Саломея схватила ту самую узду, на которой некогда держала его твоя мать.

1. Господин граф, я знаю, что вообще-то это не положено, но я больше не выдержу: позвольте вас на танец? (Нем.)

2. Кровь и честь я тоже предал. Всё предал (нем.).

3. Дай мне уйти (нем.).

— Die Mutter ist in Warschau, Vater!¹ — кричу я через весь танцпол, Ига должна бы скривиться от немецких слов у меня на губах, но не кривится, не слышит.

Моя мать, что не спит, Белая Орлица, в темно-синей юбке и темно-синем пиджаке, с серебряным орлом на левом плече, повязкой, крохотной свастикой на партийном значке на кармане и треугольником значка NS-Frauenschaft.

Откуда известны мне смыслы этих значков, или я их придумал, вообразил себе, они действительно значат то, что я думаю, что они значат? Что она делает сейчас, знает ли она, что я знаю, что Vati находится в Варшаве?

Поэтому я кричу, перекрикиваю оркестр, и всем кажется, что это веселые выкрики доброго веселья, ведь есть что отметить, поэтому отмечают, в трофейном ресторане немцы пляшут со шлюхами, есть музыка, есть шнапс, всё есть. Кричу. Мать сейчас в Варшаве.

Он слышит ли, слышит ли, что я кричу?

Слышит.

Двадцать лет тому назад на Рихард-Хольтце-штрассе, над кафе Kaiser, он помогает снять платье с плеч твоей матери, ей пятьдесят и она по-прежнему красива, сухопарое тело в тесном футляре из влажной упругой кожи, итак, он помогает снять платье с этого тела, а ты спишь сном зверюшки.

Мне нужно тебе что-то сказать, молвят глаза из-за корпии, под ней свежие рубцы уже, а не открытая рана, мне нужно тебе что-то сказать, молвят глаза Бальдура Штрахвица, ротмистра во втором полку силезских улан фон Кацлера. Катажина могла бы любить его и дальше, рот ее не ищет разорванного рта, но тянется к шее, к его здоровой шее, исследует вырез рубашки, ключицы, грудины, Катажина могла бы и дальше любить своего мальчика, даже и без лица. Мне нужно тебе что-то сказать, молвит его тело.

Ее руки на пуговицах брюк.

Мне нужно тебе что-то сказать, говорят его ладони и сдерживают эти руки на пуговицах брюк, и она знает, уже знает, вдруг слыша и понимая эти слова.

Мне нужно тебе что-то сказать, говорит Саломее неуклюжее, скованное тело моего отца, подчиняясь тем не менее.

И танцуют. Отец, скорее, просто идет по паркету, жуток, скован, а вокруг вьется Саломея, будто вьась вокруг записного танцора, будто весь мир танцует с ней вокруг него.

Мой отец что-то бормочет. Саломея смеется.

Ига в моих объятьях. И внезапная мысль: уходим. Уйти, мы должны уйти. Я должен уйти.

— Ига, пойдем отсюда, — шепчу я.

— С чего вдруг, Константин! Хочу пить и танцевать! — отвечает, смеется.

1. Мать в Варшаве, отец! (Нем.)

Петляем в слоуфоксе, а я знаю, как молния: больше не выдержу здесь ни секунды. Но я выдерживаю, одну секунду, две, три.

Внезапно в лице, в глазах Иги проявляется лицо моей гувернантки из Трубецких, Чеславовы Бельской, как она сама представлялась. Сухая, костлявая дама, застегнутая на все пуговицы, капитально обедневшая аристократка, взятая замуж скромным клерком из Министерства финансов и дававшая частные уроки хороших манер, дабы поддерживать некую связь с прежней жизнью.

Урок первый. Воспитанный человек уверен, что сможет овладеть собой в любой жизненной ситуации. В силу этого никогда не выкажет он конфуза либо растерянности. Мало что так импонирует людям, как добрая, полная достоинства стать.

Я не могу перевести дух, — хрустально смеется Ига. Отпусти меня, поет варшавская имитаторша Сары Леандер, а может, сама Леандер это поет?

Ты смотришь на сцену. Леандер. Она. В Варшаве? Тотчас после войны? Она это? Она или не она?

Я знаю, Костичек, а ты не знаешь и не узнаешь, и я тебе не скажу. Не сумею.

Отец внезапно меняется. Он начинает вести Саломею по танцполу, подводя ее ко мне и к Иге, как если бы был искушенным салонным львом. Есть. Когда мы сближаемся, называет мне адрес, Шуха, шестнадцать, не переводит, но я понимаю.

— Генеральский дом? — успеваешь удивиться ты, прежде чем ритм танца разлучит вас. Ига смеется хрустально. *Laß mich gehen*. Пора бежать.

Урок гораздо более поздний. Роль женщины на балу пассивна — она ждет, пока ее пригласят на танец. Ни при каких обстоятельствах танцор не оставляет свою даму посреди залы, но провожает ее к стулу.

Я вырываюсь, выкручиваюсь из рук Иги.

Огромной бестактностью, мальчик, бестактностью и признаком плохого воспитания будет ведение сальных разговоров или изречение двусмыслиц при женщинах, пускай и незнакомых. Те, в ком действительно есть польский дух, такие разговоры не ведут.

Was ist... сальный? Мы здесь говорим по-польски, мальчик. Чем же суть сальные разговоры, пани Бельская? Узнаешь в свой черед и будешь знать наверняка. Но прежде ты научишься правильно говорить по-польски. На столешнице парты лежит линейка.

Я проталкиваюсь среди танцующих, задеваю Саломею, задеваю офицера в серой форме, который — пьяный — кричит мне вслед что-то, очень грубое, не смущаясь лгнувшей к нему дамы, точнее выражаясь, дамки.

Добежал до двери, лестница, улица.

А Бельская мне: издавна поляки славились среди других народов своим рыцарским отношением к женщине. Можем гордиться такой оценкой, но тем более должны развивать мы в себе это качество, как одно из тех, в которых превосходим за границу.

— Проваливай, старая ведьма! — кричишь ты, Костичек, сжимая кулаками виски своей разбитой, угнетенной головушки.

Приглядываясь к публике, нетрудно констатировать, что нет в сем собрании людей по-настоящему хорошо воспитанных, из таковых по-неже никто не позволит себе нарушить национальную традицию, даже не будучи религиозным, — стучит в голове пани Бельская.

Откуда она сейчас, ведь не была ни в коем разе проклятием моего детства, получил я от нее всего пару уроков, она меня не мучила, не изводила, не вспоминал о ней уж сам не знаю сколько лет, а вдруг является, вдруг изводит меня, я слышу ее голос так отчетливо, как будто рот ее твердит эти слова внутри моего черепа. Бегу.

Женщина не предлагает мужчине свою фотографию, ежели не имеет с ним близких отношений.

Спотыкаюсь, падаю, на улице брешь, воронка от бомбы, шмякаюсь в грязь, измаран весь. Когда пишете знакомым по вопросу, требующему ответа, не следует вкладывать для одного в конверт почтовую марку. Это можно делать, лишь корреспондируя с особами из низшей сферы.

Я выдираюсь из воронки, встаю, а в глаза мне глядят два штыка.

Крики, по-немецки. Кто истинно печется о духе польском, тот знает, что гордиться должен великими достижениями нашей родины. Гдыня есть гордость каждого поляка, повтори.

— Гдыня есть гордость каждого поляка, — говорю я.

Черные жерла стволов за остриями штыков, я вижу их в небывалой перспективе. А дальше темные фигуры, плащи, каски. Кричат по-немецки.

— Подпоручик запаса Константин Виллеман, девятый Мало-польский уланский полк, по вашему приказанию.

Krzyszcz.

Кричат.

Боже, это ж немцы!

Тянусь к кобуре, нет кобуры, должно быть, потерял кобуру, потерять пистолет это позор, большой позор, хотя пистолет-то мой личный, не Речь Посполитая купила, я сам его себе купил.

— Огонь! — кричу.

Взвод не стреляет. Может, патроны уже кончились. Пойдем в атаку.

Когда взвод достигнет места, откуда он должен наступать, командир взвода дает команду: “Взвод в атаку — рысью — марш!”; всадники переходят на предписанный аллюр, имея копыя у бедра и сабли к бою. Подойдя к противнику на расстояние около 200 метров, командир взвода командует: “Взвод — марш-марш!”; по этой команде всадники, изготовив свои копыя к бою, с криком “ура” галопом бросаются на противника.

— Взвод... в атаку — рысью — марш!

Немецкие крики все громче и громче, должно быть, близко уже, я выдрался уже из воронки от бомбы, не знаю, почему я не в седле, должно быть, контужен снарядом.

Мужчина снимает шляпу в лифте, когда едет с женщинами, даже с незнакомыми. Женщина не наливает мужчине вино, водку или пиво, зато может положить ему на тарелку кушанье, если поблизости нет слуг. Плечи назад, Константин!

— Взвод — марш-марш! — кричу я и высматриваю свою лошадь.

Один из штыков вдруг канул из поля зрения, накрытый каской немец завился в странной позе, я вижу, как пляшет и в пируэте завивается приклад, медленно скользит в мою сторону и наконец голубит мой висок, словно поцелуй матери.

Я падаю. Меня убили. Спи, дружище, в темной могиле, пусть Польша снится тебе.

Стоят надо мной два немца в языческих шлемах, а к шлемам прикручены болты со скобами, как для швартовки яхты. А за скобы зацеплены цепочки, нет — цепи, — и уносятся вверх эффектно дугами, слегка изгибаясь под собственной тяжестью, как богатырские поводки, и исчезают в огромной черной ладони, сжатой в кулак.

Я не на войне, я в Варшаве. Высится над Варшавой огромная фигура, черно-серая, что твой небоскреб, даже больше, чем Пруденшал, больше, чем американские башни из железа и бетона, а из рук ее, что твои лучи, спадают на землю тысячи серебряных цепочек, и легчайшие колебания этих рук дирижируют этими цепочками так, как дрожание узды правит лошадью.

Одна из цепочек нисходит прямо ко мне, прицепленная к моей шляпе.

— Das ist ein Deutscher, hört ihr es? Er ist Deutscher!¹ — кричит.

Кто-то. Кричит. Ига. Тормозит меня, ее руки на моей груди, под пиджаком, что-то у меня отнимают.

— Hier, bitte, das sind seine Papiere². — У нее в руке моя Kennkarte, она подает ее марионеткам на цепочках. В волосах у нее цепочка.

— Blöder Säufer!³ — обращается ко мне кукольный шлем. — Возьми его спать, баба!

Ига поднимает меня, держит под руку, идем.

Я что-то говорю по-немецки, но не понимаю ни слова из того, что говорю. Я забыл немецкий.

— Я не знаю немецкого, Константин, — отвечает Ига.

— Я не немец. Я не немец, понятно?

Побрякивают серебристые наши цепочки, тысячи других исчезают в черных окнах домов, а равно в окнах освещенных, одни неожиданно напрягаются, вибрируют, другие свисают свободно. На самом деле ничего нет. Все мне кажется.

Садимся в адлер, который ждет возле Адрии, ждет нас.

Мы течем по городу, порхаем на орлиных крыльях среди домов многоквартирных, которых я не узнаю, меж фантастических домов,

1. Он немец, слышите вы? Он немец! (Нем.)

2. Вот, пожалуйста, его бумаги (нем).

3. Пьяный болван! (Нем.)

противоречащих законам физики, паря над землей, проезжаем сквозь лужи крови, ее разбрызгивают белые шины адлера, а кровь брызжет на окна машины, я смотрю на Варшаву чрез эти кровавые капельки, и прекрасна киноварью и кровью рисованная Варшава.

Шоколад. Мы выходим. Шофер требует денег. Плачу.

Поднимаемся по лестнице, я и Ига. Я слизываю шоколадную влажность со стен, я хочу слизывать ее с Иги.

Квартира. Мы входим. Спальня, Ига стаскивает с меня обувь, Ига расстегивает мои брюки, толкает на кровать, стягивает носки. Я хочу целиком утонуть в ее теле, сомкнуть губы на ее губах или ее промежности, засунуть в нее язык и глотать изнутри. Лежу.

Какие же красивые у нас шкафы с интарсией из капакорня, а при этом отнюдь не грузные по-мещански, но легкие, современные, функциональные, без одышки буржуазных буфетов. Очень красивые.

Пытаюсь, лежа, обнять ее за талию. Она ускользает от меня.

— Спокойной ночи, Константин.

А меня ты не слышишь, вовсе меня не слышишь, Костичек. Оттого молчу, чего там, умею молчать. Пускай другие говорят в тебе. Коль уж необходима особая осторожность при знакомстве с мужчинами, тем более показана она в случае, если речь идет о женщине, дабы не подвергать ее реноме опасности выпачкаться знакомством с ненадежным мужчиной. Такой бо случайный знакомый либо знакомая могут всю жизнь потом докучать и цепляться, а избавиться от них невозможно.

— Проше пани, а что это за реноме, которое можно выпачкать?

— Реноме является всем, Константин, реноме равняется человеку.

— Ига! — кричу я в четыре стены пустой спальни. — Ига, умоляю тебя, приди ко мне, я жажду тебя, люблю, хочу иметь сейчас же! Ига!

— Спи, Константин, — говорит мой отец по-польски, или это Ига говорит, или пани Бельская. Женщине не пристало курить на улице.

Скажи, Константин. Что я должен сказать? Кто ты? Маленький поляк. Что за край? Отчизна нам. Что цена ей? Кровь и шрам.

Черно.

А после просыпаюсь и уже утро, но еще очень серое, и эта серость вливается через окно в комнату, плывет по стенам, сочится в глаза и в мозг, я отдаюсь ей и засыпаю снова.

И снова просыпаюсь, серость уже посветлела, а я внезапно вспоминаю вчерашнюю ночь. Всё.

Ига. Саломея. Наркотики, снова. Отец.

Бог мой, в которого я не верю, отец. Мой отец жив. И что с того?

Много с того, Константин. На твоём небосклоне стало тесно. Твоя мать в униформе NS-Frauenschaft, твоя мать, вновь превратившаяся в Катарину Виллеман, такую, какой она родилась в доме Гливицкого буржуа, должна уступить немного ясного небесного свода этому искалеченному, деклассированному аристократу, должна очистить для него место над тобой, Костичек.

Хочешь ты их обоих там или нет: они есть.

Но, может, я смог бы попросту притворяться, что его нету. Хочу ли я притворяться, что его нет, что меня с ним роднит-то? Ничего.

Ига. Где же Ига?

Встаю и распадаюсь, как разбитый кувшин, сажусь, стало быть, на кровать. Хочу воды и аспирина, встаю, стало быть, снова, тяжело, опираясь о стены, иду тяжело в ванную. Тошнит, блюю, стало быть, в раковину. Голова зажата в тиски, тупая, мерная боль, пью воду из-под крана, противная, рыжая, но вода, стало быть, пью, два последних довоенных аспирина съедаю, флакон в раковину, звон стекла о фаянс, в черепе моем эхом иглы звона.

Выпил бы кофе, но нету кофе. Горячая вода? Есть. Душ-кипяток, стоя в ванне, стою под кипятком и стою, пока кожа не засветится красным, а после холодная вода, пока не заору, так холодно.

А после в неглиже, почти что неприличном, иду на кухню, а там Ига, суетится и из ничего готовит завтрак. Мармелад, жидкий чай, кусок хлеба ножом надвое делит.

— Доброе утро, Костичек, — говорит она, а я уже знаю.

— Доброе утро, Ига.

Я знаю, я помню: я звал ее вчера, я жаждал ее вчера, я вождеделел ее и продолжаю жаждать и вождеделеть дальше.

Я слишком слаб, слишком устал, чтобы превозмочь это в одиночку: ведь Геля, ведь Яцек, ведь всё, ведь наше общее, хорошее и плохое прошлое. И говорю, вот так просто:

— Люблю тебя, Ига. Желаю, жажду.

А она смотрит на меня, нимало не изумлена.

— Ты говорил вчера.

— Да.

— Я думала, это алкоголь и опиум.

— Нет.

И продолжает смотреть, нимало не изумляясь, вглядывается очень крепко, будто к стене хочет меня этим взглядом прижать, будто раздавить хочет меня этим взглядом.

— Зачем, сволочь, ты это делаешь? — спрашивает жутким голосом, а я понимаю.

Вот так просто, понимаешь, Костичек, понимаешь, что она тебя любит. Что всегда тебя любила, однако сумела вырваться из тех оков, однако да, любит.

Едим в тишине. Не много у нас еды этой.

— Пора возвращаться к Яцеку, — говорит Ига.

Киваю, да, пора вернуться к Яцеку, Яцек в тебе нуждается, Яцек нужно вытащить из той черной дыры, в которой он тонет, кто же, если не ты, Ига, может, с моей никудышной помощью?

— Так я пойду, Константин. Пора уже идти, — говорит Ига.

Я поднимаюсь, чтобы проводить ее до дверей, и, когда встаю с ней рядом, близко, она смотрит на меня, а я знаю, помню этот взгляд. Я обнимаю ее, обнимаю за талию.

— Нет, — говорит Ига. — Пожалуйста, нет.

— Ты сказала мне, что никогда ни с кем не было тебе так хорошо, как со мной, тогда, на дачах. У озера.

— Это было очень давно.

— Два месяца назад.

— Дачи были давно. А те два месяца еще давнее.

— Ты тогда соврала?

Она молчит какое-то время. Говорит в конце концов:

— Нет.

— Раньше, до этого Кобрина, были другие, кроме меня и Яцка? — пытаю, как дурак.

— Нет.

— Ты хочешь меня сейчас? — пытаю дальше, еще дурнее.

— Не хочу, — шепчет. Но не отталкивает.

Целую ее. Она не целует меня в ответ, но губ не смыкает, позволяя мне целовать ее. Должна чують мерзкую вонь переваренного алкоголя, сама им пахнет, но мне все равно.

— Не делай этого, Константин, пожалуйста, — говорит она, когда мои руки сквозь ткань платья трогают ее ягодицы и грудь.

Я беру ее на руки. Она легче Гели, у Гели тело из мрамора.

— Нет, — говорит Ига. — Нет.

Она шепчет свое “нет” как мантру, как заклинание. Я несу ее в спальню, бережно кладу на кровать и начинаю расстегивать платье.

— Нет, — просит Ига. — Пожалуйста, нет...

Целую ее. Она обнимает меня за шею, целует в ответ. Я продолжаю целовать, лицо, ухо, шея, ключицы и грудь, которую я обнажаю.

— Никогда тебе, сволочь, не прощу этого. И сам себе ты тоже этого не простишь.

Целую грудь, живот, ее руки в моих волосах. Расстегиваю брюки.

— Я ненавижу тебя, Константин, — шепчет она.

Я возвращаюсь к ее губам, но она отворачивает голову. Закрывает глаза.

— Ненавижу тебя, — плачет. И стонет, в упоении стонет. — Ненавижу тебя, подонок...

Кто-то стучит в дверь.

Что-то во мне лопается, рвется, будто кто-то стиснул мой желудок, словно рыбий пузырь, который взорвался с тихим треском, и я вскакиваю с кровати и, путаясь в брюках, подтягивая их и застегивая, бегу к дверям. Стук не молкнет, открываю на длину цепочки.

Яцек, серый, сломленный, потертый Яцек, щеки поросли многодневной щетиной, ввалились.

— Она у тебя? — спрашивает он.

— Нет, — вру я.

Как же глупо ты врешь. В конце концов, она может быть у тебя, если бы ты открыл медленно, Иге хватило бы времени привести себя в порядок. Но ты предпочел солгать.

Ради чего предпочел? Ради того маленького триумфа над Яцком, показать ему, что он не только подбирал женщин, использованных тобой, Костичек, но и обладал ими лишь условно, в той

мере, в какой ты их не хотел, это ты ему хочешь доказать, на целую череду поражений одержать хоть одну маленькую победу, неважно, что над беззащитным, самым близким тебе человеком?

Он никогда не простит тебе, Костичек. Не то, что я: я сразу тебя простила, я тебе все прощаю, потому что моя любовь к тебе, милый мой, не знает предела.

— Ига! — кричит Яцек. А потом сразу мне: — Впусти меня!

Будто знал что-то, догадывался, что здесь творится! Ибо знает, Костичек. Он знает.

— Я знаю, что она здесь! — хнычет Яцек.

Открываю. Меж пуговиц моей незастегнутой ширинки торчит подол расстегнутой рубашки. Видно, что я спешил одеться. Яцек не врывается внутрь поступью разъяренного мужа, он не бугай, который хотел бы наказать свою неверную жену и ее хахалю. Яцек, этот измятый клочок человека, входит в квартиру словно завяленный ветром лист, мягко, тихо, едва ли не шелестя.

Идет напрямиком в спальню, я за ним. Ига на постели, накрытая одеялом, даже не пыталась одеться, завуалировать всё.

— Зачем тыпустил его?

“Затем, он друг мне”. Вертится на кончике языка, но я сдерживаюсь и молчу.

— Игуся, любимая... — плачет Яцек, падает на колени в изголовье постели, рядом с головой Иги роняет в подушку свой тяжелый, усталый лоб.

Ига отворачивается от него, укутывает свою голову одеялом.

— Отстаньте от меня... — мурлычет она из-под этого одеяла.

Я увожу Яцека на кухню, он садится за стол, обессиленный.

— Ты спал с ней? — спрашивает.

— Нет, — отвечаю, довольно-таки правдиво.

— Не верю.

Я пожимаю плечами. Яцек молчит, ладони сложил на столешнице, уперся носом в эти сложенные ладони.

— Отвези ее домой, Яцек. И возьми себя в руки.

— Я тебе такого не говорил, когда ты приходил кланчить морфий.

— Ты не говорил — соглашаюсь.

— Ненавижу тебя, Костек. Хотел бы я суметь убить тебя, — говорит он, не глядя на меня, не отрывая лица от сплетенных ладоней.

— Сделаю тебе чай, — отвечаю я.

А где-то глубоко внутри тебя, Костичек, опять возникает крошечное пятно черноты, крошечная точка.

На буфете в кухне стоит лошадка Юрчика.

И вдруг этот деревянный коник переполняет меня изнутри. Коник из дерева, к тому же располагавший джигитом из дерева с мечом из дерева — дар грузинского офицера, дружного с домом моего тестя. Вернее: экс-тестя, по крайней мере в их понимании.

Последний сочельник, как раз у них, и тот офицер с фамилией, оканчивающейся на -адзе, но не помню, с чего она начиналась, чер-

ноусый и в целом похожий на Ксыка, когда бы в Ксыке был хоть намек на романтическое воображение. И восхищение Юрчика этим коником, извлеченным из цветной бумаги, и рассказы, сначала на забавном русском польском, рассказы того офицера о Грузии и ее воинских традициях, затем все перешли на немецкий, так удобнее, офицер еще до первой войны учился в Геттингене, и по-немецки пошла речь о братстве сабли и коня, и о битвах с Россией, несколько надуманных, но так красиво надуманных, красивый человек, черт с ним. Он любезничал с Гелей, я пожимал плечами на его ухаживания, тесть мой смотрел на меня со значением, к черту тестя, я даже не пробовал расшифровать эти взгляды, или, может, это напоминание мне, проше бардзо, вот такого кого-то могла бы иметь его дочь, или, скорее, предупреждение, чтобы я нахала осадил как-то, может, он хотел бы, чтобы я дрался с этим проклятым красивым грузином за его дочурку, резался саблями за доступ в ее пизду? Хрен тебе. Я все ж таки попробовал расшифровать этот взгляд, но не расшифровал.

Лошадка. Выкрашенное в зеленый цвет седельце, передние и задние ноги срослись крепкими колоннами, морда в тупой улыбке. “Ето для сынечка кавалеристы польского от кавалеристы грузинского — то джигит. С Сакартвело! И по-нашему, да здравствует, прошу вас: гау-мар-джос! До дна!”

В тени этой лошадки тонут Гиацинт, Ига и их проблемы.

Хотел бы ты знать, какова была дальнейшая судьба того печального грузина, что в придачу очень страдал из-за своеобычных эротических предпочтений, которые боялся ублажить, а страх свой старался подавлять серийным соблазнением замужних женщин, не приносящих ему ни блаженства, ни забвения, вообще ничего, кроме репутации, виватов однополчан и ряда дуэлей? Если захочешь, я расскажу тебе об этом, но что тебе, Костичек, этот грузин, что хоть и родился в Тифлисе, но воспитывался в Санкт-Петербурге, то есть полностью обрусевший. Его собственная грузинскость была для него открытием столь же изумительным, как для прусского дворянина Адальберта фон Винклера изумительное пересочинение себя в качестве Войцеха Кентшиньского.

Он тебе никто. Лицо, забавный польский, более ничего. Тогда какое мне дело до его судьбы? Ты единственный, до кого мне есть дело, Костичек. Впрочем, не до тебя одного.

Я не видел Юрчика четыре дня. Это недолго. Но вдруг его отсутствие, едва только я взглянул на этого грузинского коника, стало настолько мучительным, как если бы он был сыном, которого я не видел никогда. Как если бы я только что миновал первую станцию тягостного кругосветного путешествия и увижу его не ранее, чем через год или больше. Это тоска? Не знаю. Мне случалось тосковать о нем прежде, когда я уезжал на месяц или дольше, я скучал по этим маленьким ручкам, пухлым щечкам и светлым прядкам, одиноко скучал после обеда, когда компания расходилась по комнатам, чутка покемарить перед вечерним балом или иным развлече-

нием, и, сидя на бидермайеровской оттоманке, я скучал немного по Геле и по Юрчику и даже иногда звонил.

А теперь, теперь это не тоска. Теперь это ужас, страх за моего ребенка, за этого маленького меня, за мою кровь, что этот маленький я остался без отца.

Так же, как я остался. Хотя у меня есть отец. Я бы побоялся показать его Юрчику.

Но я должен видеть его, должен видеть его как можно скорее, сейчас, уже. Резко встаю из-за стола, Яцек вскакивает, он все еще думает, что дело в нем, что из-за него я так сорвался, но меня не волнует сейчас Яцек, не волнует рыдающая в моей супружеской постели Ига, я бросаюсь искать джигита. Ищу в гостиной, в спальне, лезу под кровать, Ига высунулась из-под одеяла и глядит на меня как на психа, ищу в шкафах, на кухне, даже в чулане, и вдруг: есть. В чулане, я заглянул за пустые ящики, и там. Долго искал.

Юрчик потерял его еще перед войной, еще до того, как меня мобилизовали, до того, как я уехал в Тереховлю, джигита не было, а было много слез, я должен был успокаивать Юрчика, показывать ему мою саблю, у папочки лучше, чем у джигита, она настоящая, вот, пожалуйста, можешь потрогать, а после протирка латуни и полированной стали, чтобы не осталось отпечатков маленьких ручек, а теперь сабля так и так гниет в мокром щебне, от дома недалеко, можно и поискать, но Бога ради, зачем мне сабля, зачем мне сабля, раз уж нет у меня Юрчика, чтобы ему эту саблю показывать.

Итак, джигит у меня. Ига и Яцек следят за мной недоумевающими взглядами, я не объясняюсь. К телефону. Звоню тестю, рассчитывая, что трубку возьмет Геля. Их телефон молчит, хотя вчера работал.

И так ладно. Одеваюсь на скорую руку, небрежно, забираю деньги, документы. Забираю джигита и лошадь.

— Я ухожу, — бросаю Иге и Яцеку, объединенным полным непониманием логики моего поведения.

Это оттого, что они всё еще силятся читать его сквозь призму самих себя, через то, спал я с Игой или нет, через мое отношение к Яцеку, словно это они были и должны быть центром моего мира! В данный момент я их искренне ненавижу, меня мутит от их вида.

— Я иду повидаться с Юрчиком, — бросаю.

— Ты... — начинает Яцек.

— Что?

— Ну, ты... С немцами?.. В самом, что ли, деле? В самом деле?

Всё в этом вопросе, всё. Он не верит в мою историйку аля Валленрод, в историйку о Витковском. И всё есть в этом вопросе, всё. Как защищал он меня от подлецов, что еще в гимназии называли меня швабом, как разом мы бились с теми, кто осмеливался отказать мне в польскости, это смолоду. Но и всё то, что позже: те зрелые уже, взрослые разговоры, его интеллигентный интерес к моим корням, он познакомился с моей матерью, мы много беседовали о моем отце и в целом о Штрахвицах, о которых я всегда говорил, как о некой чужой мне фамилии, во всех отношениях чужой, я ни разу не думал о

себе как о Штрахвице, я ношу имя матери, и оно отвечает положению вещей, я Виллеман, и зовут меня Виллеман. Не Штрахвиц. И это тоже есть в этом вопросе. Я спрашиваю себя, кто ему сказал, вероятнее всего Саломея, кто же еще, но это сейчас неважно. Нате, пожалуйста, что же, все те, с кем Яцек рассорился из-за того, что они отказывали мне в польскости, словно бы эта моя польскость была одновременно высшей честью и необходимым условием моей людскости, и вот что же, все эти наветчики и дураки будут правы? Пожалуйста, Виллеман вдруг подтверждает все те обвинения, на которые Яцек прежде крутил пальцем у виска. Но мало того: нате, Виллеман, которого Яцек Ростаньский числит в друзьях, оказывается вдруг мелким подлецом. Оппортунистом. Едва почуяв выгоду, он предает свою приемную родину, невзирая на блестящий пример многих других поляков немецкого происхождения, что ах какую храбрую, в высшей степени стойкую позицию явили с первых дней сентября. Ты же, Костичек, примкнул к гнидам...

А Яцек, разумеется, ощущает себя задетым лично. Тут не в том только дело, что я, Костек, оказался мерзавцем, дело в том, что этим я запялнал его, поскольку он предложил мне свою дружбу, и кто он теперь, друг мерзавца?

Стало быть, надо объяснить. Ведь аккурат ему могу. Надо сесть, потому как ведь я никуда не спешу, сесть и говорить ему о Валленроде, говорить, убеждать его, пока он не поверит, и заодно вовлекать в организацию, взять его за шкирку и отвести на площадь Спасителя, к Лубеньской, представить Инженеру, вовлечь в работу, он бы меня обнял, расцеловал, это бы помогло ему победить меланхолию, он, может, даже перестал бы терзаться тем, спал ли я сейчас с его Игой, Яцек ведь должен ощущать себя нужным, необходимым, и, едва он ощутит себя таким, то если и не простит, то, по крайней мере, все позабудет.

Ан нет. Не сделаю этого. Потому как он должен это знать. Если его дружба... если наша дружба была истинной, то он обязан не врать никаких сомнений, он обязан знать сразу, что я не мог бы так поступить, потому как настолько он обязан знать меня. Обязан знать, каким я умею быть подлецом, ведь я признавался ему во всех своих похождениях с курвами, а каким подлецом я бы определенно не был, какой подлости нет в моем сердце. Вернее, он обязан узнать: на кой ляд ты строишь из себя немца. Обязан мне верить, в Витковского обязан верить и в Валленрода.

А он не верит. И так, ладно.

— Убирайтесь, оба, — говорю ледяным тоном. — Чтоб вас тут не было, когда вернусь.

Выхожу, хлопаю собственной дверью, спускаюсь на Мадалиньского и дальше, на Пулавскую. Сходил бы к Ларделли на кофе, чтобы как-то вытравить остаток похмелья, но боюсь тех взглядов, так что не иду. Погода гнусная, но дождя нет. А в прошлом году в это время стояло еще бабье лето, тепло, как в июне.

На Подвале, где живет тесть, пойду пешком, успокоюсь, соберусь с мыслями. По дороге вижу на Хмельной, среди разрушенных камениц,

убого намалеванную вывеску: “столовая В пристройке”. Вхожу в ворота, есть. Здесь меня никто не знает, как пить дать. Прилавок, за прилавком грубо тесанное бабище рубит лук. В заведении пахнет похлебкой. Хлебом. Хлебать не стану.

— Кофе есть?

— Нема, — отвечает бабище.

— У меня доллары.

Оживляется.

— Ну, за дуляры найдется.

Плачу грабительскую цену и вскоре получаю кофе в жестяной кружке, от которой местами отлупилась эмаль. Кофе — оглушительно вкусный, хотя из рук бабы в напиток или, по меньшей мере, на кружку перешел еле уловимый запах лука и капусты. Сажусь за грязный столик, стул качается, столешница прилипает к рукам. Пью.

— Стажинский и тот немец при ём возглашают, чтоб на зиму убирались из Варшавы, кто на селе родных имеет или знакомых, — заводит бабище, не прерывая своей рубки.

Я пожимаю плечами, но ей достаточно.

— Сам пусть уберется, умники тот и другой. Уж вижу, как эти родные мечтают, чтоб к ним варшавские голожопцы на зимние каникулы съехались, — продолжает болтать, ни со мной, ни с собой.

Я не отвечаю.

— А уголь по десять злотых за пятьдесят кило. Кому такое вмоготу, пан?

— Немцам, — неожиданно отвечаю я, к собственному удивлению.

— То-то и есть. Но вроде должны по два сорок продавать в Ассоциации.

— Это хорошо, — соглашаюсь кротко.

— Но всего по пятьдесят кило на квартиру. Видишь, пан?

Послушно поддакиваю, допиваю кофе, встаю и выдвигаюсь к двери. Когда я уже почти вышел, бабище вдруг отрывается от лука и заводит:

— Ты, пан, на войне был?

Я пожимаю плечами.

— Давай, пан, скажи. Был пан или нет?

— Был.

— Офицер?

— Запаса.

Мгновение она молчит, поглядывая на меня, будто хочет поймать меня на какой-либо лжи.

— Господин офицер, мы эту войну зачем проиграли?

— Не знаю.

— Мой Ежик не вернулся еще. Он в уланах был.

— Какой полк? — спрашиваю, чтобы создать иллюзию участия.

Пользы.

— А я знаю, какой? Уланский. В мундирчике он недурно выглядел, как на картинке.

— Муж?

— Сыночек, единственный. Отец помер, осиротил меня, мерзавец, так пил. А парень девятнадцати лет, пригожий, сильный, прохожу ему не давали, ой-ей! Сколько он тех пань попортил уже, не считать, удалец мой. А они курвы.

Я восхищенно киваю, баба принимает мое восхищение.

— Курвы. А он еще вернется, — говорю, потому что полюбил ее удалого Ежика.

— Не вернется. Мне сон был.

Я киваю.

— До свидания.

Тетка молча возвращается к луку, я ухожу, немного пришибленный этим Ежиком.

А отчего Ежиком, о котором я знаю все, это мой конек, все знать, а не теми всеми, чью смерть ты видел, отчего не Гаврилюком, убитым в Варшаве во время штурма, с дырочкой во лбу, отчего не толстым, мордатым Бочагой, исчезнувшим при взрыве бомбы, отчего о них ты не задумывался? Их смерть ты видел, остатки Бочаги ты стер со своего французского шлема, кровавый обглодок вместе с тканью мундира и каким-то дерюжным пояском, отчего это не его смерть тебя преследует?

Или тот немец, о котором ты думаешь, что убил его, а ты не убил, значит, ты тогда вовсе не лгал Инженеру, сказав, что никого не убил на войне, ведь не ты убил — убил его рыжий Ковальчик, стреляли вы оба, ты промазал, а Ковальчику было все равно, поэтому он, хотя и знал, что это он убил, поздравил тебя, достал его пан, пан поручик! Потом ты даже осмотрел этого немца, он был старше тебя, серо-зеленая куртка, серые штаны, грудь в крови, на груди этой пробитый пулей бинокль.

А сейчас ты идешь себе по Маршалковской и мучишься Ежиком, что не приходит с войны, а матери снится, что он убит.

Так мучит меня этот Ежик, что не приходит с войны.

Изнасилованная Варшава меня уже меньше раздражает, привык. Если бы мою жену изнасиловали, если бы у нее в животе набухал не мой ребенок, тоже привык бы?

Если бы ты только мог меня слышать, я охотно ответила бы на этот вопрос, дурной Костичек. Но ты не можешь, не можешь... Пока не можешь. Не настал еще час услышать меня, любовь моя.

Итак, ты идешь дальше, по Маршалковской, идешь медленно, словно гуляя, мимо серо-зеленые мундиры гонят жидков на работу, и нет в тебе никакой особой жалости ни к гурту, ни к гуртовщикам, ведь ты и самого себя не жалел бы, гони ты сам или когда бы тебя погнало. Трясутся пейсы и бороды, черные и рыжие, впервой, должно быть, выпал им физический труд, кафтанчики. Правят рельсы, разбитые, вывороченные, воюют с ломami и кирками. Неуклюжие, неловкие, никаких мышц. Ты видишь всех этих торгашей, их тонкие ручки, привыкшие к счету дуляров и бриллиантов, процентов, долей и франкировок, вот они получают тачку и лопату и вперед, убирать

развалины, в которых ты еще недавно стрелял по немцам. Вперед, равнять колею, пусть герр Виллеман опять едет на трамвае.

Проблема избыточного представительства евреев. Это польская газета? Ну да, мы забыли, пан редактор, что интересы Польши не на первом месте у пана, пишет старый Пешковский в “Просто с мосту” в июле 1939-го, подле рекламы и сбора средств в ФНО и граммофонов, впереди Мосдорф, рядом Добрачиньский, всё храбрые, крепкие люди, и как в то же время скулит жалостно их юдофобство. Гитлеровцы лучше. Гитлеровцы не плачут, что евреи отняли у них все газеты, гитлеровцы отняли у евреев все газеты.

Но, может, ничуть не лучше, со всем своим Хорстом Весселем, вроде как жертвой, они тоже скулят, со всем этим Дольхштоссом, с Густлоффом и подобной ерундой. Великая война скулящих. О, как несправедно с нами поступают!

И мне всегда претило это кадровое юдофобство Пешковского, не в расовом, а в культурно-экономическом корыте вскормленное, если что, я бы предпочел антисемитизм крови, относящийся по крайней мере к некой метафизической реальности, а не к бойкотам еврейских лавочников. И я ведь дружил с евреями, в моей среде нельзя было не дружить с евреями, довольно было взглянуть, сколько обрезанных сидело на горке в Земянской. Смешны дела Твои, Господи, смешны.

И вот ты вдруг встал перед домом на улице Подвале, номер 21, дом чистый модерн, функционализм, но без излишеств, как у тебя Мадалиньского, и без вкуса и без изысков, эндек познанский и бережливый квартиру купил скромную, ты смотришь в их окна — и да, за тем стеклом твой Юрчик, которого ты так жаждешь обнять, поцеловать в пухлые щечки, погладить по белой головке и сказать, что папочка любит, папочку ты теперь реже будешь видеть, но презенты он принесет, он всё принесет.

Все наладится, все наладится, не тревожься ни о чем, тревожиться не стоит.

Ворота, лестница, уже. Карточка всунута в держалку на двери. Листочек кремовый. Билет общий. Заявлен “Чеслав с женой Пешковские”, как всегда. И как же метко передана невидимость твоей свекрови, женщины, которой нет, которая не столько прячется в тени мужа, сколько является его безмолвным, скромным придатком. Как зонтик или шляпа. Она весьма счастлива в своем несуществовании. Поскольку ее нет, ей нечего волноваться из-за войны, о твоём ренегатстве ей волноваться нечего, Костичек, вообще ни о чем.

Ты смотришь, как дурак, на этот билет, и даже инстинктивно касаешься кармана пиджака, а есть ли у тебя там визитница, чтобы оставить билет, если паньства не окажется дома, она есть, но кому бы ты оставил? Можно загнуть уголок в знак того, что был лично, и просунуть под дверь. И визитки есть, еще с войны там застряли, когда ты их в последний раз вытаскивал? В августе. И ведь ты не лезешь за ними, и, в принципе, ты даже уверен, мой милый, что уж не полезешь. Война отменила визитки.

Стук-стук. Еще раз стук. И отворяют тебе, тесть открывает дверь и не верит глазам своим, но увы, это не кто иной, как ты, сам мой Костичек к тебе явился, ты, недоразумение ходячее, живой мертвец, тупое, по-дурачки самодовольное людское быдло.

Ему требуется время, подыскать уместные слова.

— Наглость!.. — удается, наконец, что-то из себя выдавить.

Он хочет захлопнуть дверь у тебя перед носом, но ты суешь в щель ботинок.

— Я хочу видеть Юрчика!

— Прочь, предатель! — рычит тесть.

— Геля! — кричишь ты ему за спину. — Геля! Я только хочу увидеть Юрчика! Я отец его!

Безусловно, она слышит тебя.

— Убирайся, подлец! — рыкает познанский тесть. — У Юрчика нет отца! Был, но нету больше!

Он пробует пинать твою ногу, зажатую дверью и косяком, это бесит тебя, тебя так легко взбесить, поэтому ты налегаешь на дверь плечом, цепочка лопается, и хоп, открыто.

— Юрек! — кричу я. — Юрчик!

— Папочка! — отвечает он из глубины квартиры. — Папочка! Я здесь!

Голос Юрчика взрывается у меня в животе, в груди, как граната.

Тесть стоит в коридоре. Будь у него пистолет, он давно бы меня застрелил, читаю это в его глазах.

Не застрелил бы, но я понимаю, что читаешь. Ты в конечном счете не очень умен.

— Ни шагу, — шипит тесть. — Убью!

— Я хочу видеть своего сына, — как дурной повторяю.

— Мама не пускает меня к тебе, папуля! — кричит из-за дверей Юрчик.

— Геля! — кричу я.

А тесть встал передо мной, весь ощетинившись, что твой бешеный пес, эндецко-познанскую морду морщит омерзительная гримаса.

Ебись ты конем, старик, я иду! Пытаюсь его обойти, а он неожиданно бьет меня в голову левым хуком и бац прямо в челюсть.

К тому же бац так точно, что моментально оглушает тебя, Костичек, и ты падаешь без чувств. Короче говоря — профессиональный нокаут.

Геля выбежала из комнаты и кричит на своего отца, она кричит, чтобы спасти тебя, кричит как дурная, а старый Пешковский внезапно вскипает физически, вскипает как мужчина, хоть и разменял седьмой десяток, внезапно закипает в нем сила, как долго уже не кипела и никогда более не закипит (о чем он еще не знает, но я знаю), и лапает тебя бесчувственного за воротник, на твоей, Костичек, челюсти любимой разгорается огромный кровоподтек, затмевая серо-желтый след восьмидневной давности.

А старый Пешковский волочит тебя, и от этого волочения ты приходишь в чувство, все еще оглушенный, ты приходишь в него

настолько, чтобы не разбиться окончательно, когда старый Пешковский совершенно буднично спустит тебя с лестницы.

Ты с треском катишься вниз, Костичек, бедолага, и слышишь плач Юрчика и крики Гели, Геля бежит за тобой, плачет.

— Костек, Костичек... ты в порядке?

— Прочь! — рычу я, отхаркиваясь кровью. — Убью его!

— Ты должен понять, любимый, — шепчет она сквозь слезы. — Пойми, я не могу сказать ему правду, папа не умеет хранить секреты, пойми...

Отталкиваю ее. Челюсть пульсирует рваной болью, адреналин пульсирует по всему телу, всего меня лихорадя.

Это не адреналин, не один адреналин. Это я тебя встряхиваю, чтобы стал тем собой, которого я люблю, чтобы стал опять крепким, сильным мужчиной, таким, каким он быть обязан. Таким, каким ты не являешься.

Оттого пылаю яростью, ярость пульсирует во мне, но не пойду же я бить старого Пешковского, равно не пойду извиниться перед ним и объяснить, кто я на самом деле.

И вдруг нечто повергает меня в ужас, так как знаю, что именно это я сделаю, что к этому влечет меня та моя ярость, влечет и завлечет.

Итак, отталкиваю Гелю, слетаю по ступеням, кровь с носа стирая платком, выбегаю на улицу и несусь дальше, являя собой то еще, видимо, зрелище, потому как платок у носа кровав, а я мчусь как на крыльях, Медовая и ее трепетные руины, дворец епископа, палац Теппера, разбитые, сожженные доходные дома на Сенаторской, Театральная площадь, Богуславский на постаменте в дурацком фраке, грустный и несчастный, Оазис закрыт, ни тебе стейков в гриль-руме, бегу нон-стоп, люди глядят на меня как на безумца, какой-то полицейский в синей форме свистит, но я не слушаю, бегу далее, а ему не хочется бежать за мной, и вот уже, вот, Фредро, каменица Вавельберга и Немецкий Клуб.

Отлично, Костичек, отлично, ты дракон. Ты тигр. Живи как дракон. Живи как тигр. Отлично.

Коридор пустовал, никто не просился в немцы. Может, я пришел в нерабочее время. В кресле, похрапывая, дремал некий тощий человек в поношенном костюме, повязка на руке новехонькая, огненно-красная и с языческой свастикой в белом круге.

— Entschuldigung... — толкаю его в плечо.

— Конечно, пан профессор, конечно, — заговорил он по-польски во сне, мгновение спустя проснулся, смущенный, потирая глаза в оправе из морщинок, пока не заметил меня.

— Где мне найти пани Виллеман? — спросил я по-польски.

— Пан пройдет по лестнице на второй этаж, там кабинеты.

Я прошел. Ты прошел, полагая даже, что, может, от этого прохода по лестнице, от приближения к матери пройдет твоя ярость, но она не прошла. Надеялся, что отступишь, но не отступил. Ты вошел без стука. Бедолага.

Мать за конторкой. В левой руке сигарета, в правой ручка, что-то вписывает на листах тетради, расчерченных таблицами. У окна, спиной к тебе, стоит высокий, мощный мужчина в черном штреманне.

— Мама, мне нужно... они... — зачастил ты с порога. Она оторвалась от записей.

— Константин. Выйди, закрой за собой дверь и войди как полагается.

Орлица зашипела по-змеиному, твердый пестик языка меж режущих кромок клюва. Орлица бьет крыльями, жуткие когти рвут сукно, которым затянут стол. Тигр прижимает уши и медленно отступает, бия хвостом об пол и дверные косяки.

Дракон ползком меж тигриных лап, трется о рыжую шерсть чешуя, ты выходишь. Закрываешь за собой дверь, как отличник, стираешь с лица кровь, приводишь в порядок одежду, затем стучишь.

— Herein¹, — слышишь голос матери.

Тыходишь, ведомый этим ее голосом, как будто ярмом. Тигр и дракон остаются снаружи. Кланяешься как полагается.

— Erlauben Sie, dass ich vorstelle: mein Sohn Konstantin², — мать доводит положенное представление до конца.

Человека у окна ты уже где-то видел. Разумеется, мать не представит его тебе, об этом и речи нет, ибо это некая значимая особа.

Твой поклон довольно глубок. Крупный, хмурый мужчина подходит к тебе и подает ладонь для рукопожатия.

— Ich habe viel von Ihnen gehört³.

Поскольку из ситуации следует, что ты должен был слышать о своем собеседнике, ты молчишь в ответ... И вдруг ты видишь, как глубоко он озадачен неприятной выходкой твоей матери, этой показательной поркой взрослого мужчины при посторонних. Ты также озадачен. Тебе хотелось бы найти общий язык с этим рослым мужчиной, хотя бы оттого, что и его, и тебя озадачило поведение твоей матери. Но ты не найдешь.

И лишь на почве его озадаченности поведением моей матери, на почве его взгляда, полного жалости и презрения, лишь на этой почве в тебе воскресает протест, Костичек.

— Zu unseren Angelegenheiten kommen wir später zurück, фрау Виллеман. Auf Wiedersehen⁴, — говорит он, кланяясь моей матери.

— Auf Wiedersehen, Herr von Moltke.

И — вдруг понял. Ты уже понял. Лицо знакомо по фото, из газет, граф Ганс-Адольф фон Мольтке. Немецкий посол в Варшаве, его отзвыв десятого августа возвестил войну.

Твоя мать в немецком мундире смотрит на тебя холодно, рот сжат в тонкую белую линию. Но в душе могла бы выплясывать польку от

1. Войдите! (Нем.)

2. Позвольте вам представить: мой сын Константин (нем.).

3. Я много о вас слышал (нем.).

4. К нашим делам мы вернемся позже... До свидания (нем.).

радости. Да, в который раз ей удалось предъявить свои связи и власть тебе, являющемуся ее интересом единственным, амбицией единственной, единственной целью ее жизни. Да, она унизила тебя, ты же воспринял это унижение покорно, а это значит, что трензель надежен за твоими зубами.

Итак, теперь, раз уж она держит тебя в узде, теперь тебе положена ласка.

— Знаешь, кто это был? — спрашивает она на всякий случай. Хотя сама упомянула имя. Словно бы держала тебя за идиота, Костичек. В какой-то мере держит тебя за идиота, потому прочит тебе головокружительную карьеру, ее то бишь карьеру, великие почести.

— Знаю, — отвечаешь.

— Чего ты хотел?..

Чего ты хотел? Хотел полицейских в серых куртках, с винтовками, хотел взять их с собой на улицу Подвале, войти с треском в квартиру старого Пешковского и с криками Hände hoch! забрать своего сына. И увидеть поражение евгеника-гигиениста. Слабейший вид человечества проигрывает сильнейшему. Все отлично евгенично гигиенично. Хрясть Пешковскому прикладом в эндецкий лоб: лебенсраум, коррекция недоразбитости, дранг нах остен.

Этого ты хотел. Этого хотела твоя ярость. Ну или хотя бы пистолет, чтобы войти туда, выломать дверь, наставить оружие и забрать Юрчика.

Но тигр ушел и дракон ушел.

Ты один пред лицом своей матери, нет больше ни с тобой, ни в тебе и малой толики дракона или тигра, ты один. Орлица прогнала дракона и тигра.

— Говори, Костек, говори, в чем дело, — шипит тебе жесткий, узкий язык, зажатый острыми кромками желтого клюва.

— Он вышвырнул меня... швырнул с лестницы.

— Это видно. Кто?

— Пешковский. Старый Пешковский. Я хотел повидать Юрчика.

Она глядит на тебя с презрением. Она глядит на меня с любовью. Она глядит на тебя с любовью. Она глядит на меня с презрением. Любит тебя, ибо презирает. Презирает, ибо любит. Я ее сын. Ты ее суть. Я ее суть. Ты ее сын. Кто ты?

Ты лоскут на ветру. Бигос из цитоплазмы. Ты перемолот ее зрачками, наполовину человек, а наполовину пустота, и, когда она глядит на тебя, ты более отсутствуешь, нежели присутствуешь. Ты шмат мяса, раскрошенный ее чеками, ее деньгами, ты ржавый остов, подтачиваемый ее взглядом, ты не столько есть, сколько тебя нет.

Круги на воде.

За что она тебя любит? Она меня любит? Что это значит, когда она любит? Как она любит? Когда любит, то владеет, и тобой владеет, Костичек, владеет, как владела всеми этими мужчинами, юным психиатром и твоим отцом, а твоего отца она бросила, поскольку уже не нуждалась в нем, и тебя тоже она бросит, когда решит, что нуждается в эрзаце, а уж эрзац-то она отыщет.

Чего ты не видел, когда твой отец вернулся с войны, чего не понял и не понимаешь, но скоро поймешь, так это тех причин, по которым он был изгнан. Был изгнан оттого, что не одно лицо твоего отца понесло ущерб.

Он не сказал ей, она нашла сама. Невзирая на его слабый протест, столь же слабый, сколь весь он всегда был слабым, она ждала от него удовлетворения. А слаб он был так же, как слабыми изнутри, при всей их внешней силе, были все ее мужчины, и как ты слаб.

А ты не обладаешь даже внешней силой, ты слаб внутренне и внешне, поскольку ты ее сын, а не ее любовник.

А от твоего отца, Бальдура, она ждала удовлетворения. Ей не мерзило его ущербное лицо, не мерзили слезы, бинты, дрожащие руки, ночной скулеж и рыдания. Ей мерзило бы, вернись он разбитым войной, но она знала: Бальдур плакал не от страха, не от скорби по утраченной юности, не от ненависти к этой жуткой войне, Бальдур плакал от ненависти к поражению, своему, Германии и императора. Кайзер был ближе и дороже Бальдуру, чем его собственное тело и собственный страх, Германия была частью Бальдура, как плечо или селезенка, только много важнее. Бальдур был волной, расходящейся в эфире Германии, так он видел себя. Германия позорно сдалась, Бальдур не многое знал о ситуации, того же, что знал, не понимал, отец твой, Бальдур, был лишь дурным офицером кавалерии, Костичек, и всё. Оттого плакал. Не в скорби: в ненависти. Он хотел бороться, хотел убивать, а не мог.

Орлица это знала, и крик этот заражал ее, плач этот окрылял ее, и она хотела, чтобы ею овладел этот ущербный, но непобежденный человек, хотела, чтобы овладел ею, чтобы тайной энергией ее тела исцелился и снова встал на борьбу.

А он тогда на миг подумал, что Катарина Виллеман любит его поистине, что любит искренне и именно его, и целый миг он думал, что для ее любви ничто не может стать и не станет преградой, и помог ей расстегнуть пуговицы высокого викторианского платья.

А потом она залезла к нему в пижаму и нашла пейзаж после страшной битвы. После странной битвы.

Rittmeister Штрахвиц не знал, кто его одолел. Долгое время не подозревал даже, что его одолели. Спешенный, он нес пехотную службу инфантериста, окопника. Никаких атак, намечаемых палашом. Бинобль, злые взгляды солдат, сырость. Треп о пиздах, задницах и сиськах. Шнапс. Чтение стихов, Рильке, Верлен по-французски, Уильям Блейк, которого он едва или вовсе не понимал. Чтение писем из дома, которые он едва или вовсе не понимал. Чтение ежедневных приказов, которые он натурально не понимал вовсе. И вот однажды он надел шлем и вышел из укрытия, чтобы длинной, зигзагообразной траншеей пройти к выдвинутому в поле разъезду.

Тот, кто одолел Штрахвица, пушкарь Спивет, мужавший в роко-чущих музыкой пьяных драк лондонских трущобах, равно не ведал, что он кого-то одолел, подорвав заряд в каморе восьмидюймовой гаубицы для первого залпа артподготовки, не ведал этого и передовой

наблюдатель, вносивший поправки по полемому телефону, не ведал командир батареи, не ведал водитель гусеничного трактора марки “Холт”, отбуксировавший гаубицу на боевую позицию, никто вообще о том поражении и одолении не ведал, снаряд калибра 203 мм вырвался из ствола, некогда плававшего на крейсере, пролетел свои пять миль, ибо столько было ему отмерено, ударил о землю, ибо такова была его судьба, и взорвался, ибо таково было его предназначение, а взрывная волна выдернула щуплого уланского офицера из обшитой досками траншеи и подбросила в воздух, осколок этого снаряда сбил с него стальной шлем, лишив чувств и лица. Гравитация грубо вжала мальчишеское тело в сером мундире в проволочную сеть, где оно застыло в позе избыточно драматичной. Будь рядом фотограф, готовый запечатлеть тело Бальдура на пленке, фотограф, наделенный даром Эндре Фридмана, известного как Роберт Капа, только постарше, то и годы спустя такой снимок мог бы иллюстрировать кошмар войны: щуплый серый улан, распятый на колючей проволоке, словно забытая марионетка, светлые волосы вперемешку с кровью, руки врозь, кобура с пистолетом болтается метафорой *Qui gladio ferit...* Но фотографа не было. Так Бальдур потерял лицо и не снискал славы.

И этим поражение не обошлось, в скором времени на бесчувственное тело Бальдура свалился кусок белого фосфора. В том районе падало много фосфора. Он упал и прилип к животу и паху, пылая, но не будя Бальдура, и эта ничья победа над не осознающим своего поражения стала бы полной, не подоспей к Штрахвицу *Sanitätssoldat* из Познани, который без надобности спас его жизнь, за что Бальдур ни разу не был ему признателен: ни тем разом, ибо был без чувств и не мог ощущать признательность, ни позже, когда чувства вернулись, и ему тем более было не до признательности, потому как он был способен лишь кричать, ни еще позже, когда он уже не кричал, а способен был уже только ненавидеть.

Санитар разбирался в белом фосфоре: он соскоблил его с Бальдура, содрал острием длинного штыка. Он снял тощего ротмистра с проводов и отнес в тыл, а дорога туда была длинной. В госпитале жизнь Бальдура спас штабс-врач по фамилии Цвейг. Сначала — как умел — занялся лицом. Если бы им занимался эксперт по хирургии, которая в то время еще не звалась пластической, голова Штрахвица не была бы деформирована столь чудовищно; однако в то время подобных специалистов в целом Рейхе было мало, и ни один из них не пребывал в полевом госпитале на западном фронте, ибо они имели занятия получше, чем пребывание в полевых госпиталях западного фронта. Не говоря уже о восточном.

Когда Цвейг счел голову готовой, то посвятил длительное время прочим раненым, затем вернулся к Бальдуру и занялся ожогами третьей степени на животе и в паху, что шло вразрез с искусством, ведь лицо заживает на ура, а паховая область заживает очень плохо, так что ее надо было обработать в первую очередь. Однако Цвейг не был хорошим врачом. Он был плохим врачом. Он точно уда-

лял обугленные ткани и с помощью пасмурного санитаря обрабатывал и зачищал остальные ожоги. Он не задумывался над тем, сколь трагична будет для Штрахвица утрата пениса, ведь если бы он задумывался о чем-либо подобном, то и водка не спасала бы его от безумия. В течение трех секунд он размышлял, нельзя ли спасти пенис, как размышлял бы о любой полезной части тела — и ровно за три секунды решил, что нельзя, поэтому ампутировал его у самого основания, ловко выделив уретру, вследствие чего в течение двух секунд даже ощущал великую гордость за ловкость и прецизионность, с которой он выполнил эту непростую, в общем, операцию.

— Хуя, конечно, жаль, но калека с такой рожей, ему даже жидовская курва за деньги не даст, — пошутил Sanitätssoldat. Будучи из Познани, он ненавидел немцев и радовался, когда им чинилось зло, ибо сам вытерпел от немцев немало унижений. Однако Stabsarzt не знал польского, и санитару пришлось одному радоваться своей шутке, причем радоваться недолго, ибо через два часа англичане застрелили его из каэма, но он, по крайней мере, умер в настроении. Цвейг порадовался бы шутке занитетсольдата, ибо, будучи евреем, курв еврейских не уважал, они часто бывали чересчур языкатыми, ему более всего личили покорные славянки. В тридцатые годы он уехал в Нью-Йорк и там разбогател, запил и женился на серой украинке, произвел на свет малого серого жидо-украинчика, после чего умер, отравленный мышьяком, ибо жена не могла долее выносить побои. Но чем эта история касается тебя, Костичек, кроме члена, каким ты был зачат девятью годами ранее, и какого, уже обугленного, лишился твой отец?

Ничем. Ни разу впоследствии судьба твоя не пересеклась с кем-либо из имевших отношение к штабс-врачу Цвейгу, или его украинской жене, или их еврейско-украинскому сыну, или к санитару из Познани, чью фамилию у меня нет охоты называть. И так, ничем, кроме ампутации уда ротмистра Бальдура Штрахвица. И всё: ибо все они и ты сам и твой отец и все люди и все ваши жизни и жизни ваших предков и обезьянолюдей и потомков ваших, все вы уложены в мозаику из крошечных разноцветных камешков, и никому, даже мне, не отойти на достаточное расстояние от этой мозаики, дабы взглядом объять ее всю, дабы понять ее ритм, порядок и красоту, из них вытекающую. Никто или почти никто.

Ибо некий порядок, ритм и вытекающая из них красота несомненно присутствуют в этом последнем, великом произведении искусства.

Обугленный пенис, что единит тебя, камешек мой, с теми камешками, обрел покой в чане с разными частями разных людей, живых и мертвых: там были две руки сержантов, те так и так умерли под ножом, зато, по меньшей мере, безрукими, была нога пехотного капитана, нижняя челюсть окопника Мазура, пальцы дурного ганноверца, который играл с гранатой, и надо было отсечь ему эти пальцы, было несколько ступней, две из них обутые, а сверху лежал запеченный член Бальдура фон Штрахвица, кроме твоей матери не знавшего ни одной женщины. На протяжении всей войны он ни

разу не сходил в бордель, ни разу не завел себе любовницу, самолично усыпляя в туалете свое либидо, храня, как ему казалось, чистоту для Катарины, его Катарины, для женщины, в которую он канул, в которой он растворился, в которой он жил, для женщины, вне которой он не существовал.

Бальдур ничего не чувствовал еще несколько дней, прошедших до момента его возвращения к сознанию. Затем в течение двух недель он выл от боли, если только не был одурен морфием, и не отдавал отчета в том, что уже не имеет пениса.

Затем отдал отчет и долго не знал, что об этом думать, лежал в госпитале и думал о самоубийстве, а Германия проигрывала войну и проиграла и кайзер отрекался от престола, что взволновало Бальдура сильнее, нежели потеря члена, но в своем письме домой он не осмелился об этом писать, а затем он вернулся, в надежде, что ответ даст его Катарина.

Так что, едва она присела к его кровати, он помог ей расстегнуть пуговицы на ее викторианском платье, а она залезла к нему в промежность и обнаружила поле боя.

Едва она поняла, что он больше не будет обладать ею, он перестал быть для нее мужчиной. А едва он перестал быть для нее мужчиной, поняла, что Германия проиграла войну, что Бальдур проиграл войну и проиграл жизнь, евнух-калека, так она о нем думала, хотя аккуратно мошонка с яичками избежала судьбы пениса и не попала в глубокую яму с известью и обрезками других солдат, и уже затевали просачиваться в ослабленный кровоток Бальдура жуткие зелья, напоминая ему, болезненно напоминая, что некогда он был мужчиной. У него были фантомные эрекции.

Но убедить ее им было не под силу: раз он не мог взять ее, раз он не мог войти в нее и повелевать ею, он уже не был мужчиной. Он не имел для нее смысла; был более чем мертв, ибо память мертвого можно чтить, а он был одолен и омерзителен. Итак, она просто встала с постели своего бывшего мужа, застегнула платье, весьма аккуратно, и беззлобно сказала, что он может оставаться здесь еще немного, но как только оправится, то должен убраться, и с тех пор не обращала к нему ни взгляда, ни звука, кроме хамских прощальных слов две недели спустя, когда он прощался с Костеком. Да и зачем общаться с трупом? Пока Бальдур не выздоровел, его опекала горничная, Костеку же хода в спальню не было.

А сейчас ты стоишь перед ней, Костичек, а она бьет крыльями. Узкий твердый язык меж острых раковин клюва.

— Дам тебе жандармов, — шипит она.

Золотые когти обхватили черный бакелит, она скрежещет в трубку. И что вышипеть имела, то вышипела, мать моя, мое проклятие, мое рождение в ней и в ней моя смерть.

— Теперь уходи, — говорит она. — Подожди снаружи, пока придут.

Ухожу, ухожу, Боже милостивый, черные боги смеются надо мной, когда я встаю перед новым, модернистским фасадом Брюльского дворца. На дворе дворца я видел после капитуляции стада́

поверженных цекаэмов, все их жирные тушки циклопными глазами смотрели в одном направлении. И броневики стояли, и груды наших маузеров, и седла, много седел, нашего полка седла.

А теперь, что теперь, дальше что?

Ты хотел бы упасть на колени на тротуаре, упасть на колени на камнях улицы Фредро и плакать, Костичек, над собой, над своей физиономией разбитой и ребрами в синяках, над своей жизнью, над сентябрьским поражением, над конем, которого немцы отняли, а ты его полюбил за тот месяц, что он носил тебя, а теперь носит какого-то немца. И над телом и духом, что отняли немцы, хотел бы поплакать, однако не плачешь, где-то там, в каком-то из окон распростерла крыла твоя мать и глядит на тебя орлиным взором, наблюдает тебя, изучает тебя, видит тебя.

Стою, значит, сунув руки в карманы, стой, а закурю-ка я, портсигар, значит, спичка, значит, в дрожащих руках, курю, значит, зачем курю, не знаю.

Что я намерен сделать?

А они идут, утомленные службой, идут, затягивая ремни на просторных шинелях, на плечах винтовки, идут, а о чем они думают, Костичек, какая разница? Не все ли равно, думают ли они о своих женах и детях дома, где бы тот дом ни был, в Гессене, в Баварии или в Гамбурге, думают ли о сегодняшней пище, думают ли плохо о своем начальстве или, скорее, хорошо, думают ли о невзгодах службы или о том, что левый сапог жмет в голени. Я все это знаю, ворошу тысячами своих пальцев, лаской невидимой, неуловимой, и всё их нутро передо мной как на ладони, но есть ли разница, о чем думают эти два жандарма в просторных серых шинелях?

Конечно, есть, в хаосе жизни у всего есть значение, все учитывается, каждое лыко в строку космоса этого хаоса, все важно, полет воробья и полет бомбы, смерть блохи и твоя смерть, Костичек, что тоже видна мне как ладони и твой страх и страх коня и усталость и тоска тех, что, призванные клекотом Орлицы, как раз подходят к тебе, вступая в твое распоряжение ненадолго, так им было приказано, и все это является узором большого ковра, в который вплетены ты и в который равно вплетена я, Костичек.

— Also was tun wir?¹ — спрашивает жандарм постарше, повыше чином.

Они стоят, винтовки на плечах, подсумки на ремнях, всё в твоих руках, черные маузеры и золотые патроны в твоих и в их руках, исполненные жалости взгляды, твой и их, неприязнь к тебе твоя. Твоя побитая физия в их взглядах тоже твоя, и сами те взгляды, цвет их и градус суть твои, презрение в них твое, презрение, какое испытывает человек с ружьем к тому, кто нуждается в его ружье, дабы утрясти, уладить свои заботы, отомстить за битую физию. Твори, что хочешь, Костичек, все твое, все дала тебе мать твоя, Орлица.

1. И так — наши действия? (Нем.)

— Folgt mir¹, — говоришь ты. Сказал.

Ты разворачиваешься и пошел, пошли! Ты, стало быть, первым, через Театральную площадь, усердно разбомбленную, по Сенаторской, шагаешь с челюстью, бьющей током, и в измаранной одежде, а за тобой шагают два жандарма с винтовками на плечах, эх, видел бы тебя сейчас кто-нибудь, Костичек!

Но никто тебя не увидит, все, чей взгляд имеет вес, засели в октябрьских квартирах, сгрудились у наспех спроворенных печурок, греют побежденные руки и мало-помалу забывают о войне, забывают о немцах, думают о жизни: о еде и о том, как ее достать, о деньгах и о том, где их взять, или — некоторые — как их потратить с умом, о делах, как их вести, с поляками, с немцами и с евреями, и о евреях думают, им наверняка придется сейчас туго, и евреи тоже думают о том, как туго им придется, но и о женщинах думают, о бедрах и о грудях, и о том, что лучше всего спрятаться под периной от холодной квартиры и злобного мира, а женщины думают о мужских руках, которые сейчас лелеют теплоту, излучаемую раскаленным железом буржук, а могли бы лелеять их тела, твердые руки, крепкие руки, а улицы пусты, и так вы идете, Костичек, ты, в грязи, побоях и в ярости, и жандармы, в усталости, они отнюдь не жандармы, но как тебе их назвать, у них армейские мундиры и каски, не как у полиции вашей, и винтовки есть у них, идут за тобой патрулем вдоль Министерства сельского хозяйства, сожженного и разрушенного, вдоль сгоревшего дворца Малаховских, а сапоги у них подкованные, и вы сворачиваете налево, на Подвале, вот он, твой парад, Костичек, вот и Подвале, 21, и скромный модернизм глядит на твоих жандармов-нежандармов квадратными окнами без фризов и карнизов.

— Und was nun?² — спрашивает старший.

А ты не знаешь вовсе, was nun. Ты устал от ходьбы, охота мстить улетучилась. Но как отступишь теперь? Дело идет само по себе, как и всё у тебя в жизни, движимо не твоей волей, но внутренним тяготением каждой социальной ситуации, в которой ты пребываешь, не умея дать ей отпор, для этого нужно быть мужчиной, а ты кто, отброс человечества?

А сейчас социальная гравитация тянет тебя вниз собственной, внутренней логикой истока и течения: раз уж вы пришли сюда, раз уж Орлица дала тебе двух жандармов, раз у них на плечах винтовки, то надо подняться по лестнице, надо войти в квартиру старого Пешковского, а что потом? Что потом?

Потом станет то, к чему будет тяготеть ситуация, ведь слово не за тобой, Костичек, но за ситуационным тяготением.

Итак, вверх по лестнице. Ты первым, они вторым и третьим, номера важны. Итак, вы встаете перед дверью, за которую ты был так позорно выставлен. Ты не хочешь этого делать, не хочешь этого де-

1. Следуйте за мной (нем.).

2. И что теперь? (Нем.)

лать, но, чтобы не делать, тебе сейчас пришлось бы сказать этим жандармам, что они шли сюда напрасно, что напрасно трудились, на что, конечно, у тебя есть право, но нет силы вынести их взгляды, имеющие стать тяжелыми, тебе понадобилась бы крепость, чтобы выдержать эти взглядам, обладал ли ты когда-либо такой крепостью?

На войне ты обладал. С пистолетом в руке ты крикнул: “Старший улан Бочага, на позицию!” — пулеметчик Хайке был уже мертв, и наводчик, старший улан Бочага, хотя и прижатый прямым огнем, затеял сползать по осыпи в жизнь, в безопасность, а ты взревел: “На позицию!” — и он полез обратно, в смерть, к эркаэму “Браунинг” wz. 28, а ты снова взревел: “Короткими очередями огонь!” — целый взвод смотрел на тебя с ненавистью, ты отправлял человека на верную смерть, а он начал стрелять, очевидно, вслепую, но стрелял, опустив голову во французском шлеме, а затем поймал в лоб, и всё, мозг брызнул ему на плечи, и он даже не сменил позы, просто застыл, продырявленная башка на локте, финита старший улан Бочага, наводчик отделения ручных пулеметов.

Тогда тебя на это хватило. Пожертвовать жизнь старшего улана Бочаги. Кому же та жертва, Польше? Польше ничего не перепало с того, что старший улан Бочага послал еще дюжину пуль в сторону немецких позиций. Это была жертва войне, ее сути, принесенная тобой за счет старшего улана Бочаги.

Тогда меня на это хватило. Орлица была далеко, у меня были мундир и чин.

Сегодня я никто, в измаранной, рваной одежде и с битой физицей. Они же приданы мне условно, на краткий миг. Потому я стучу и молюсь тому, кто вне пределов этого мира: лишь бы не открывали. Пусть молчат. Оба ушли, пусть квартира окажется пустой, пусть меня пощадят. Оттого я стучу тихо, по-дурацки тихо, но тихо.

И в тишине считаю секунды, лишь бы дожидаться момента, когда я бы смог сказать по-немецки: “Их нету, уходим”.

Но это не может удалиться, это не удастся.

Дверь с треском отворяется на длину цепочки. Пешковский сперва замечает меня, и ярость щерит ему рот и вытаращивает глаза, как бешеному псу, а после он замечает серые шинели моих жандармов, и ярость сменяется ужасом и беспомощностью.

— Ты, ты... — шипит он, заикаясь. — Ты, гнида...

— Ruhe! — лениво ворчит жандарм и огибает меня в танцевальном ритме, в каком физический исполнитель воли огибает того, чью именно волю он реализует, с кого готов он снять неприятную нагрузку. Огибая, он дергает ремень висящей на плече винтовки, и винтовка спрыгивает с плеча, как если бы не ловкость жандарма руководила ею, но само оружие было живым, тренированным и послушным.

Пешковский отступает перед серой вооруженной фигурой, отступает в ужасе, а я в ужасе еще большем, и что же я должен сотворить, жандарм ведь только что проложил мне дорогу, и что-то я

должен вытворить, войти, выйти, хлестнуть, мстя, Пешковского по лицу или убить его, мстя еще страшнее, не знаю, дали бы мне его убить, но попробовать я мог бы, а существует ли тут какой-либо способ добиться чьего-либо уважения, пускай не все уважают меня, пускай зауважает меня жандарм или Пешковский, пускай кто-нибудь меня зауважает, разве не надлежало бы мне уважение? Или уважения достоин всякий, только не я, Константин Виллеман, отчего не я, отчего, что же я такого натворил, кого предал так страшно, что лишился шанса на уважение со стороны ближних, отчего?

Жандарм пробил мне дорогу сквозь баррикаду Пешковского и обращает ко мне лик свой, осененный каской, *bitte sehr, ich habe hier meine Pflichten erfüllt*¹, отныне ты, Костичек, твори свое, твори низкое, гнусное, недостойное, не достойное человека, мужчины, поляка, немца, не достойное никого, кроме тебя, Костичек.

А Орлица кружит надо мной, ожидаючи, кого бы сожрать.

Вхожу. Чистая абъекция и чистая ненависть этот Пешковский, как аверс и реверс одной монеты, оба лика выставлены мне напоказ, вражда и злоба.

И радость, верная радость, наверняка радость, потому как видит ведь следы своих кулаков на моем лице; нет, на моей роже видит. А на нем рубаха без воротничка, но чиста и застегнута под шею, лицо брито, помочи защелкнуты, брюки из доброй чесаной шерсти выютужены, война не война, а я измаран, рван, бит и убог, гнусный, недостойный человек.

Стоим в прихожей: он, я, старший жандарм, младший жандарм, и все между небом и землей, ибо что делать, что делать, один я могу знать, а я хотел бы удрать отсюда, выбежать на улицу Подвале и бежать к ближайшему следу взрыва, к прогрызенной бомбой дыре в мостовой, спрыгнуть в нее и, пока земля еще не смерзлась, врыться, вгрызться в землю аки червь, землей засыпаться аки червь, аки крот, аки червь врыться глубоко в археологические пласты, подрывться под Польшу, под славян, под готов, под кельтов, под азиатские племена, которые были здесь до нас и высекали огонь из камня.

Ты хотел бы спрятаться там, куда не доходит даже память о людях, хотел бы стать дочеловеком, нечеловеком и бесчеловеком, Костичек, однако стоишь в прихожей жилища на Подвале, стоят жандармы и стоит Пешковский, полный ненависти и абъекции, а дверь в кухню отворяется, и в ней встает Геля.

Геля.

Гелена Виллеман, в девичестве Пешковская, твоя жена. Дочь старого Пешковского, ненавидевшего тебя изначально, Костичек, а теперь ты наконец ненависть его обосновал и оправдал.

Геля. Мать твоего сына.

Она стоит в дверях, держа на руках твое дитя, а ты стоишь в прихожей, вооружен двумя жандармами, их винтовками, касками,

1. Извольте, свой долг я здесь исполнил (нем.).

португелями и подсумками. Португели через плечо. Штыки спят в ножнах. Я мог бы их разбудить.

Юрчик у нее на руках. Ясные кудри. И мордашка, которая медленно сморщивается в огромную рану плача, рану в твоем животе и в твоей голове.

— Костек?.. — Геля не верит в жандармов, не верит, что ты явился в квартиру ее отца с двумя немцами в мундирах.

А ты хотел бы, чтобы она знала, чтобы понимала, что ты не настоящему с ними, ты с ними только как бы, ты не немец, ты агент организации, ты боевик, ты польский солдат, затаившийся в засаде.

Но знает ли она? Она-то знает. Знает. Ты сказал ей, а она была готова принести эту жертву. Согласна стать женой ренегата. Юрчик растет без отца. Нет у меня больше мужа, говорит всем Геля, мой муж умер, останусь вдовой навечно, говорит она, но она-то знает, что после победы все выяснится, все будет сказано, правда станет явной и будет известно: герой, не ренегат. Герой, который готов был принести в жертву нечто большее, нежели жизнь, герой, который готов был принести в жертву свое доброе имя. На специальных лекциях будет он, Константин Виллеман, подпоручик Константин Виллеман, капитан, полковник Константин Виллеман, рассказывать, как в течение этого года или двух шел он на то, чтобы считаться предателем и ренегатом, на службе у польской Победы, а она будет сидеть в первом ряду и хлопать bravo, а на других стульях рассядутся другие женщины с глазами на мокром месте, интригуя, как бы отнять такого великолепного героя у этой статуарной Гели. Будут слать ему записки, а он, герой, не станет даже читать их и укатит с Гелей на сияющем быюике, на банкет в Адрии, к примеру на банкет в его честь, и будут там, к примеру, пан президент и первая леди. И его, к примеру, сделают министром. Министр Константин Виллеман, в знак признания воинских заслуг, исключительной храбрости и отваги, первый из сынов родины. Первый?

Значит, она знает, должна знать. И она поймет, она должна понять, что я заявился сюда с немцами, поскольку не мог иначе, ради правдоподобия, и да, уважаемые дамы и господа, я помню тот ужасный миг, когда он явился в нашу квартиру с двумя немецкими солдатами, мой отец, который ничего не знал, я так боялась, что у него может случиться нервный приступ, но я-то не могла сказать даже отцу, и это было, дамы и господа, столь ужасно, когда он явился с немецкими солдатами в нашу квартиру на Подвале, но я знала, я-то знала, все время, и я замяла дело. Знала.

— Убирайся! — кричит Геля, Юрчик плачет.

Ее крик выталкивает тебя из прихожей. И плач Юрчика. Но ты борешься.

— Я только хотел повидаться с Юрчиком... — стонешь тихо.

А она ставит ребенка на пол и закрывает за ним дверь, заслоняет ее своей спиной и идет к тебе, не боясь жандармов, а знает ли? В ее глазах тебе видна только ярость, ярость матери и ярость полячки, она не подмигивает понятиливо, она не шепчет тебе на ухо слов понимания, о нет, отталкивает тебя с великой силой, Геля, возмож-

но, даже сильнее тебя, ее, в конце концов, хотел лепить Торак, ее могучие плечи пловчихи, мускулы почти как у мужчины, обе ладони бьют тебя в грудь, как буфера поезда, и ты отлетаешь назад. И уже знаешь, что́ будет самым ужасным последствием мужества, какого исполнена твоя Геля.

Жандарм, что постарше, делает жест рукой. В конце концов, это его долг, он твой пес, должен охранять своего хозяина, и винтовка вдруг мертво повисает на левой руке, а правой жандарм делает жест, не слишком широкий, но четкий, будто показывая квартиру наносящим визит гостям, *bitte, und hier haben wir den Salon*¹, и тыльная сторона ладони бьет твою сильную Гелю в лицо, в правую щеку, бьет, будто слегка мазнув, а Геля скручивается как в пируэте, будто кто-то взял ее за голову двумя огромными пальцами и закрутил, как Юрчик крутит волчок, и голова крутит позвоночник, позвоночник крутит бедра, и в этом пируэте, роняя в воздух и на стену следы крови из разбитой губы, Геля падает.

И в этот миг вы оба бросаетесь к жандарму, ударившему Гелю, вы оба, ты и старый Пешковский. Младший жандарм торчит на месте, а я на вас гляжу, на всех, сверху, я парю над вами, я.

Пешковский успел к жандарму первым, но жандарм ведь не ты, и, пока Геля падала, приклад винтовки вернулся в его правую руку, с Пешковским жандарм не обходится с той же элегантностью, с какой обошелся с Гелей, Пешковского жандарм ублажает прикладом. Краткая дуга над бедром, стянутым ремнем и овитым шинелью, над жандармским бедром, по диагонали вверх, и приклад бьет Пешковского в челюсть.

Евгеническое жвало стиснуто гримасой того самого бешенства, каковое сощурило познанские глаза, того самого, каковое вызвало спазм больших скуловых мышц и мышц, управляющих верхней губой, обнажив стиснутые зубы Пешковского.

Через эти стиснутые зубы энергия удара пошла выше, раздробив пару коренных и погнув один золотой, прошла выше и встряхнула мозг, и пал Пешковский подле своей гигиеничной дочери, пал на бордовую дорожку, укрывающую стильные дощечки дубового паркета, пал Пешковский бездыханно, пал по чести, без обмана, пал по роли он отцовской, пал Пешковский, совершив то, о чем от века грезил, коли так судьба решит, будь любезен, пал Пешковский от руки тевтона, вне игры арбитр, конфликт обнулен, ибо Пешковский разбит, а Геля лежит и плачет, Константин к ней как мячик, хотя это с его подачи все вышло так, а не иначе.

А я гляжу сверху и куплет напеваю, серо мое бытование, мелко мое бытование, мое бытование скромно и вашему неровня, я над вами и в вас, я зла, я яростна, кровь на губах неразбитых, кровь на руках неомытых, ни вин, ни долгов, ни жалости, ни любви, я гляжу и все вижу, а вы всего не видите, хоть вглядываетесь как нужно, не ви-

1. Прошу, а здесь у нас гостиная (нем.).

дите, а я вижу спазмы мышц и твой бессильный ужас вижу, Костичек, вижу я ужас Константина и спазм мышц в лице Пешковского, и чую мозг его тоньше, нежели чует он сам, так жутко знать, что мозг есть в тебе, Костичек, верь мне, не так жутко знать, что в тебе есть железы, одним лишь впрыском своего жуткого яда они из тебя творят зверя бешеного или загнанного, выжгут людскость твою, и ты побежишь, как за сукой кобель, вцепишься кобелем в горло, когда глаза твои застит красной мглой злорадия, и бросишься землю рыть как крыс, как крот, как червь, когда глаза твои застит черной мглой стыда, и ты издашь рев и хрип, сродни реву и хрипу зебры в пасти льва, когда твои глаза застит белой мглой страха, и рот ты так широко раскроешь, так широко раскроешь глаза и, может, тогда ты человек, Константин, когда побежишь, как за сукой кобель, к своей Саломее, когда ты весь как один каменеющий пах и все, чего ты жаждешь, это ее промежность, словно целого мира нет, и рот ее, словно весь мир исчез. Не может, не может, Константин, я знаю: нет у меня ни желез ни мозга ни тела ни души ничего у меня нет и меня нет, поэтому знаю, Константин, знаю, тогда ты человек, ты вынул у толстого Тумановича око, потому что иначе не мог, только око и только рык его животный, но человеческий, потому что вот в этом вы вправду живете, Константин, ты и тебе подобные, плоть от плоти.

Жандарм, что помладше, сдерживает меня, обняли меня его крепкие немецкие руки, будто лаская, обняли меня вместе с моими руками, жандарм помладше кричит, за дверями воеет Юрчик.

— Мама, мама, мама, мама! — кричит он в ужасе.

Жандарм, что постарше, это сплошное презрение. Он презирает меня. Пешковского не презирает, женщину, которую ударил, не презирает, меня же — наоборот.

А знаешь ли ты, Костичек, что будет дальше?

Ты знаешь.

— Raus hier, raus, ihr Schweine!¹ — кричит Геля, вставая.

— Raus! — подтверждаешь ты.

Да и жандармы подтверждают, raus, мол, коли raus, так raus, мы выходим, выходим, идем, почему бы и нет, конечно, во всем этом нет никакого смысла, пришли, поцапались, ушли, но разве в мире приказа и послушания есть какой-либо смысл? Как правило, нет, так что идем, а как же, винтовки презрительно на плечо и идем. И я тоже иду.

Уже на улице Подвале я их отсылаю. Они уходят, презирая тебя так, что презрение их сообщится выше, они поведуют о происшествии, поведуют какому-то своему офицеру или фельдфебелю, тот передаст дальше, и презрение в упаковке презрительных ухмылок и презрительных взглядов, презрение к тебе потечет от человека к человеку разом с отчетом, как микроб какой-нибудь чумы, очередной референт этих слов станет копировать всё те же презрительные губы и взгляд, оно наконец достигнет твоей матери, Костичек, Орлицы, а

1. Вон отсюда, свиньи, вон! (Нем.)

от нее вернется к тебе умноженным, экспоненциально возрастающим с каждым носителем, вернется к тебе это презрение жандармов величиной с немецкий линкор, а уходило не крупнее штыка на бок у жандарма. И что ты будешь делать, ничего не будешь, ты мог бы задушить его в зародыше, убив сразу их обоих, но у тебя даже пистолета нет.

И вот стою один.

Добрый господи боже черный боже, что со мной будет? Знаешь, что будет.

Тебя убьют. Застрелят, это убойное зерно уже легло в земле, его вот-вот оросят, оно взойдет и будет жить, цветы ядовитым выюном, что в конце концов коснется тебя и убьет.

Но ты не думай об этом, любовь моя, не думай, ты чересчур много думаешь, живи, просто живи, бездумно живи.

Иду. Не вижу города. Вижу людей или, точнее, их тени, поляков, евреев, немцев, но прежде всего тех, что могут быть кем угодно: ведь порой с первого взгляда видишь: вот немец, вот поляк, вот еврей. А тот пан в коричневом костюме, светлом пыльнике и богатой шляпе, поляк ли он, на которого социальная деградация еще не наложила свою печать, или зажиточный немец, чиновник или тайный агент полиции, или деловой человек, или он, быть может, опоясанный жид, ведь и среди жидов можно наткнуться на обладателя столь рослой фигуры, или белогвардеец, или, скорее, большевистский шпион, или венгр, или, может быть, финн?

Но ведь и в немецком мундире не обязательно немец. Не обязательно, Костичек, не обязательно, только не переживай, иди, просто иди, до комендантского часа еще далеко, к тому же у тебя ведь немецкие документы, никто тебя не обидит. Ступай.

Мостовая, рваная мостовая, грязь, бреши от бомб, воронки засыпанные, жидок с заступом перелопачивает песок почем зря, самопальный рикша, телега-трамвай, лоток с самокрутками, извещение, доскаты, продажа фабричных сигарет и самокруток строжайше запрещена, немецкий патруль смотрит на меня свысока.

И я не знаю, тешиться ли мне их высокомерием, ведь они видят во мне поляка, или это должно меня тревожить, я-то не прочь сказать им: Mistkerle! Ich bin ein genauso guter Deutscher wie ihr, ein noch besserer als ihr! Mein Vater ist Graf, Ritter, Kriegsheld und wer sind eure Väter, ihr Arschlöcher?¹

Дырки от задницы.

В моей дырке от задницы жжет. Я чутка подпустил от переживаний, теперь жжет, паприкаш тягостно продрался сквозь пищеварительный тракт, и его специи жалят нежную кожу вокруг ануса.

Нужно домой, вымыться, сделать с собой что-нибудь.

Иду, взгляд скребет землю, иду галереей грязных ботинок. Большею частью не навакшенных, на дворе война. Война, даже закончен-

1. Мерзавцы! Я точно такой же немец, как и вы, а то и лучше вас! Мой отец — граф, рыцарь, герой войны, а ваши кто отцы, говнюки? (Нем.)

ная, освобождает от диктатуры ваксы. А вот коричневые полуботинки под серыми брюками прошли мимо. Ботки на шнурках, в самый раз для прислуги, над ними чулок толстый и бедный, петелька не вчера спущена. Мужские черные, без шва, грязные очень туфли и старые, фабричные, не на заказ. Ботинок туриста, лыжник, наверное, гордо бежит за границу, биться за Польшу, над ним клетчатый носок, над ним брюки-гольф, выше я не смотрю, пока не прилетает вдруг мина из слюны и не падает под ноги, наверное, кто-то узнал меня и харкнул себе храбро, я не поднял глаз, хотя клетка носков и цвет брюк подсказывают пару имен, но не хочу о них думать, снова полуботинки скверные, потом боты бесформенные мужские растоптанные в трещинках, шнурки в бугорках, узелках, зимы не выдержат, как их ни щади, лодочки женские, очень хороши, хоть и замараны, ножка над ними ничего себе, но глаз не поднимаю выше колен, колени под юбкой, не время, башмаки, башмаки, шины велосипедные, копыта лошадиные, шины автомобильные, вид разбитой, раздолбанной мостовой, перерезанные трамвайные рельсы и сапоги, сапоги, сапоги, не поднимаю глаз, улицы и площади и снова улицы, час, долго, ноги болят, не поднимаю глаз, курс прокладываю по памяти, но не плутаю, и так до самого моего угла, Пулавской с Мадалиньского, лестничная клетка из шоколада, звонит, по ступенькам, звонит, дверь, звонит, квартира, дверь за собой запираю, звонит, звонит.

— Яцек? — спрашиваю я серость квартиры. — Ига?

Тишина. Перестал звонить. Они ушли. Снова звонит. Конечно, пошли себе, чего им ждать? Звонит.

Сажусь за кухонный стол. Что там в кармане?

Лошадь Юрчика. И джигит. Не отдал ему, когда же мне было от-
дать?

Ставлю коника на стол. Усаживаю джигита в седло. Звонит. Езжай, джигит, коника своего кавказского вскачь пусти, скок со стола на стул, скок со стула на пол, по лестнице на улицу, на Мадалиньского, по Пулавской и вверх, площади звездчатые и Маршалковская под деревянными копытцами, в конце концов доскачешь до Подвале и моего Юрчика, вот мальчишечка порадуетя.

Почему я не отдал ему лошадку?

— Алло! — заорал в трубку.

Когда это я взял трубку, не знаю, не вспомню, не помню, чтобы я ее брал, сижу себе за столом и вдруг рычу в трубку.

— Пятьдесят семь? — спрашивает Инженер.

— Шесть... — поправляю я машинально.

— Да-да. Будь завтра в квартире на Спасителя. Утром. В четыре тридцать.

Конец. Больше не звонит. Ты завел будильник, послушно завел будильник, чтобы в послушании этом обрести утешение, достоинство и человечность, но нет человечности.

В одежде, в обуви, с лошадкой в одной руке и джигитом в другой, ты уснул. Мой несчастный, мой дорогой, мой милый, смешной, скверный, маленький Константин.

Глава IX

Звонит. Будильник. Темно. Какого?

Площадь Спасителя. Инженер.

Вскакиваю. Ванная. Свет? Есть. Вода? Есть. Горячая? Она. Бриться: кипяток, крем, пена, жиллет, пена, жиллет, холодная после бритья, квасцы на порез под носом, пакастный порез под носом. Туалет, весь цикл. Зубной порошок? Вот. Щетка. Бриолин? Нет. Щетка. Пригладить волосы. В зеркале — ненависть.

Кухня. Еды — нет. На часах? Время.

Надеть. Плащ.

Не думать. Дверь — на два оборота.

По ступенькам. Вниз.

На улице комендантский час. Дня — нет.

Пешком. Улицами и площадями. Фонарей — нет.

Еще не дойдя до квартиры Лубеньской, судорожно зажмуриваешь глаза: не видеть этого мира, не видеть людей, новенькую Kennkarte патрульному, солдат вежливо салютует и говорит что-то, предупреждая участливо, но ты не слушаешь, он уходит, а я за тобой, Костичек, вечно за тобой, даже когда ты идешь такой развалиной, такой колдобиной, как ныне, когда ты такой слабый, дурной и злой, как нынче, когда в мозгу у тебя одна надежда на что-то, вот на что только, на что вообще ты еще надеешься, Костичек, что рассосется само, теперь, после того, что случилось?

Ты этого не знаешь, любовь моя, но кое-чему уже дан ход.

Уже определилась динамика событий, никому пока неведомая, поскольку впервые имеет место быть, и людям, вовлеченным в нее, пока неведомо, что они движутся в рамках очень специфичной орбиты, им, возможно, кажется, что действуют в одиночку, действуют, ибо так хотят, ибо так изволят, ибо так должны. Не знают, что мои сестры ведут их.

Та конкретная динамика воцарится в этом городе на добрых пять лет, Костичек, в конечном итоге ее начнут постигать, некоторые по крайней мере, но следует ли отсюда, что, зная ее, они смогут ее одолеть? Противостоять ей?

Нет.

Ах, Расскажи она об этих сомнениях своему отцу, что бы это изменило? Был бы он поколеблен в намерении, уже посеянном в нем, уже проросшем и уже взвивающемся кверху, медленно, но неуклонно?

Мог ли он поколебаться; я не знаю, темна вода сия для меня, ибо Геля решила в итоге, что ее сомнения останутся ее личными сомнениями, что тайна, в которой она поклялась мужу, важнее ее покоя или непокая, так что она молчит.

А рядом, на кухне, сидит старый Пешковский со сломанной, временно подвязанной челюстью, сидит, молчит и только изредка гладит светлую головку своего внука. И думает еврически, сколько твоей паршивой германской ублюдочной крови течет в Юрчике, его

Юрчике, ни слова по-немецки не знаем. Эндеки в кровь не верят, не писалось о крови в “Просто с Мосту”, ни у Мосдорфа, ни у Доброчиньского, ни у пана Романа, так он себе говорит, нация есть общность культуры, истории и земли, а не крови, разве у Мосдорфа польская фамилия? Есть Мосдорф, может быть и Виллеман. Еще дед Мосдорфа был обычным головерцем, а молодой — хо-хо! Так что никакой крови, говорит себе старый Пешковский, кровь неактуальна, важно воспитание, важна культура, а как он, подлец Виллеман, влиял на воспитание Юрчика, никак не влиял, Пешковский хорошо знает, чем Виллеман занимался до войны, никакой работы, обществу не служил ничем, одни шляхи да кафе, водка да наркотики, если бы он творил хоть что-то, но те его бездарные рисунки ничего не стоили, дома он не бывал и изменял, изменял его прекрасной гигиенично евгеничной дочери, со шляхами изменял, все знали, только она не знала, а Юрчика не воспитывал, Юрчик ихний, кто ты маленький поляк орел белый вот мой знак отчизна нам кровь и шрам любишь сильно даже больше во что веришь верю в Польшу.

Так что сидит он и думает, глядит на внука, глядит на лицо дочери в синяках, и растет в нем некая особая ненависть, слишком умная и слишком спокойная, чтобы давать волю неразумным порывам.

Так что Пешковский не бьет кулаком по столу, не крушит тарелок, не хватает ножа и не бежит за тобой к дому из шоколада, Пешковский гладит светлую головку Юрчика Виллемана и глядит на лицо Гелены Виллеман дома Пешковских, и она олицетворяет для него Польшу, он зачал ее со своей женой, почти не существующей, и создал ее всю так, как создал свою Польшу, и Гелена Виллеман на самом деле есть Польша, она не аллегория ее, она ее воплощение, Польша есть в ней, как Христос присутствует в Евхаристии, хотя старый Пешковский не верит в Христа, совсем не верит, не из того поколения старый Пешковский, Пешковский верит только в Польшу, его эндецкость современна, ну, чутка старовата, так что он много думает о своей молодости и глядит, глядит на метку от руки жандарма на лице своей дочери-Польшы, и растет в нем мудрая ненависть.

Поэтому Пешковский наконец встает и тянется к телефону, но телефон не работает. Бросив взгляд на часы, решает, что пора, поэтому говорит Геле, что идет, и та спрашивает, не лучше ли сначала врача, но старик и знать не хочет врача, тело должно подчиняться его железной воле, поэтому он одевается, пристегивает к рубашке воротничок, повязывает галстук, закалывает булавкой, надевает жилет, даже снимает с запястья наручные часы, в кармашек роняя золотую луковку, на память, многолетнему, двадцать пятой годовщины, с уважением, Роман Дмовский. И пиджак, дергает, оправляя, лацканы, насколько же иначе одевается этот вымесок из ниоткуда! Виллеман одевается вызывающе, Пешковский хочет быть одетым как следует. Речь не о том, чтобы быть красивым. Вопросы мужской красоты не трогают Пешковского. Никак не озабочен он эстетическим видом своего наряда, одежда должна быть чиста, отглажена и под стать

ситуации, платье должно отвечать: положению социальному, ситуации социальной, одежда есть мундир гражданского, поэтому сейчас Пешковский застегнет пуговицы своего гражданского мундира, надеет пальто, застегнет пальто и выйдет в Варшаву, она никогда не была ему по душе, урбанное выражение всего, что ненавистно ему в Польше, ведь Польшу Пешковский любит любовью пана Романа, поэтому ненавидит ту, что есть, любя лишь ту, что могла бы быть, создай ее такие люди, как он, люди стальной воли, воли, развитой в тысяче малых упражнений и воздержаний, сверххранний подъем, ультрахолодный душ, мало еды, не проявляй чувств, молчи, когда хочешь сказать, сноси унижения молча и помни их вечно, не отдавай сердце женщинам, лучше не имей сердца вовсе. Ему мерзят однопартийцы, они даже не силятся быть такими.

И о Варшаве не лучше мнит Пешковский, ему видны уже зачатки того, чем станет град сей на ближайшие четыре года, пока не рухнет. Видит, как сожительствовать будет с немцами, в то же время сжигая себя в борьбе, и знает, знает, мудр вельми Пешковский, поэтому знает, что так уж оно нонче будет, блядство непотребное и героизм непотребный, и знает даже, что он, познанский эндек и гигиенист, вскоре станет частью этого бреда, имманентной, неотъемлемой.

И, пока он идет через город, вам удастся разминуться на весьма малое расстояние, потому как, пока ты идешь по Пулавской в сторону Спасителя, он едет на телеге, держа руки на коленях, едет с пролетариатом с севера на юг, только ближе к Висле.

В итоге добирается до квартиры, в которую стремился, звонит в дверь, и отворяется ему, его зовут внутрь, потчуют чаем и усаживают в кресло за круглый стол, накрытый кружевной салфеткой, и спрашивают о цели визита, и тот, кто его спрашивает, понимает, что старый Пешковский не пришел бы, когда бы его приход не имел повода, тем паче слушает с большим вниманием. Они знакомы давно, еще с войны с большевиками.

А кто слушает?

Слушает тот, у кого есть причина слушать, Костичек, и если бы ты только знал, кто слушает, задрожал бы.

Слушает некто, носящий громкую фамилию, ты знаешь эту фамилию, а недавно он добавил к фамилии ряд псевдонимов, а кроме псевдонимов также функцию в организации, которая сейчас называется Служба Победе Польши, но жить ей недолго, спустя три недели улетит в Париж и исчезнет, плохой вождь узнал о ней прежде хорошего вождя с птичьей фамилией, поэтому в Париже ее распустят, а на ее место явится организация с более грозным именем Союз Вооруженной борьбы, не сразу опознанный его субъектами, но дела до того событийной динамике нет. Ей не интересны вывески и должности, интересна лишь цепь неозвученных миссий, передаваемых взглядами, передаваемых их общим сознанием, посредством рукопожатий, никто не принимает решения, решение принимается само по себе, задолго до того, как некто правомочный подпишет некую бумагу, данное решение выражающую формально.

Итак, старик Пешковский говорит. Сеет. Тот, кто слушает, верит Пешковскому. Верит уже двадцатый год подряд. А тот говорит.

Се есть человек, Константин Виллеман, и это ты, Костичек. Се, вполонину немец, а может и целиком немец, ведь неизвестно, кем считать твою мать, чей немецкий в любом случае лучше польского. И человек этот соблазнил его дочь, и чуть было не уклонился от уз брачных.

Обоим, говорящему и слушающему, известно, что это неправда, никто никого не соблазнял, но исторической логике потребна овая малая ложь, дабы история, что представляет собой ветвящийся отросток динамики, о которой я твержу, была подлинной. Оттого Пешковский и намащивает свои зерна, имеющие взойти в сей малой лжи.

Да, само собой, он упомянет и то, как ты воевал весь сентябрь, упомянет в эдаком нейтральном тоне, что подкрепит его риторику, придав ей объективный характер, ну да, воевал и ладно, награжден орденом, всё тот же тон, тембр голоса подкрашен деликатным сомнением, деликатное сомнение не менее полезно в такой ситуации, нежели отрицание, значит, награжден орденом, а кем награжден, в какой связи наградили, мало ли мы слышали рассказов о том, как раздаются ордена иным людям?

А после расскажет, как ты дезертировал перед капитуляцией. Иногда, кроме мелких неправд, иногда, в придачу к сомнению, столь же полезному, что и полное отрицание, ростку истории скармливается крупная ложь, ты, Костичек, сказал бы: махровая. Лишь бы эта махровая, крупная ложь касалась случившегося как бы походя. Итак, ты на самом деле покинул часть перед самой сдачей? Да. И хватит, *the rest is interpretation*.

Смысл? Пускай твоя национальная трансгрессия обретет конкретную драматургию, а так как ренегатство не является *deus ex machina*, ружье должно висеть на стене уже в первом акте, даже если этот акт *post factum* запаздывает.

Пешковский ни о чем таком не знает, но инстинктивно чувствует. Чувствует, поскольку сестра моя им уже занялась, он в ее власти, а уж она знает, что делать, дабы зерно, посеянное в генерале из Службы Победе Польши, стократ дало плод.

Поэтому говорит так, как следует, с необходимым надрывом, дойдя наконец до сути. То, что ты, Костичек, был замечен в Немецком Клубе, то, что ты принял кенкарту, суть ерунда, суть проступки, однако такие, какие генерал единственно внес бы в реестр заслуживающих кары проступков, когда уже довольно послужится победе Польши, и се мерка, по которой выкроются следующие четыре года.

Но не об этой динамике речь. Итак, сейчас из сухих гигиеничных отшкуренных некурящих и непьющих уст Пешковского падут те самые капитальные слова, пуант: вот ты приводишь в их дом жандармов, вот ты велишь жандармам тешиться твоей польской женой, вот с удовлетворением наблюдаешь, как жандармы избивают прикладами твоего польского тестя, а всё ради того, чтобы вы-

рвать польское дитя из материнских рук, всё ради того, чтобы забрать его и превратить в немца.

— А разве забрали? — спрашивает генерал, следующее после Пешковского звено нашей динамической последовательности.

Пешковский отвечает, нет, не забрали, мать заслонила собственной грудью. Это важно, грудь олицетворяет собой не одно только материнство, но также эротизм, а патриотическая история, жаждущая отмщения, немыслима без элемента эротики. Итак, заслонила собственной грудью дитя, продолжает Пешковский, а ты, круглый дегенерат, ты, Костичек, охотно надругался бы над телом ее и жизнью, но это было бы слишком для обычных жандармов, пусть немцев, но, даже будучи немцами, не утративших той прямой элементарной порядочности простого человека, которая не позволяет обижать мать на глазах ее ребенка, и они, немцы, не исполнили твоих злодейских приказов и ушли, не забрав дитя навстречу гибели, оставили с матерью. Так человечность, теплящаяся в любом простом человеке, одержала в них верх над тевтонским варварством.

Генерал слушает. Генерал не носит мундира, генерал гордо ходит в гражданском, которое ему не к лицу, пиджак чересчур широк, брюки коротки. Генерал красивый, вальяжный мужчина. Он отнюдь не эндек, с эндеками ничего общего. Генерал состоял в ППС-Революционной фракции, носил на груди офицерский знак “Парасоль”. Был легионером, хотя в отличие от большинства своих будущих коллег, легионных политиков, имел четкое, пускай и ограниченное понятие об армии, поскольку окончил австрийские курсы офицеров запаса.

Генерал является также масоном высокого уровня посвящения. Является клириком Либеральной католической церкви, хоть сам не верует и не сознает, что сан, который он принял из рук англиканского ксендза, из любопытства, отчасти дурачась, отчасти для артистичного эпатажа, сан этот выжег на нем клеймо, серая жреческая дымка курится над ним, и генерал, хоть и неосознанно, открыт таким, как я, открыт моему миру. Наверное, оттого легко находит общий язык с моей сестрой.

— Там за стеной живут четверо из Geheime Staatspolizei, — говорит с сильным львовским акцентом. Но, конечно же, не как батяр, генерал ведь шляхтич, а не львовский рахубник. Рахубником был Туманович, ему ты вырезал глаз, и глаз этот тебя не так уж нынче беспокоит, когда идешь по Маршалковской, идешь себе, улицы и площади и картон и записки и хлам и сапоги, сапоги.

— Там за стеной живут четверо из Geheime Staatspolizei, — говорит генерал Пешковскому, пока ты идешь себе в Мокотов. — Один заболел гриппом, но они не могут лечиться у польских врачей, а немецких еще не доставили. Я его вылечил, и за молчание, нате пожалуйста, получаю карбюратор от шевроле, без которого он бы у нас не поехал.

Старый Пешковский слушает, кивая головой, с довольно равнодушной учтивостью, разглядывает дозатор газа, словно невесть какое чудо, попивает чай, чай подан в тонком прозрачном фарфоре,

узор петелек в нитяном кружеве скатерти как мандала, нестираемая, на ветру не рассыплется, зато в огне сгорит.

Пан генерал, бывший пилсудчик, санатор и вообще свинья, все-таки поляк, поляк что-нибудь да значит, именно нынче, нынче особенно, ненависть Пешковского к тебе, Костичек, сильнее ненависти к пилсудчикам, санаторам и прочим свиньям, что после майского переворота расселись по Польше жирными масонскими жопами. Пешковский знает, что генерал является масоном, но вряд ли это важно.

Пешковский верит генералу. Вряд ли это важно.

Важно, что уже завертелось то, чему должно вертеться, динамика событий важна. Уже генерал услышал то, что имел услышать. И этого уже не заластишь. В противном случае какой из него герой, если не попытается хотя бы воздать за столь явное насилие над польским духом?

Когда же посланец из Парижа выставит генералу счет за то, что был он санатором, точнее говоря, “санационной свиньей”, как определил бы Пешковский, только в иных выражениях, и ликвидирует Службу, создав на ее месте Союз, в котором генерал будет отвечать за львовский округ, неумолимая череда событий уже грянет и подобьет те пять лет, что у вас впереди. Генерал дернется за границу, в советский Львов, но чему бывать, того не минуешь.

Пешковский встает от чая и от кружева, жмут друг другу руки, поляк поляку, эндецкий сокол санационной свинье, и вот уже расходятся, Пешковский идет себе к Старому Городу в новый дом, функциональную каменицу, простую и скромную, а генерал возвращается уже к своим делам, кланяется солнцу, хоть его и не видно, садится за работу, и дела идут.

Их нет еще, оттисков на бумаге, махина, которая держится на плечах моей сестры, еще не имеет своих печатей и подписей, но вскоре она разживется подписями и печатями, все-то у нее скоро будет, и тогда твоя фамилия с титулованьем мерзавец оттиснется на бумаге, и двинутся бумаги своей тропой, потом будут комедия и трагедия, процесс, приговор, пистолет, врученный старшим офицером младшему сразу после того, как тот присягнет, и только тогда все начнется, сестра моя покуда не спустила ненасытность свою с поводка, не глотает покуда младенцев, а тот младший офицер, между прочим, врач, — сунет пистолет за пояс, в брюки, холодным дулом прямо в яйца, и отправится на встречу, а когда все будет позади, ощутит такое острое желание, что пойдет к блядам, хоть прежде никогда не ходил, положит пистолет на ночной столик в комнате, липкой от телесных выделений, и станет спариваться с безразличной курвой, вбивая железное изголовье койки в ветхую штукатурку, круша и кроша ее, пока желтые крошки не просыплются на старые доски пола, каждая крошка как чья-то судьба в наших, в моих руках. Моих и моих сестер.

Можешь ли как-то это остановить, можешь что-нибудь сделать? Ну да, конечно же, можно начать множить контр-документы с контр-печатями, быть может, Инженер вступит в игру, предостережет,

опровергнет, курьерами без устали в Париж и обратно, высшие инстанции поддержат, сам Сикорский придаст документам и контр-документам, печатям и контр-печатям тот или иной вес, но чтобы ты начал, тебе пора почуять черную тень моей сестры, лежащую на тебя, а ты не чуешь, поскольку дураковат, ничего не знаешь и не узнаешь, когда вот так идешь к площади Спасителя на черном рассвете черного дня черной години в черном краю, а когда взойдешь по лестнице, откроет тебе Лубеньская, которую когда-то еще обнимет юноша с кинжалом Ферберна-Сайкса в руке.

Ведет тебя в гостиную, там Инженер в креслах.

— Пятьдесят Седьмой! — обрадован твоим приходом.

Усаживается.

— Не начинайте без меня, — крикнула с кухни Дзидзя Рохацевич.

Крикнула, и вдруг ситуация полностью изменилась. Зачем здесь Дзидзя Рохацевич, что ее сюда привело, почему именно она?

С Инженером. С Лубеньской.

Радуешься, что она тут.

Что в ней было такого, что радуешься? Часто ли ее видел? Много ли слышал? Да почти ничего. Что ты в ней нашел? Я знаю, ты не знаешь, оттого мне тревожно, тебе нет.

Вошла с подносом, на нем чайник с чашками. Вспархиваешь с кресла, кавалер несчастный. Яд во плоти эта Дзидзя, ходячее издевательство в женском теле.

— Заварила чай, — с нажимом возвещает очевидность.

Ставит поднос на столик. Садится в кресло, возле Инженера. Не красotka, зато хороша необыкновенно. Длинный нос. Худоба. Ласточкины крылья ладоней. Лубеньская на диване напротив.

— Пятьдесят Семь, пани Дзидзя остановится у пана. Должна кое-что сделать в Варшаве, — говорит Инженер, сияя.

Остановится у меня Дзидзя. Смотрю на нее. Усмехается ядовито. “В постель с такими, как ты, не ложусь”, — говорит ее усмешка.

— Так точно, — отвечаю.

— Завербовал этого доктора? Ростаньского? — спросила Лубеньская.

Изобличающим тоном.

Я не ответил, гляжу с вопросом на Инженера. И Дзидзя на меня одобрительный взгляд бросила. Поставил себя, а как же. Такой хват, не спасовал перед старой шляхтой.

Инженер же ни слов Лубеньской не слышал, ни моего вопрошающего взгляда не замечал.

— Слыхал я о том деле у Пешковских, — сказал спокойно.

Я насторожился. Напрягся. Дзидзя смеется, нос ее длинный целит в меня, будто пальцем тычет.

— Весьма сим доволен, — продолжает. — Легенда, согласно которой ты немец, теперь подтверждена совершенно. Комар носа не подточит.

Встал с кресла, обнял себя за плечи и прохаживается по комнате, смотрит в пространство перед собой.

— А это нам в высшей степени необходимо. В высшей, — повторил всем и никому, себе самому. — Токаржевски-Карашевич организует Службу Победе Польши, уже какие-то каналы в Париже, но все это дурь, дурь. Не понимают одного: войну немцы выиграли.

Застыл на миг у окна, глядя в темноту, будто мог в темноте той что-то увидеть.

— Выиграли, — еще раз. — Это не значит, что нам пора сдаться. Но они выиграли. Мосцицкий не хотел моих моторов, моих батарей, ничего не хотели, ну и проиграли.

— Война не проиграна, пока жив хоть один поляк с горящим сердцем, — провозгласила Лубеньская. — Что ж пан такое говорит, а, пан Стефан?

— Чушь, чушь — пробормотал Инженер.

— Прошу прощения?!.. — вскинулась хозяйка и даже встала с дивана, словно собираясь требовать от Витковского немедленной сатисфакции.

Но тот не обращал на нее внимания. Упорно вглядывался в темноту.

— С немцами нужно поладить, — шепнул в оконное стекло.

— Пан Стефан, — гробовым голосом Лубеньская выстудила в помещении воздух. — Прошу прекратить, это звучит как измена. Ибо Франция, Англия...

Инженер по-прежнему стоял, вглядываясь в окно, сплетая и расплетая на плечах короткие пальцы, будто перебиравшие дюжину четок одновременно.

— Инженер! — понесло Лубеньскую. — Наше правительство во Франции организует армию, управления, весной будет война, которой немцам не выиграть, ибо линия Мажино, английский флот... Французы пойдут на Берлин, Сикорский с ними. Как пан может...

— Пожалуйста, многоуважаемая! — рявкнул внезапно Инженер, даже не обернувшись к ней. Все в комнате дернулись, будто их кольнули булавкой, лишь Дзидзя не пошевелилась.

— Измена, измена, кругом у них измена! Она и ей подобные просрали Польшу, а теперь измена, измена. Сама ты измена, черт тебя дери! — выплюнул злым и острым шепотом, так что Лубеньская могла делать вид, что не расслышала.

Дзидзя начала хохотать, по-мужски громко, откидывая назад голову, заходясь в смехе с широко открытым ртом. Некогда моя мать запрещала мне так смеяться, но нынче нет ее, нет Белой Орлицы, так что смеешься вместе с Дзидзей, громко, крепко.

Не стоит тебе с ней смеяться, однако смеешься.

Лубеньская колеблется. Могла бы закатить сцену, скандал, выгнать нас из квартиры. В конце концов, квартира-то ее. Но это шло бы вразрез со всем предприятием. Кроме того, отнюдь не казалось, что Инженер позволит себя запросто выгнать. Стало быть, лучше присоединиться к смеху.

Витковский не смеялся.

— Чтобы выиграть у немцев, нужно с ними поладить. Чем быстрее, тем лучше. Чтобы с ними поладить, нужно знать о них не меньше, чем они знают о нас. Пятьдесят Семь, ты наш сильнейший козырь. Снискал ненависть всех добрых поляков, и это прекрасно, а сейчас должен еще завоевать их доверие. Их, то есть немцев.

Лубеньская молчала, ты молчал, Дзидзя молчала, и даже Витковский вдруг замолк, аж сделалось тихо.

— Должен найти способ войти к ним в доверие. А как войдешь, должен обрести положение. Положение, которое даст тебе реальную силу и власть, Пятьдесят Семь.

— Я знаком с фон Мольтке. С послом фон Мольтке. Меня ему мать представляла, — говоришь, удивляясь собственным словам.

Лубеньская отворачивается к стене, сжав губы. Еще страшится подобных слов, очень. Это обоснованный страх: именно за такие слова, именно за такое течение событий, омывающее ее стопы, тело и душу, за то, что это течение никого и никуда не выносит, много лет спустя кинжал распорет ей живот, матку и продырявит почки и селезенку.

Не ведает этого; все равно страшится.

— Славно, славно с этим послом. Тоже с ним знаком, однако твоё знакомство важнее, ценнее, славно, славно. Что-нибудь придумаем, — говорит Витковский. — А может, отец твой?.. Впрочем, с матерью твоею, чудны дела...

— Чудны, — соглашаешься покорно.

— Инженер, — говорит Лубеньская. — Пожалуйста, расскажите о задании.

— Задание. Разумеется. Как уже сказал, нужно установить линию коммуникации с Будапештом. Был сигнал, что там уже должен находиться полковник Штайфер.

— Кто? — будто бы наивно спрашиваю.

— Штайфер, — Витковский глядит испытующе. — Не знает пан?

— Откуда бы.

— Понимаю. Но как бы то ни было, пан его отыщет. У него весьма обширные связи. Нуждается в нас, а мы нуждаемся в нем. Нужно войти с ним в контакт, причем быстро, пока тут не закрутили всех гаек. Поедешь пан как немец, официально, с документами, свяжешься со Штайфером, а он к тому времени уже продумает сеть коммуникаций курьерских через зеленую границу, с планами, тайниками и так далее, пан все это нам привезет, благодаря чему будем иметь стабильные каналы.

Ну что прикажешь делать, просто соглашаешься, соглашаешься, что еще остается.

Будапешт.

— Поедешь с Тридцать Третьей.

— Но у меня нет немецких документов, — протестует Дзидзя.

— Сделаем, сделаем документы для пани, сделаем. На данный момент остановится пани у Пятьдесят Седьмого, сделаем бумаги и в путь.

Так, — произносит Дзидзя. — Но теперь-то можем уйти, не правда ли?

То есть произносит то, чего сам я произнести не решился бы.

— Уйти? — удивился Инженер.

— Уйти. Отсюда. Тут слишком мрачно, — рассмеялась Дзидзя.

Лубеньская было вскинулась, без слов, но выразительно.

— Сделаю кофе, — сказала.

— Не для нас, мы уже уходим, — сказала Дзидзя во множественном числе, которое бесспорно относилось к ней и ко мне одновременно. Моего мнения не спрашивали, и хорошо, сейчас у меня не было мнения.

У тебя не было. Так что собрались быстро, ты подал Дзидзе пальто, надел свое, сначала лестничная клетка, потом молча по ступенькам, парадное, и вот уже, будьте добры, уже стоите на улице.

Ты и она. А ведь она мне не нравится, понимаешь?

Хрена ты понимаешь.

Было холодно, задувало, и было утро и площадь Спасителя, слегка подрихтованная закончившейся войной. А утро было разом солнечным и туманным, сверху солнечным, туманным снизу. И был мороз, на лужах корочка льда, первая в этом году. Улицами шел ветер, словно каждая из них была частью огромной помпы, нагнетающей воздух от Вислы и с мазовецких равнин. Костел выглядел как обычно, но немного помято. То есть теперь уже просто как обычно.

— Я бы выпила кофе. С коньяком, — сказала Дзидзя.

— У меня нет.

Старался говорить сухо. Дзидзю забавляло то, как я старался.

— У тебя нет. Невероятно. В кафе пойдем, дурья башка, есть же в этом месте какие-нибудь кафе, правда? К Лурсу, например, — смеется.

Сказала мне — или же обо мне — “дурья башка”, и я на мгновение замолчал, пораженный полной неадекватностью этих слов.

— В кафе нежелательно. Могут быть эксцессы.

— Боишься их? — спросила на удивление серьезно.

Я резко повернулся к ней, готовый взорваться, броситься на защиту своей личной храбрости, как вдруг заметил отсутствие пренебрежения в ее глазах.

— Это разумно, — и пояснила: — Трудно сидеть и пить кофе в окружении пары дюжин враждебных морд.

— А ты, Дзидзя... не бойшься, сев со мной за столик, себя... скомпрометировать?

— Я ничего не боюсь, — ответила все с той же серьезностью, с которой спросила меня, не боюсь ли я. Без укоризны.

Ты ей веришь, а это неправда. Боятся пары вещей, каждый чего-нибудь да боится. Но в смысле популярном это значит не бояться практически ничего, а ты ей веришь. Знаю: это начало перемен.

— Верю, Дзидзя. Однако я слеплен из другого теста.

— Однако пойдем-ка к Лурсу.

— Это необходимо? — спрашиваю неуверенно.

— Именно так.

Боюсь ее, Костичек. Боюсь этой женщины с длинным носом, ибо есть в ней что-то, чего не умею вывернуть наизнанку, не умею заглянуть внутрь, не понимаю, кто она.

Боюсь ее, боюсь этой женщины с долгим носом. Но в то же самое время каким-то странным образом доверяю ей, раз Лурс, так Лурс, пойдём.

— Возьмем машину, — сказала Дзидзя.

— Как это?

— Каком кверху. Машину возьмем, просто. Стоит на дворе, чего не попользоваться. У тебя же твои немецкие бумаги с собой?

— Инженер разрешит?

— Станем мы его спрашивать. Стоит машина, возьмем.

— А ключи?

Усмехнулась долгоносо, полезла в карман и звякает брелоком автомобильным.

— А багаж?

Пожала плечами.

— Я поведу, — улыбнулась лучезарно.

В этом я отчего-то ни секунды не сомневался.

Минуту спустя мы уже сидели под брезентовой крышей темно-зеленого шевроле. Master Deluxe, кабриолет, модель 1937 года. Красивая крыша цвета бронзы. Естественно, за рулем Дзидзя. С Кошиковой свернули на Мокотовскую, и вперед!

Дзидзя вела, как заправский гонщик.

Не нравится мне эта баба, Костичек, опасна эта баба, Костичек, боюсь я этой бабы, Костичек, долгого ее носа боюсь.

На площади Трех Крестов притормозила.

— Что такое?.. — спросил.

— Парадиз... — мечтательно.

— Ну да.

— Бывал здесь?

Ты, Костичек, бывал ли в Парадизе?

Проехали площадь, шевроле выбрался на Новый Свят, медленно, без писка шин и рева мотора, телепали на второй скорости, Дзидзя смотрела в окно, грезя. Это место всегда было важно для тебя, начало Нового Свята, в доме номер один ты покупал вино и колониальные товары, что касалось вина, был там известный плюс, пан Гельбфиш, старый кенигсбергский еврей, изображавший пруссака в варшавской ссылке, облом с навьками сомелье, воню изо рта и бесконечной претензией по отношению к клиентам, которым он продавал вино с омерзением, будто отдавал нуворишам, доморощенным нефтяным или угольным королям, картины Караваджо для развески среди иконок и олеографий с оленями, однако вина у него были что надо: французские, мадьярские, итальянские, плохих не держал. Приходилось терпеть эту прусско-жидовскую претензию, и ты покупал вина и шампанское, что после текли по телу Сали, в желудки других твоих шалав, или в желудки к тебе и Геле и тестю с тещей на званых обедах и ужинах.

Так ты бывал в Парадизе?

Танцевал ли с женщинами под эллиптическим проемом в потолке, пока со второго яруса смотрели, завидуя твоей партнерше, те женщины, с которыми не танцевал, водил же ты туда тех, с кем не хотел показываться в Адрии или Оазисе, хотя порой хаживал с ними в гриль-рум, на стейки, но в гриль-руме все было иначе, нежели в дансинге, и нередко олимпия уносила меня с Театральной к Трем Крестам, на сиденье рядом разнеженные девицы, с которыми я чаще всего даже не спал, хотя они были готовы, готовы были всегда.

Не всегда, не всегда были готовы. Часто вообще готовы не были, но тебе хотелось думать, что были.

Так были или не были, как оно было, как? Их готовность, не важнее ли она самого спаривания, ведь то, что женщина готова, важнее того, что ты этой ее готовностью пользуешься, так ведь?

Важнее или не важнее?

— Нет, Парадиз я не очень, — конфузясь, возразил ты, Костичек, ведь если бы она тебя в нем застала, тебе пришлось бы сконфузиться.

— А я так очень, — протянула мечтательно, аккурат когда вы миновали лапидарный фасад: три ряда тройчатых окон, четыре шереинги, углы прямые, прямые углы.

Когда авангардная каменица Новый Свят, 3, уплыла за твое левое плечо, Костичек, эта ужасная женщина продула жиклеры шевроле, шестерка его цилиндров рыкнула, и вы помчались.

— Водила туда разных своих женихов. Вернее, хахалей. — И громко: — Таких, с кем не хотела показываться в Адрии.

Знаешь теперь, Костичек, чем она так жутка? Впрочем, тебе она совсем не кажется жуткой.

Угол Аллей Иерусалимских и 3 Мая, шевролетик разогнался до восьмидесяти в час, рессоры стонали, мотор ревел. Вы едва не переехали жандарма в прорезиненном плаще. К счастью, в комплекте с прорезиненным плащом ему полагался лишь свисток, а мотоцикла не было; вкупе с употреблением свистка погрозил кулаком, что еще оставалось?

У Европейского Дзидзя резко затормозила, застопоренные колеса аж взвизгнули. Понял теперь, дурья твоя башка, зачем ей понадобился автомобиль, понял? Сидят типы у Лурса, видят в окне, с каким фасоном паркуется шевроле, и думают: немцы подъехали.

А тут на тебе, является Константин Виллеман с какой-то своей пассией.

Стоп, нет, пока что не явились, явно чего-то ждете. Дзидзя расстегивает клатч свой продолговатый.

— Держи, — и подает тебе маленький, плоский кольт. — В оружии разбираешься?

— Я офицер запаса, черт подери, — вскипел ты.

— Модель тысяча девятьсот три, бескурковый, калибр тридцать два, — мол, из того, что ты офицер запаса, вовсе не следует, что хотя бы малейшее понятие имеешь, и засмеялась, а смех этот был как

приз тому, кто его заслуживал, тебе же укором, смех как кружка воды после похода в жаркий день, но не для тебя.

— Ничего себе!.. Офицер запаса! — не успокаивалась.

— А что?!.. — полез ты в бутылку. — Девятый уланский полк! Дрался весь сентябрь!

Дзидзя смеялась так неудержимо, что закрыла лицо ладонями.

— Ну ладно, ладно уже, — сказала в конце концов, остывши и отдышавшись. — Тут предохранитель, еще один, автоматический, на рукоятке. Восемь патронов в магазине, но, когда захочешь стрелять, должен его сначала зарядить.

Открыл рот, чтобы возмутиться, так тебя проняло, ты ведь и до нее знал толк в обращении с оружием, на курсах резервистов в Грудзёндзе даже выиграл соревнования по стрельбе, причем из совершенно убитого парабеллума.

Однако смех Дзидзи тебя успокоил.

— Спрячь пистолет в брюки. Идем.

Стало быть, идете. А они глядят, как из шевроле является Костек Виллеман с какой-то своей пассивой. Впрочем нет же, нет, является мерзавец Виллеман с некоей Рохацевич, Дзидзей Рохацевич, фигурой, надо сказать, им знакомой.

— Смотри на них так, будто густой слюной плюешь каждому в рожа, — шепчет тебе Дзидзя, но что за шепот такой, может, интимный?

Слюну ты, пожалуй, проглотишь, входим. Гостей внутри пока что немного, но говор слышен, и он стихнет, когда войдете.

Кто угодно к Лурсу не ходит, а не кому угодно известно, кто ты такой, с предвоенных лет знают тебя, гоголька в дорогих костюмах, бонвивана дивного, запасного кавалериста, пьяницу, наркомана, блядуна, знают тебя отлично, сохли по тебе их жены и дочери, и вотходишь сюда и смердишь немчурой.

Усаживааетесь с Дзидзей за столик, Дзидзя глядит на тебя, как если бы была влюблена, и ты, к таким взглядам привычный, не думая, думаешь, а может, и не думаешь, но начинаешь ощущать ее взгляд, как если бы была влюблена, а ведь не влюблена, нет же, дурья башка, дуралей Костичек, я одна тебя люблю, одна моя любовь настоящая. Она ведь играет сейчас, притворяется, ища скандала. А я сама уж не знаю, что ты, Костичек, знаешь, чего не знаешь. При Дзидзе мир теряет четкость, Костичек, Дзидзя ужасает меня.

Подходит официант, надутый, словно аршин проглотил. Заказываете: два кофе, два коньяка, два пирожных. Нет пирожных. Тогда без пирожных. Коньяка нет. Тогда две водки. Водка есть. Две водки, два кофе. Сорок золотых. Дорого.

Сидите. Дзидзя смотрит на тебя таким неправдоподобным взором, каким больше ни разу на тебя не посмотрит, поскольку это все так, представление только.

Склоняется к тебе и шепчет на ухо, как если б любовные признания шептала. Могла бы шепнуть: хочу тебя. Или, с учетом того, что это Дзидзя, а не ханжа недотраханная, могла бы шепнуть: хочу, чтобы ты во мне был. Или: хочу, чтобы язык твой во мне был.

Но Дзидзя шепчет:

— Сейчас кто-то из них, скорее всего тот, в клетчатом пиджаке, встанет и тактично меня проинформирует, с кем дело имею.

За Дзидзей шаркает кресло. Известный тебе по лицу, но не по фамилии юнец в клетчатом пиджаке и в брюках-гольф, чулках-гольф и в ботинках для лыж, так именно и одетый, встает, робея чутка, чутка нечаянно, однако вполне отчаянно, и подходит к вашему столику осторожно. Смерил взглядом, долженствующим вызывать страх, то есть наморщил брови и прищурил глаза, как в ковбойских фильмах с Томом Миксом, взглядом, не дающим повода для стычки, но декларирующим ее возможность и даже вероятность. Смешным, в общем, взглядом.

Подходит, значит, склоняется к Дзидзе Рохацевич со спины и что-то нашептывает ей в ухо.

Ты его не слышишь, а я слышу, хорошо слышу.

— Барышня, очевидно, не в курсе, но мерзавец, с коим барышня сидит за столиком, это предатель, перебежчик, продал свою польскость и превратился в немца.

Дзидзя смеется и делает знак глазами.

Точно не знаешь, что она имеет в виду, но ведь не случайно всучила тебе пистолет, в данную минуту натирающий тебе пах. Так что привстаешь с кресел, юнец в клетчатом пиджаке напирает, будто рвется в драку, однако ты привстаешь ровно настолько, чтобы выудить кольт из брюк. Выуживаешь, оттягиваешь затвор и с треском отпускаешь, пистолет заряжен. Руку с пистолетом перед собой держи. Глаза юнца расширяются от ужаса, и он потихоньку отступает, шаг за шагом, отступает к своему столику. Дзидзя кидается тебе на шею. Веселится от души, разве тебя не ужасает, как она от души веселится, Костичек, должно было бы ужасать, дурашка, не ведающий, кто тебя по-настоящему любит, а кто тебе враг, дурашка, ничего не ведающий. Ведь не пристало ей веселье до упаду, пристало ей скорбь, сочтена будет курвой немецкой, пересуды пойдут, она же тем временем развлекается, а не пристало.

Понятия не имеешь, чего она добиться хочет, даже не задумываешься об этом, а я задумываюсь, очень задумываюсь.

Кладешь пистолетик на стол. Официант приносит два кофе и две водки, с изысканной аккуратностью ставит рядом с пистолетом. Пьёте.

Заведение приумолкло, но не притихло; напротив, сделалось шумно, шаркают кресла, люди встают из-за столиков, надевают куртки, плащи и накидки и выходят. Зачем они выходят, Костичек, хотя бы объявить тебе бойкот, хотя бы выказать презрение или сопротивление оказать?

Нет, Костичек, они выходят оттого, что боятся. Боятся пистолета, боятся власти, которой ты якобы обладаешь, раз не боишься вынуть в кафе пистолет и шваркнуть им об стол. Власти твоей над ними.

Им неведомо, что это Дзидзя управляет тобой. Удивительнейшим образом, не напрямую, как Орлица или же Инженер.

Дзидзя и сейчас продолжает роскошно смеяться, дивно, для тебя. Выходят. Боятся. А у тебя хер штаны разрывает, но не из-за Дзидзи, а оттого, что они так боятся. Пьешь водку, Костичек, что тебе осталось? Выпьешь водки, затем выпьешь кофе, смотришь, а Лурс и опустел.

И когда Лурс пустеет, взгляд Дзидзи меняется: Дзидзя Рохацевич больше не строит из себя влюбленную Дзидзю Рохацевич, Дзидзя Рохацевич становится просто Дзидзей и глядит на тебя, Костичек, как глядела и в Кракове, и у Лубеньской, глядит своим обычным Дзидзиным взглядом, в котором есть в меру симпатия и равно черствость, и насмешка и благосклонность и равнодушие разом.

— Тебе потребуются серьезные документы. Одной Kennkarte недостаточно.

И без тебя знаю. Знаю, что потребуются серьезные документы, и даже знаю, где и когда смогу их получить. И речь даже не о матери моей Орлице, не из-под ее крыльев я их вытащу, а пойду к послу, попрошу его, обрисую ситуацию, сыграю на жалости, на чем угодно, и через него доберусь, сам доберусь, сам сделаю, мне удастся, мне самому, никто не обязан мне помогать, я один, сам.

— Бумаги будут, — пожимаю плечами.

Дзидзя смеется, машет рукой снисходительно, словно струнит зарвавшегося подростка, само собой, ты легко справишься с тем, с чем не могут взрослые.

Дзидзя пьет кофе, а когда чашка пустеет, не раньше, берется за водку; выхлестывает ее залпом, глядя на тебя с вызовом. Боюсь этой долгоносой бабы, Костичек, боюсь. Ты не знаешь, что еще должно случиться, а я знаю и над тобой, Костичек, плачу.

Позвал, стало быть, официанта, заказал еще две. Жгут желудок водка и кофе.

Официант подает брезгливо, брезгливо ставит на столик, брезгливо и с жалостью по отношению к Дзидзе, в которой видит панну, не подозревающую о моих моральных устоях, пьем, не обращая внимания.

Дзидзя опрокинула рюмку с тем же самым взглядом, как прежде, заказываю, стало быть, еще. Официант, брезгливость, две водки на столе. У Лурса пусто. Выпили. Еще по одной. Дзидзя слегка покраснелась, но вызов повис в воздухе. Сталбыть, продолжаем. По одной, сталбыть. И еще.

Приняли каждый по четвертинке, натошак. Дзидзя давно пунцовая, но с прежней усмешкой.

— Поехали к тебе.

Я пожал плечами. Мое наигранное равнодушие вновь развеселило барышню Рохацевич.

— Ты, видимо, полагаешь, Константин, что этим своим приторным равнодушием ты меня обольстишь? Меня?

Смутился, Костичек, когда она это сказала. Опешил. Смешался. К твоей, Костичек, сущности, разные подходят слова. Тебя легко смутить. Ты быстро теряешь уверенность в себе. Пугает меня эта женщи-

на, Костичек, и хочу, чтобы ты почувал мой страх. Хочу потечь по твоей спине холодным потом. Хочу засосать у тебя под ложечкой, хочу пробежать мурашками, сжать гладкую мускулатуру волосяных фолликулов и проверить, встанут ли дыбом волоски на загривке. Но не смею. Не пугает она тебя.

Пугает она меня, эта Рохацевич. Пугает, а в то же время как-то притягивает, пускай и кажется абсолютно неприступной, гляжу на нее, как сапожник на принцессу, еще немного, и преклонюсь пред ней.

— Никого из тех, кто выказывал мне равнодушие, притворное или нет, не пустила в свою постель.

Врешь, Рохацевич, я знаю, что врешь, а он, дурошлеп, не знает, что врешь, но ты врешь, врешь; ибо, в принципе, конечно, никого, однако с тем исключением, одним-единственным, с первым, который обольстил тебя именно тем, что не пытался обольщать, как пытались другие, в те далекие годы, которые, как ты знаешь, ушли окончательно и бесповоротно, как и твоя невинность, которую отдала ему, и сердце, которое ему отдала, и больше нет у тебя сердца, лежит на его депозите. Боюсь тебя, боюсь твоей силы, боюсь так, как не боялась ни одной из тех баб, которым мой Костичек вручал свое сердце, в кого уставлял взгляд или хуй, а тебя боюсь, Рохацевич.

— Давай еще на ход ноги! — скомандовала Дзидзя.

— Уже полдевятого, — возразил ты.

— Догадываюсь. Ох, летит времечко, правда? — смеется.

Официант, о столик стук, пьете на пустой желудок, кофе и водка, водка с кофе.

В полку была такая забава, забава для подпоручиков, вечный цук, везде цук, цук, дедовщина, всегда, Адам цукал Еву, офицеры гнобили рядовых кавалеристов, только звалось это по-другому, позже в русской кавалерии деды цукали юнкеров и вот так-то оно докатилось до вас, напрямки из уланских полков царя всея Руси, непременно старшие младших, значит, в училище старшие велят молодым залезть на печь, курва, и именовать полки уланские, их дислокации, и журавейки фальцетом, курва, кто с традицией балует, пусть нас в жопу поцелует, так вот, капитаны и поручики молодым подпоручикам, а с наибольшей охотой подпоручикам запаса, бывало: саблю на стол, на длину сабли рюмки с водкой, на острие птифур с жирным кремом, поверх крема селедка. Выпить пред самым ужином, пить без остановок и передышек, мало того, закусить и не сблевать, ибо в том соль уланства: пить, не пьянея. Ужрись, да не силой. Ебись, не женись. Играй, не профукай. Умри, побеждая. Этому вас учили в Грудзёндзе, цука не милосердно, там сидели вы на печи и ты фальцетом именовал очередные полки и их дислокации, а где запасный эскадрон, рыбий хуй? И весь этот цирк с попойками до утра и несением службы трезво и без похмелья, со сметаной с яичным желтком, как по волшебству выводящими алкоголь из вашей крови, стрельбой на стук вслепую, но без смертоубийства, бей, так победишь, так победили вы большевиков, истоки вашей, точнее, той этики суть победа и вера в то, что раз побили вы русских, чего никому в течение двух с гаком столетий не удавалось,

раз вы их побили, то вы, а точнее, эти вот правят миром, историей и всем, что между. Сдохнуть, не профукав.

А нынче профукали, срамота, битву на границе и битву на Бзуре, битву за Варшаву и битву под Коцком, и битву за Польшу и за все остальное, за вашу сраную жизнь, профукали окончательно не далее как пару недель назад, какого, какого же черта профукали, но так или иначе все кончено, нет и не будет больше уланов, немцы вас выебали, русские доебут до конца, или же их самих заебут, третье лицо вместо второго, как угодно душе, Костичек, ты можешь выползти из этого педерастического бардака, но справишься ли?

— Хотелось бы, чтобы ты понял, Костичек, что тебе меня не соблазнить, — говорит Дзидзя. — Ты хорош собой, кто спорит, к тому же в целом интересен и чем-то мне даже нравишься...

И знаешь, идиот, знаешь ли, когда она это произносит, то не произносит этого так, как те девицы, которых ты прежде встречал в том мире, которого нет, а может, и не было вовсе, те, которых ты встречал в столичных притонах, дансингах, кафе и гриль-румах, что разговор с тобой начинали с уведомления, мол, “ради бога, пусть пан не подумает, я не дешевка первая встречающая”, ты же знал, что имеется в виду нечто противоположное, не правда ли, знал? Что те, которые в самом деле не дешевки встречающие, во-первых, не сжиивают поодиночке в дансингах, играясь мундштуком в предвкушении реальной затяжки. А во-вторых, они никогда не сказали бы о себе, что, мол, “не дешевки какие-нибудь”, поскольку это разумеется само собой. На такой женщине ты женился, на Геле гигиеничной, не так ли?

— Ты мне нравишься, у тебя красивые глаза, чисто вылепленный рот, большие, сильные руки и какой-никакой характер. Чуть недотепистый, побитый, потертый, но есть, — продолжает Дзидзя, пробуя пальцем открытую рану. — Пан обер!.. Еще!

Официант, ненависть, стук-постук водка стол пустой Лурс.

— А впрочем, наверное, могла бы?.. — размышляет Дзидзя, смотря на тебя изучающе, будто видит в первый раз. Смотрит на тебя так, как сам ты часто смотрел на женщин. — Пей же!

И выпиваете. Помнишь, как ты смотрел на женщин? А тут вдруг ощутил перебор, в таком-то темпе, с недосыпу, на пустой желудок, перебор, и вдруг тебя крутит так, что ты срываешься из-за стола, Дзидзя смеется, а ты, уже зная, что не добежать, отворачиваешься попросту и блюешь, блюешь жаркой струей водки и кофе, блюешь, отвернувшись.

— И все-таки нет, Константин, все-таки нет. Не легла я бы с кем-то, кто не может выпить с утра.

Столы заблеваны, белые скатерти заблеваны, цветочки, те, что, невзирая на войну, в вазочках, тоже. Кельнер возле, с кислой миной, тих, кроток и ненавидящ разом, будто ты заблевал его самого, а ему выносить это с кротостью. Может, так оно по правде есть.

— И все-таки нет, милый мой, нет, — смеется Дзидзя. — Все-таки не соблазнишь, я не отдалась бы мужчине, который не умеет пить.

Выблевал свою мужественность, силу, Константин, всё. Попытайся убежать от нее. Не выйдет.

Не убегу.

— Идем, одержимая, — сказал ты, Костичек, да что с того, что сказал?

Идете, разумеется, естественно, конечно, идете, только не оттого, что ты сказал, идете, потому что она так хочет.

Значит, идете, выходите, сначала Дзидзя, потом ты, выходите в Краковское предместье, а там расклеивают объявления, на мурах; кисти, клей, клеят со стыдом, со злобой, а как отказаться? Вот и клеят. Останавливаетесь одновременно.

Извещение. “Чрезвычайный полицейский суд города Варшавы извещает о приведении в исполнение смертного приговора в отношении семерых лиц, осужденных за хранение оружия и боеприпасов. Ян Сёкало, бывший староста вонгровецкий. Йозеф Садовский — химик. Станислав Ласоцкий — рабочий. Самсон Люксембург. Мариан Барановский. Нарцисс Гаевский. Виктор Сикорский. Подпись: президент полиции Гюнтер Классен”.

Стреляет их Schutzpolizei прямо под стенами Сейма, но вам это пока не известно. А перед извещением стоит женщина в платке, держит за руку мальчугана лет четырех в красной шапочке, из-под которой выбиваются русые пряди.

Проталкиваете к извещению, женщина тянет ребенка прочь. Я вижу его в сорок лет: шагает по улицам другой Варшавы, большой, красивый, длинноволосый, уверенным шагом интеллектуала, умеющего дать отпор. У него большие русые усы, он никого не боится, ваяет в головах ближних своих фразы и афоризмы, ваяет, читая английские книги, свои же пишет по-польски, ваяет фразы и афоризмы. Позднее, по-прежнему большой и усатый, немного сутулясь, будто перебитый в поясе (плечи по-прежнему прямые), идет не столь быстрым шагом и рассказывает юным и молодым истории настолько красивые, что они просто не могут быть, да и не являются правдой.

Вы видите одну только красную шапку из гаруса, с помпоном, детская ручка тонет в ладони матери, а я вижу все, вижу мощную длань, в которую со временем превратится ручка и на спортивном ковре будет легко сгибать рослых мужчин, после пожимая им руки.

Я вижу всё, рассказываю лишь о некоторых, не важно, есть у меня повод или нет, рассказываю и всё тут, о прочих же молчу.

Итак, к автомобилю. Дзидзя садится за руль, ты рядом, едете, а куда?

— Куда едем? — спрашиваешь.

— Сейчас — к тебе. Горячая вода есть?

— Есть.

— Тогда я в ванную, а ты займешься бумагами для Будапешта.

Никаких сомнений, никаких колебаний, просто отдает тебе приказ и точка.

Приказ. Befehl. Приказ и так точно, гаспадин литинант.

— Курсант-капрал Виллеман по вашему приказанию явился! — кричал ты, а р-руки па-а швам, причем российским фасоном, а не *hab acht* каким-то, русская кавалерийская традиция в Грудзёндзе преобладала над традицией австрийской, поелику была богаче, а также лучше отвечала тому, что вам, полякам, и тем, полякам, казалось духом польского кавалериста, поелику оба кавалерийских этоса, польский и российский, выросли одновременно на почве скорее польских, нежели русских понятий чести и собственного военного достоинства, уже за полтора века до тебя, Костичек, польские и русские кавалеристы великих войн по случаю конца света походили друг на друга, черпая свою дурость, лихость и ложное понятие о жизни из одного корыта, к вящей радости командиров, которые могли отдавать приказы вопреки инстинкту самосохранения.

И так повелось с тех пор. Если русский кавалергард шел *guliat*, он шел по-польски. Если господа офицерство в темноте стреляли друг в друга на стук, один в центре зала с завязанными глазами, как Фемида с револьвером в руке, другие стоят вдоль стен, стучат, а он на высоте плеч палит вслепую, это было по-польски. Когда же ты делал это в казино в Теревовле, когда делал это, мало что соображая, так как был пьян, то делал по-русски.

И если старшие деды цукали вас, зверей-первогодков, то цукали вас по-русски. Ты помнишь об этом, Костичек, правда? Сейчас, когда Дзидзя отдает тебе приказы, Дзидзя Рохацевич.

Ненавижу ее. А ты помнишь. Не с умыслом помнишь, речь не о том, чтобы в памяти перемалывать: ну, всё это, Грудзёндз, нужный тебе как козе баян, но которого так от тебя ожидали, именно от тебя, в то время как Яцек мог оставаться просто врачом, ты должен был стать чем-то большим, солдатом, и не просто солдатом, а уланом или шеволежером, помнишь, как все гордились, когда в первую побывку домой ты пришел в мундире, как скрывали под комплиментами разочарование, полк безусловно почетный, девятый уланский имеет прекрасную репутацию, однако ожидалось, что ты сам пробьешь или постарайся пробить или Орлица постарается тебе пробить назначение в первый шеволежерский, в столицу, шапки круглые как здание Сейма, Венява за столиком в Малой Земянской, гонор, женщины, вино и ойчизна.

— Курсант-капрал Виллеман по вашему приказанию явился! — кричал ты, а пан поручик Жабиньский смотрел на тебя взглядом таким, словно просвечивал тебя насквозь лучами Рентгена, и Дзидзя смотрит на тебя взглядом таким же, словно лучами Рентгена насквозь просвечивает.

— Все пана любят, да, Виллеман? — спрашивал поручик, щуря узкие глаза, зажатые между пухлыми щеками и надбровными дугами.

— Покорно докладываю, что не все, к примеру, невеста пана поручика вовсе меня не любит, поскольку любит исключительно пана поручика! — тотчас восклицаешь с блеском, как положено, чтобы показать, что ты тот еще хват, такова традиция цука, ответить быстро и остроумно и одновременно кротко и задорно. Как есть хватко.

— Тише, мистер Виллеман, — гасит твой энтузиазм поручик. — Я пана не буду цукать. Обойдемся без этих остроумных реплик.

— Так точно, — ответил ты просто с усердием.

— Значит, все вас любят. Красив, как Дымша, умен, как профессор, богатая семья из Варшавы, а как он красиво по-польски говорит. Так выучиться по-польски разговаривать. Стреляет, скачет, лозу рубит, копьём машет. Всё. Правда, пан Виллеман?

— Так точно, пан поручик, — ответил ты уже с испугом.

— Так точно, так точно. Но меня не так легко надуть, пан Виллеман. Я свое знаю. Я знаю таких, как пан. У нас таких, как пан, был грузовой вагон, Виллеман. Так что гляди у меня, пан Виллеман, меня, пан, не обгансишь.

— Так точно.

Он уставился в тебя.

— Так точно, пан поручик, — поясняет.

— Так точно, пан поручик.

— Вон.

Ты выходишь.

От поручика Жабиньского ты вышел на двор казармы резервистов в Грудзёндзе.

Из квартиры ты не выходил.

Дзидзя и ее длинный нос.

Дрожат твои руки.

— Ну же, чего хочешь, ну?

— Тебя.

Дзидзя улыбается, как улыбаются мурены телам рабов.

— Съебал отсюда, Константин. Уже.

Грубое слово у нее на устах. Я ухожу, из собственной квартиры ухожу, изгнанный, ухожу, ушел.

Касаешься стены дома. Тонкий слой шоколада, как пленка жира на поверхности воды, лопается сразу же, рука идет в глубь, там тепло, влажно, что-то пульсирует, что-то хлопает, ты выдергиваешь руку.

Костичек, убегай, убегай от нее, не приходи домой, убегай от этого всего, от Белой Орлицы, от немцев и поляков убегай, от своего отца убегай, где отец твой, Костичек? Убегай из Варшавы, стелись канавами, ползи лесами, змейись болотами, вгрызись в землю и рой подземные коридоры, словно червь, убегай на юг, пока не догрызешься до самой глубокой в Силезии шахты, из шахты рожденный, из угля и стали, в шахту же и вернись.

Иду, ни шатко ни валко, не дыша, иду, день, Варшава, улица, сигарета, холод.

Не иди! Не иди! Беги, единственный мой, беги, любовь моя, беги, спасайся, под землю вкопайся и прогрызись до самой глубокой штольни в самой глубокой из шахт, там обоснуешься навек, там устроишь свою обитель, питаться станешь тем, что принесут тебе горняки в обмен на твою юродивую мудрость, а коли не принесут, станешь охотиться на них, Константин, беги, единственный мой, дорогой мой, удирай отсюда немедленно!

Иду, не знаю куда. К машине.

В авто сел, не отдавая отчета. Вставляю ключик, безотчетно поворачиваю. Стой, а вдруг кто влезет! Блокирую дверь изнутри. Никто не влезет. Ключик. Ведь я уже крутил безотчетно. Подсос. Нет, зачем, двигатель же теплый, стрелка далеко, и зачем. Зажигание, значит. Черт, как здесь зажигание. Есть. Не так, как в опеле. А стартер? Момент, уже знаю, как у Яцека, у Яцека тоже был мастер, только седан и не отдельно, а вместе с дросселем, да. У тех, новее, только отдельная педаль была. У Скварчиньского куплен был тот Яцеков мастер седан. Да. Тот, не этот. Этого не знаю. Безотчетно. Вдавливаю. Зажигание теперь. Мотор работает, отпущу педаль, теперь при втором нажатии включится уже как дроссель, а не стартер. Или нет? Надавливаю, обороты растут. Да. Сцепление. Передача. Еду. Вторая передача. Мотор работает. Крепко. Третья передача и я еду, Пулавская змеится как никогда, раньше была прямой, как рванешь аж до Сколимовской, а теперь змеится.

Когда я в последний раз водил машину? В августе, пока сукины сыны военные не забрали у меня олимпиаду, за три дня до мобилизации конфисковали, еще не конфисковали у всех, а мою олимпиаду уже конфисковали, и Геля сказала: сначала конфискуют у евреев и прочих чужаков, а занят этим какой-то бюрократ, и фамилия ему в глаза бросилась, так в первую волну конфискаций и конфисковали. Нет олимпиады. Есть шевроле. Два месяца тому я в последний раз водил машину тысячу лет назад, а потом умер и родился заново.

Я веду машину впервые. Еду.

Еду. Не знаю куда.

К матери.

К гансам.

К ебням.

Что-то извлекает меня из машины и из одежды, одежда, повторяя форму моего тела, сидит за рулем шевроле пиджак жилет рубаша брюки галстук часы отцовские на запястье, перчатки стиснули руль, а я нагим парю над улицей, подвешен на невидимых стропах, и смотрю на шевроле, как он идет, и на людей, как они идут, и на телеги, как они ползут, и на людей, как они ползут, что-то нехорошее с Варшавой, чую морозный воздух на брюхе, на хере, на пальцах ног, добрый Боже, добрый черный боже, возьми меня отсюда во второе царство смерти, в царство смертных грез, где ни света нет, ни тени.

Парю. Перед машиной, которая едет и в которой я нахожусь, не находясь в ней, перед этой машиной на дороге возникает фигура.

— Тормози, Костичек, тормози, иначе ты задавишь человека, — кричу я себе, в этой машине не находящемуся, кричу сверху, *slamavi at te*, я взывал к тебе, слушай голос мой, когда сверху я взываю к тебе, Виллеман, я, стража рассвета.

Константин тормозит, вижу, что тормозит.

Тормозит, Костичек, без паники, Константин тормозит.

Торможу слишком поздно, фигура в шинели прыг перед машиной, шевроле танцует на заблокированных колесах, думаю, отпущу

и попробую объехать или заторможу, но не отпускаю, все же нет, шевроле танцует на заблокированных колесах и в конце вот он, вижу его вблизи, офицерская шинель перетянута ремнем, что-то блестит на голове, удар.

Не так крепко. Будет жить.

Выскакиваю из авто, лежит, копошится, помогаю мужчине встать.

Я его знаю.

Знаю ли я его? Я знал ротмистра Хохол, но разве имя, разве имя, человек, который является следствием ротмистра Хохол, то есть тем, чем ротмистр Хохол является сейчас, в субботу двадцать первого октября тысяча девятьсот тридцать девятого года в, отцовские часы, тринадцать двадцать семь, разве является этот человек ротмистром Хохолом, или, скорее, ротмистром Хохолом он являлся только год назад, а сейчас уже не является?

Так что хотел бы я сказать, что не верю своим глазам или нечто похожее, говоримое в обстоятельствах крайнего удивления. Но я не удивлен. Меня ничего не удивляет. Я верю своим глазам. Я не верю миру, но глазам своим я верю. Они многое повидали и увидят еще больше.

Ротмистр Хохол, эскадрон крупнокалиберных. А вроде он был должен прорываться на юг, не сложив оружия. Шинель очень грязная, стянута, но не ремнем, а шарфом в клетку, завязанным, как слущкий пояс, и сильно короче. На голове корона из картона, обернутого фольгой, во многих местах уже продранной. На шинели болтается Virtuti, долбленки на ногах, насажены на что-то подобное онучам толстой шерсти. Рядом с Virtuti две круглые серебряные медали: я приглядываюсь, уже держа его за плечи, это не медали, одна это жетон смерти, польский бессмертник на яркой ленточке. Другая — крышечка от баночки с презервативами, алюминиевая, немецкая. Hygenischer Gummischutz Dublosan, Берлин-Нойкёльн. Фиолетовая лента с длинным спутанным локоном на ней, будто содранная с девичей головы вместе с волосами.

— Пан ротмистр... — говорю, чтобы сказать.

Хохол поправляет корону из фольги.

— Меня зовут Ян Хохол, и я... — забывает продолжение.

— С паном все в порядке, пан ротмистр? — спрашиваю, осознавая абсурдность этого вопроса.

— Меня зовут Ян Хохол и я! — отвечает он, сияя.

Фиксирует корону.

— Мне пора.

Я пытаюсь ощупать его, проверить, не течет ли где кровь, не сломано ли чего, но он вдруг вырывается, достает из кармана книгу, я узнаю эту книгу, роман с лицом старика на обложке, его роман, ветхий, рваный экземпляр, полк гордился тем, что ротмистр Хохол из эскадрона цекаэмов является писателем, издательство Rój, 1937 год.

Стиснул книгу в правой руке, будто пистолет, и целит из этого пистолета в меня.

— Ни шагу дальше, иначе стреляю, — остерегает он с тем же выражением лица, с каким некогда рычал на свои пулеметы: “Короткими очередями — огонь!”.

А вокруг нас скопище, настаивается, скопище сборище толпища, одоленная сборная солянка варшавская и, может, не только варшавская, кто их там знает.

Я знаю.

— Это одержимый, пан, — интеллигентно поясняет торговка, ставя на лишенный девственности тротуар две большие сумки с товаром.

— Это польский офицер, — отвечаю. — Ротмистр девятого Малопольского уланского полка. Я служил с ним.

Скопище сборище замолкает. Торговка. Жидок, очень маленький и худой, несмотря на это некрасивый и, как будто этого мало, вдобавок в очках. Дамочка, два хлеба в торбе. Подросток в кепке.

А я их вижу, Костичек, вижу их, как сквозь узкие туннели материнских утроб они протискиваются к свету мира, и как из мира сквозь другие туннели они протискиваются во второе царство смерти от пуль от старости от огня и вижу их неподвижными в движении и тебя вижу и тебя люблю, Костичек, и я боюсь, что ты отворишься от меня, Костичек, а я хотела бы, так хотела бы, чтобы вы поняли, чтобы знали все, что вы равны камням этого города и воробьям и голубям и крошечным камушкам в большой, переливающейся кровью и смертью мозаике. Нету здесь воды, а только скала, скала и никакой воды и песчаная дорога и горы и утесы и никакой воды и в дороге нельзя ни стоять ни думать, пот сух и тонут ступни в песке, таков мир, исхоженный мною, второе царство смерти, царство смертных грез, я та третья, которая идет за вами там, где вас только двое, я иду за вами, над вами и в вас в сухом царстве смерти по-над вами, я и мои товарки по грезам. Ночные работницы.

Боюсь, что ты отворишься от меня, Костичек.

Я вижу Хохол в станиолевой короне, и Хохол не мой, не мой. Зато ты мой.

— Пан ротмистр, могу ли как-то пану помочь? — спрашиваю я. Хохол внимательно за мной наблюдает.

— Подпоручик Виллеман. Помнится, мы сидели в трактире в Тербовле... — отвечает он неожиданно трезво, не считая того, что с ротмистром Хохолом мы ни разу ни в каком трактире не сидели, когда я стажировался в полку, его там не было, а за спиной у нас лишь трактир боевого пути, ни корчем, ни постоялых дворов, ничего, пути полка судьбы рука уйти пока просрация прострация войны континуация вербигерация абоминация.

Тихо тихо мозг без розог пусть утихнет мозгу лихо нет.

Ни разу ни в каком трактире. Что с ним, зачем вместо того, чтобы прорываться на юг, биться с немцами, зачем он здесь, обезумевший, потерянный, в шинели, подвязанной шарфом, с книгой вместо личного оружия?

Что с ним случилось, что его перемололо?

Сосредоточься на себе, счастье мое, любовь моя, вернись в себя. Ты должен.

— Пан меня понимаешь, пан Виллеман. Никто меня не понимает, только пан.

— Пан ротмистр, — говоришь ты. — Пан ротмистр, сядем вместе со мной в машину, я помогу пану.

— Не могу сесть вместе с паном в машину. То не моя история. Меня зовут Ян Хохол и я последний король Польши, — отвечает он.

Он поворачивается и пробирается через это мелкое скопище сборище и отходит, нет, отбегает, начинает бежать, стуча долбленками как подковами, рысью марш, галопом марш, с места в карьер марш-марш-марш стук-стук-стук и на юг лужи реки океаны, коль зовет труба улана стук-стук-стук и каюк.

Отгалопировал ротмистр Хохол туда, откуда пришел.

Не была случайной ваша встреча, ибо нет ничего случайного, поскольку случайно всё. И никогда тебя не отпустит эта мелкая, мучительная мысль: зачем он, зачем ротмистр, командир эскадрона цекаэмов.

— Ты как целишься, идиот патентованный, как? — орет ротмистр Хохол, орет под немецким огнем, отталкивая наводчика от его раскоряченной, как страшное насекомое, машинки. — Каков был приказ?

Любой другой сказал бы: “манда православная жидяро вонючее чивуль познанский или рыбий хуй сукин сын грязный жирный недоносок как целишься”, но ротмистр Хохол всегда лишь: “патентованный идиот”, и отталкивает идиота от затыльника, устранивает заклинение, ты смотришь как загнипнотизированный, круглые очки ротмистра Хохола и его пальцы сосредоточенные, аккуратные.

— Курсант Виллеман! Как устранить заклинение пулемета образца тридцать? — рывкает вахмистр Зембала, и это Учебный Центр Офицеров Запаса в Грудзёндзе.

Не здесь, опять ты не здесь, да где, где ты, Костичек, сейчас октябрь, или сентябрь, или апрель?

Эпохи сплетены в косицу, но лишь для тебя, я-то все вижу незаплетенным, как если бы передо мной была лента, и вот ты тут сразу ты там и ты тут и ты тогда и ты сейчас тут.

— Заперев канал ствола, правой рукой отвести защелку крышки затворной коробки в сторону рукояти, левой рукой взявшись за основание прицела, открыть крышку затворной коробки, — возвещаешь ты, вставши во фронт, по мерке хвата.

— А что дальше? — спрашивает вахмистр Зембала.

— Дважды потянув рычаг затвора назад, убедиться, что камора пуста, снять ленту. Закрыть крышку затворной коробки и освободить ударник, нажав на спусковой крючок. Поставить оружие на предохранитель, большим пальцем левой руки перемещая рычаг под спусковым крючком.

— А что дальше? — спрашивает вахмистр.

— Дальше заряжать и шарашить по врагу, пан вахмистр!

А потом проходит вся твоя жизнь, и уже война, а не Грудзёнц, и ты смотришь, как ротмистр Хохол — не вахмистр Зембала — руками, которые не вяжутся с оружием, руками, которые не должны держать оружие, уже устранил заклинение, уже зарядил, дернул рычаг дважды и теперь целится, правая ладонь на рукояти затыльника, спусковой крючок вверх, правая на винте вертикальной наводки, будто он вообще не с пулеметом работает, а взял скрипку. Прицелился, зажал высоту и шарашит, водя стволом, восходящую гамму.

А теперь стук-стук и каюк долбленками в варшавской солянке. И свернул куда-то и исчез и нет его и ты здесь один и мелкое скопище сборище.

— У моего отца уже давно машину забрали, еще поляки перед войной забрали. А пан на машине гарцуешь? — спросил жидок нагло.

Глядишь на него дураком, ну что ответить человеку на краю пропасти, не диво, что забрали, когда бы не забрали, то Гитлер бы забрал.

— Жидкам больше слова не даем. Намололи достаточно при снаторках, — сообщила в пространство барышня с хлебом в торбе. — Но диво, что пан так на авто, а тут немцы. А?

— Закрой харю, пани. Мой отец говорит, что под немцами хотя бы порядок будет, не то, что у вас в этой страничке говняной, — говорит маленький жидок.

— А пердольте-ка вы по-хорошему, — отвечаешь ты, и хорошо отвечаешь, правильно отвечаешь, любовь моя.

И я возвращаюсь к машине и вот я уже в себе в своей одежде, это я и еду по городу и куда еду?

Куда? Куда? Вот именно, куда? К матери, к гансам? Что я ей скажу? Что мне нужны документы, что я должен ехать в Будапешт, что не поеду до Будапешта через театр войны с одной Kennkarte, а еще Дзидзя, еще надо взять Дзидзю, даст мне или не даст мне мать документы, даст мне или не даст мне, Дзидзя, ясное дело.

Остерегись этой женщины, Костичек. По улице едет грузовик, в кузове грустные немцы едут солдаты каски винтовки шинели грустные.

Люди идут евреи идут поляки немцы все идут куда-то чего идут могли бы стоять? К матери нет к матери нет к матери нет. Нельзя к матери.

Дурашка, неужто не понимаешь? Она одна может спасти тебя от Долгоносой. Она одна: мать. Не понимаешь? Как только она узнает, то вырвет тебя из лап этой чудовищной женщины, которой я боюсь, ибо чудовищная женщина эта может дать тебе свободу, ты-то знаешь, Костичек, свободу. Не понимаешь? Может дать свободу, которой ты не хочешь, в которой не нуждаешься, ну что ты с ней поделаешь, коли получишь? Не понимаешь?

Я понимаю, я-то все понимаю. Это не я, при ней я чувствую себя кем-то другим, не собой, но кем-то лучшим, при Дзидзе.

Не могу поехать к матери.

Ты должен поехать к матери. Орел приютит тебя под своими крыльями на груди иссохшей, но материнской, приютит, приголубит и спасет.

Поеду к отцу. К отцу поеду.

Где он, где же он? Где же я?

А ты уже в Жолибоже, детства твоего улицы, Костичек, матери твоей вилла, ты к ней, может, ехал, но улицы детства миновал, путь в школу, книжки на спине, мостовую ты проехал и дальше, Маримонт, Беяны.

Константин, что с тобой творится, говорю я сам себе, себя я вижу на небесах и тебя. Что со мной творится, говоришь ты сам себе.

Ты тормозишь шевроле, справа лесок, Маримонтский, а целый город где, где город, как ты через него проехал, отчего не видно, как ты ехал, отчего ты не помнишь, а ротмистр Хохол, он где, ты его где не переехал едва, где толпилось скопище сборище, на Мокотове еще или уже в Средместье, или то была Пулавская, или Уяздовские, или Бонифратерская, раз жидков много, то, может, Бонифратерская, Нове Място, еврейми пруд пруди, а может, возле Симонса, слегка подразбомбленного, но, однако, где это было, нигде это было, было, но нигде, на улице, которой нету, но нету ли ее в большей мере, чем нету Пулавской, нету Уяздовских, Бонифратерской, Пассажа или твоей Мадалиньского, в мере большей, нежели твоего дома из шоколада, Костичек? Сам себя спрашиваю. Сам. Себя. Спрашиваешь.

Ты должен поехать к матери, Константин. В Немецкий Клуб. Развернись. Езжай. Езжай на Фредро. Она сидит там, за конторкой сидит, в мундире, перо в руке, на столе бумаги. Езжай. Мать тебя спасет. От Долгоносой Рохацевич. От Дутого Инженера, что в цифрах путается. От себя самого, в конце-то концов.

Поезжай к матери, Константин.

Где же она, в Немецком Клубе на Фредро, в клубе, что был закрыт весь сентябрь, а потом с помпой открылся, когда его час пробил, и там она перенесла последнюю линьку. Она сидит за бюро, перо в ее сухих пальцах, на столешнице глянцевая бумага, подписано, промокашка. Шкура, в которую она оделась в лечебнице в Рыбнике, начала облезать, когда Бальдур вернулся с войны; теперь линька завершена, нет больше девушки, из-за решеток сумасшедшего дома в Рыбнике соблазняющей врача для себя и для Польши, которой нет, и той Польше, которой нет, отдающей наперекор и назло и ради извращенного лукавства и в силу сумасшествия, носившей эту шкуру лет двадцать, а теперь сбросившей.

А ты этого не разумеешь, Костичек, не разумеешь, что кожа — не вся она, что мать твоя одинакова внутри разных кож, она неизменна и лишь примеряет иной наряд, этого ты не разумеешь. Но поезжай к ней, может, откроется тебе, может, благодаря ей уразумеешь.

Езжай.

Где я? Маримонтская, Беяны, Центральный институт физического воспитания. То есть Академия физического воспитания Юзефа Пилсудского, с прошлого года. То есть я не знаю, что сейчас,

вряд ли Академия физического воспитания Юзефа Пилсудского. Ничего сейчас. Стены, которые немцы наполнят сутью, если захотят. Немцы — это мы? Нет.

Разворачиваюсь. Еду. К матери. К матери? К гансам, в Клуб еду. Вокруг кольца “пятнашки”. Еду в сторону Средместья. На юг. В Немецкий Клуб. К матери.

К матери?

К ней.

Я не вижу улицы, кто-то другой видит ее моими глазами. Кто же третий, что вечно идет с нами? Стоит мне перечесать, нас лишь двое, ты и я. А стоит глянуть вперед в белизну дороги, там вечно кто-то другой, идущий подле тебя. Руки стиснули руль, не вижу улицы, ничего не вижу.

Площадь Инвалидов, площадь Мицкевича, Гданьский вокзал.

Что со мной творится? — спрашиваю кого-то другого.

Пешеходы, трамвай идет и подводы.

Женщина в сером плаще тащит ручную тележку, на тележечке узлы, тащит и тяжело ей, никто не поможет, помощь не полагается, тащит и тяжело ей, а волосы у нее при этом светлые, почти белые, мечта национал-социалиста, такие волосы не полагаются женщине, которая тащит тележку, кто и когда видел блондинку с лотком на рынке или в фартуке горничной, блондинкам такая жизнь не личит, а эта тащит ручную тележку и тяжело ей.

Миную ее, еду медленно, смотрю с ужасом, наши боли, наши взгляды встречаются, я ожидал увидеть взгляд мутный, потерянный, отчаянный, взгляд невесты повешенного повстанца, он в венгерке, замаранной слюной висельника, а на ней черное платье, бижусь из железа, такой я ожидал увидеть ее, мою Гелю ожидал я увидеть, а у этой взгляд суровый, злой, купеческий, не как у Гели.

Как у Саломеи. Саломея сумела бы с лицом леди тащить тележку с узлами.

Она смотрела на меня с ненавистью, поэтому я продул жиклеры и рванул дальше, дальше, в Немецкий Клуб, к матери своей к матери своей к матери своей.

Но я не свернул на Долгую. Зачем не свернул на Долгую? Так может быть удобнее, не сворачивать на Долгую, а дальше, по Медовой, затем на Трембацкую. Так лучше?

Не сворачиваю на Трембацкую. Зачем?

Еду дальше по Краковскому.

Еду по Новому Святу. Только по главным улицам.

Зачем? Уяздовские, Уяздовский парк, госпиталь, Яцек в госпитале или дома, тонет в черноте или в госпитале людей штукует и штопает?

Уяздовские. Зачем? Мотоциклетный патруль.

Шуха. Съезжаю на Шуха.

Куда ты едешь, я знаю, Константин, я знаю, куда ты едешь, но не знаю, зачем, я не хочу, чтобы ты туда ехал. Я знаю, зачем, все-таки знаю. И как раз таки не хочу.

Не езжай туда, Константин.

Зачем на Шуха?

Зайти что ли в здание министерства, где сидят теперь немецкие тайняки, откуда я вытащил Игу или вернее откуда мне выдали Игу я получил Игу я не вытаскивал Иги я получил Игу ничего не сделал получил забрал домой подлец рыбий хуй сукин сын дрянь.

Я торможу шевроле, вылезаю.

Перед министерством караул: шинели, португеи, винтовки.

А я не туда, я налево. В генеральский дом. Как раз в генеральский дом.

Отче. Отче!

Иду.

Не ходи! Иди к матери, Костичек, не ходи к нему, иди к матери, к матери поспеши, не ходи к нему, не ходи.

Идешь.

Самоубийство Валерия Славека, здесь. Браунинг, дыра в виске, смерть в больнице, совсем недавно, все газеты об этом писали и сплетнями кишели кофейни: зачем? А это на самом деле самоубийство?

— Какое самоубийство, помилуй, какое самоубийство! — ораторствовал твой тесть, чью метку ты носишь на лице. — Никакое не самоубийство. Бандиты, и методы бандитские, гангстерские. Добивают пистолетами, ножами!.. Гангстерская власть. Плакать не стану!

Ты тоже не стал, но не из эндецких соображений, ты едва пробежал глазами газеты, ну чем бы заинтересовал тебя некий Славек, у тебя были свои интриги в Земянской, у тебя были Геля и Юрчик, и фонды для освоения, и Саломея, и любовницы, и рисунки, и Яцек, Ига, их вечные проблемы, он меня не понимает, все время работает, чего она от меня хочет, чтобы я не работал, или ехать в Закопане на зимние каникулы или не ехать?

А летом, в мертвый для публичной жизни сезон, тогда куда? На курорт? В Париж? В Венгрию на машине? Может, устроим из этого ралли, в автоклуб топ-топ и по рукам, в газетах статьи и фото, такие милашки автомобилисты в каскетках и брюках-гольф, пыль романтики, пионеры современности.

Автоклуб недалеко, тут, чуть подальше. Мог бы пойти в автоклуб. Интересно, что слышно в автоклубе.

Но я не иду в автоклуб.

Я не иду в министерство. Я захожу в генеральский дом, где не осталось ни польских генералов, ни их вдов, ни их жен, ни их дочерей, ни сыновей любовниц служанок лакеев денщиков адъютантов камердинеров кучеров шоферов, ни их теток, ни кого-либо еще. Ну, может, мундиры висят еще где-нибудь по шкафам. Может, висят.

Перед парадным караульный, как и перед министерством.

— Sie wünschen?¹

— Я изволю к... — ты вдруг не знаешь, как его величать. Что у него за ранг? Что за ранг может быть? Может, никакого? Кто он? Есть ли он вообще, здесь ли?

1. Куда изволите? (Нем.)

Но он же сказал в Адрии: на Шуха. Sechzehn.

— Zu wem?.. — спрашивает часовой, человек, которого нет.

— Ich will zum Herrn Strachwitz.

— Und wer sind Sie?¹

Достаешь документы. Kennkarte свою достаешь, караул тщательно ее разглядывает, тщательно складывает, возвращает.

— Treppe hoch, dritter Stock².

Идешь, стало быть. Ты всходишь, а по лестнице сносят Валерия Славека с пробитой головой, и это, в принципе, выход, правда, Костичек? Лучше, чем тот, что ждет тебя здесь, лучше того, чем ты пытаешься стать, лучше, нежели попытка отвлечься от собственной матери, кульминация подлости, хотя это она дала тебе жизнь и воспитание, она сотворила тебя тем, кто ты есть.

Потерянным, смутным полутрупом сотворила меня моя мать, вымеском без души и родины, без сердца в груди, а то и с двумя сердцами, мишлингом бастардом подкидывшем никем.

А кем я мог быть, кем-то я мог быть, она по крови немка, мой отец по крови немец, я тоже мог им быть, когда бы не ее безумие и не тот чертов психиатр, о котором она мне рассказывала, не скупясь на малейшие детали.

Дверь. Стою перед дверью, не знаю, постучать ли. Я не стучу.

Дверь открывается, за дверью отец. Я не стучал.

— Ich habe dich auf der Treppe gehört. Ich habe gehört, wie du geweint hast und mich und die Mutter gerufen hast³.

Он это сейчас говорит или не сейчас. Он это тогда сказал.

— Ich habe dich auf der Treppe gehört. Я услышал, как ты плакал. Komm rein⁴.

Он это сейчас говорит. Вхожу.

Лицо. Рубашка без воротничка, манжеты отстегнуты, брюки, подтяжки, тапочки. Перстень с печатью. Квартира гола, что алтарь перед Пасхой. На стуле в спальне мундиры, кипа зеленых, как у меня был зеленый, сапоги и ботинки, галифе с лампасами, они их не брали с собой, и две сабли в блестящих ножнах и рогативки с лакированными козырьками.

— Ein polnischer General hat hier gelebt, — говорит отец.

— Ich weiß.

— Warst du im Krieg?

— In der Kavallerie. Ich war Unterleutnant im 9. Regiment der Ulanen⁵.

— Младший лейтенант?.. — удивился отец. — Что-то вроде фендрика?

1. К кому?.. — Я к господину Штрахвицу. — А вы кто? (нем.)

2. Вверх по лестнице, третий этаж (нем.).

3. Я услышал тебя на лестнице. Я услышал, как ты плакал и звал меня и мать (нем.).

4. Я услышал тебя на лестнице... Входи (нем.).

5. Здесь польский генерал жил. — Я знаю. — Ты был на войне? — В кавалерии. Младший лейтенант в 9-м уланском полку (нем.).

– Нет. Так в польской армии называется низшее офицерское звание

Подпоручик. Unterleutnant. Er entspricht unserem... eurem Leutnant.

– Ich verstehe. Hast du gekämpft?

– Ja, bei den MGs. Sie haben mir eine Auszeichnung gegeben. Крест Храбрых. Das heißt, ein Verdienstkreuz.

– Ich weiß, was das bedeutet. Setz dich¹.

Садимся за стол, отец приносит водку и два стакана, наливает по чуть-чуть, на один палец.

– Hier gibt es überhaupt keine Schnapsgläser. Er war wohl Nichttrinker...²

Беру бутылку, доливаю оба стакана, на половину, на три четверти, хотя я-то сегодня уже пил, но никак уже не вспомню того алкоголя, будто его в помине не было, поэтому доливаю, половину, три четверти.

– Gut, dass du gekommen bist³.

Сидим.

– Папа, ich bin kein Deutscher.

– Ich weiß. Mich geht es überhaupt gar nichts an⁴.

Сидим. Пьем водку. Отец по чутка, прихлебывает изнасилованным войной ртом.

– Gut, dass du gekommen bist.

Наливаю по новой. Молчим. Пьем. Наливаю.

– Ich nahm die Staatsangehörigkeit des Reiches an. Aber ich bin kein Deutscher. Ich arbeite für so eine polnische...⁵ Организация.

Отец кивает.

– Gut, dass du gekommen bist, – повторяет.

– Ich brauche deine Hilfe⁶.

Отец улыбается, не глядя на меня. Наливаю водки, выпиваем. Говорю, в Будапешт, мол, должен ехать. Машина есть. У меня, мол, Kennkarte, но я еду еще с одной, у которой совсем документов нет. Польша, шляхтичка. Отец в молчании кивает и жестом просит, чтобы я встал.

Я встаю, но не так, как встал бы, вели мама мне встать. Даже произнеси она это по-немецки, все равно не так. Папа стоит передо мной, ко мне близко, его тощее тело в паре сантиметров от моего, его жуткое лицо-не-лицо пред моим лицом, я вижу шелуша-

1. Младший лейтенант. Соответствует нашему... вашему лейтенанту. – Я понимаю. Ты участвовал в боях? – Да, в пулеметном. Они меня наградили... То бишь крест “За заслуги”. – Я знаю, что это значит. Садись (нем.).

2. Здесь нигде нет стопок для водки. Похоже, он был непьющим... (Нем.)

3. Хорошо, что ты пришел (нем.).

4. Папа, я не немец. – Знаю. Меня это вообще никак не касается (нем.).

5. Я принял подданство Рейха. Но я не немец. Я работаю на одну такую польскую... (Нем.)

6. Мне нужна твоя помощь (нем.).

щуюся ткань на безволосых шрамах, это кожа, то, чем зарастают шрамы?

Отец внимательно наблюдает за мной из-под сомкнутых век, которыми медленно, как бы с усилием, моргает. Касается руками моих плеч, боков, живота, очень тонко, это не объятия и не ласка. Он ставит ногу рядом с моей ногой.

— Ja, gut, es wird passen¹.

Он идет к шкафу, чьи старые потроха вывалены на стул, зеленые и блестящие, как ножны сабель, и черные, как голенища сапог. Открывает шкаф. С вешалки снимает серую куртку, брюки, рубашку, с полки берет носки и черные сапоги.

— Ziehe es an².

Я ни о чем не спрашивал. Снял обувь, снял пиджак, галстук, растегнул рубашку и брюки и остался в одном белье и носках.

— Die Unterwäsche auch, hier hast du frische, noch unbenutzte. Und Socken³.

Что ж, раздеваюсь, не стыдясь его взгляда, но стыдясь своего тела, не его уродства, поскольку тело-то у меня красивое, даже от животишка на войне избавился полностью, но именно того, что оно красиво, безусловно, ничем не повреждено, не изнасиловано.

А он смотрит на меня.

Он смотрит на тебя, и так мне боязно, Костичек, боязно мне за тебя и за то, что он может сделать с тобой. А он глядит на тебя, как если бы он глядел на себя, себя он видит в твоих узких бедрах, в ладных узлах мышц, в исхудалом животе и крепких ляжках, в коже безупречной и чисто выбритых скулах.

Он глядит на тебя без жалости и без зависти, глядит на тебя с любовью, и это есть своелюбие, как всякая родительская любовь. Никто из вас этого не признает, но любовь к плодам чресл своих есть своелюбие, самих себя любите в ваших детях, хотя кажется вам, что это наиболее благороднейшая из любовей, а это чистый эгоизм.

Бальдур фон Штрахвиц смотрит на своего нагого сына и сам не знает: говорит ли он это или только думает?

А ты, Константин, слышишь ли слова своего отца, от коего ты отрекся?

Бальдур говорит или только думает, Кришна говорит Арджуне: лучше своя дхарма, даже наискромнейшая, в которой и смерть хороша, нежели чужая, даже наидостойнейшая. Научился этому, это он знает лучше, чем свои силезские легенды.

Какова твоя дхарма, кшатрий?

Задаст тебе вопрос, называет тебя санскритским, старым словом: кшатрий. Воин.

Ты, Костичек, кшатрий ли ты, ведь ты сражался, стрелял, саблей машучи, поднимал в атаку, ободрял опешивших, воодушевлял

1. Да, хорошо, подойдет (нем.).

2. Надевай (нем.).

3. Исподнее тоже, вот свежее, еще не ношенное. И носки (нем.).

примером, выкрикивал приказы, но кшатрий ли ты, или ты прежде всего исполнял чужую, славную дхарму, в которой ни жизнь, ни смерть не имеют никакой ценности?

Ты не кшатрий, Костичек. Ты порван напополам, ты только боль и отчаянная тоска и пустота и нету тебя, так как ты можешь кем-нибудь быть, когда тебя нету, Костичек?

Вижу тебя, сыне, говорит или думает Бальдур фон Штрахвиц. Говорит или думает? Вижу тебя, сыне. Ты есть. Живи своей дхармой.

Стоишь нагим. За тобой твой отец. Перед тобой большое зеркало, в нем твоя нагота.

Твой отец подает тебе приданное нижнее белье. Ты надеваешь. Затем стально-серые кавалерийские галифе, на бедрах обшитые темной кожей, затем длинные носки, рубашка, подтяжки, серо-зеленая куртка. Воротник застегивается на крючки под шейей. Пуговицы. Ремень. Маленькая кобура с пистолетом, тяжелая, внутри наверняка седьмой калибр.

— *Damit gibst du lieber nicht an*¹, — усмехаясь, отец отстегивает награды с твоей груди, силезского орла, за ранения, Железный Крест первого класса. Оставляет на пуговке ленту второго класса, извлекая из нее лишь золотую булавку, значение которой ты не знаешь. Кладет тебе эти ордена и медали в карман куртки, тщательно застегивая пуговицу. Потом подает тебе обуться, ты садишься на стул, отец помогает тебе натянуть высокие сапоги со шпорами, делает это четко, как порядочный денщик.

— *Na gut, dann sehe dich im Spiegel*².

Ты смотришься в зеркало, в которое смотрелся польский генерал. Может, Валерий Славек? Ты не знаешь, в какой квартире он застрелился, может, в этой. Нет, не этой, но ты этого не знаешь, Костичек, так что для тебя, может, и в этой.

В зеркале ты видишь немца в мундире, идеально скроенном мундире. Портной как будто снимал мерку с тебя, а не с твоего отца. Шкура, снятая с отца. Серая куртка, темно-зеленый воротник. *Waffenfarbe grau*. На погонах из плетеного шнура две звездочки.

На миг я задумываюсь: значит, гауптман. Капитан. В нашей армии три звезды, а тут две, но побольше, и этот белый шнур. Между звездочками вензель из трех букв: *GFP*. Не знаю их значения. На левом рукаве черная повязка с вышитой белой надписью, поднимаю руку, читаю: *Geheime Feldpolizei*. Вензель делается понятен.

Все это на мне, но вне меня. Моя одежда сливалась со мной. Даже форма, которую я носил с неохотой, польская форма, сливалась со мной. А это всё, оно меня не касается.

— *Löcher im Staff, wo die Auszeichnungen gesteckt haben, könnten dich leicht entlarven*³, — волнуется Бальдур, в штатских штанах и

1. Этим лучше не щеголять (*нем.*).

2. Ну вот, теперь глянь на себя в зеркало (*нем.*).

3. Дырки в материи от наград легко могли бы тебя выдать (*нем.*).

рубашке, слегка подыспачканной, сейчас, когда он хлопочет вокрут тебя, встревоженный ординарец, это лезет в глаза.

Я двигаю рукой, мундир движет рукой. Я улыбаюсь, улыбка подле мундира.

Отец трет щеткой грудь мундира на твоей груди, дырочки от наград делаются менее отчетливы. Потом оставляет щетку, вынимает пистолетик из кобуры на твоём левом бедре, вынимает магазин, проверяет патронник, прячет пистолет обратно тебе на бедро.

— Ich habe noch eine andere Waffe, eine private¹, — говорит в оправдание. На комодке лежит пистолет в большом деревянном футляре.

— Это... тот маузер? — спрашиваешь ты, вспоминая круглую ручку перед твоим лицом, в Каттовице, когда ты в последний раз смотрел на отца глазами ребенка.

Отец соглашается. Сажает тебя за стол, из коричневого портфеля, застегнутого на две пряжки, выгребает документы и говорит. Говорит. Говорит голосом, измятым войной.

Подает их тебе. Фельдполицайкомиссар Baldur von Strachwitz. Военская книжка. Зеленый пропуск, на нем два фото, в мундире и в костюме, оба с надкушенным лицом.

Wenn ihr eine Organisation habt, dann kann dir vielleicht jemand заменить фотографию, die Stempel fälschen. So eine Person habt ihr bestimmt².

Диск серебристого металла на ремешке, подобный жетону смерти, только с одним отверстием, и его не переломишь. Значок. Верховное командование сухопутными. Тайная полевая полиция. 2553. С обратной стороны армейский немецкой орел, свастика в когтях. Обычно этого бывает достаточно, мало кто имеет право требовать бумаги после того, как ты представился диском. И не представляйся никогда, всегда рычи просто: Geheime Feldpolizei. И диск. И это ты можешь от них требовать бумаги, понимаешь? Неважно, в мундире или в костюме. Но в мундире ты будешь убедительнее. Понимаешь?

Слова звучат в голове по-польски. А ведь по-немецки он к тебе обращается, по-немецки.

— Verstehst du?³

Розумешь. Их ферштее.

— Papa. Für so etwas werden sie dich doch hinrichten⁴.

— Они меня не расстреляют, — улыбается он. — Ziehe dich um und geh schon⁵.

Пока ты застегиваешь рубашку и вяжешь галстук, он заворачивает мундир, шинель, документы и оружие в солидный, ловкий пакет,

1. У меня есть и другое оружие, личное (нем.).

2. Раз у вас организация, то, наверно, кто-то сможет... подделать печати. У вас наверняка есть кто-нибудь такой (нем.).

3. Ты понимаешь? (Нем.)

4. Папа. Они же казнят тебя за такое (нем.).

5. Не казнят. Переодевайся и иди давай (нем.).

в большой пакет, в твой пакет, жизнь свою он оборачивает коричневой бумагой и завязывает шпагатом, как дотошный приказчик.

— Ich bringe dich nach unten, mein Sohn¹. Важно, чтобы вахтер видел нас вместе, когда ты будешь выходить.

Розумешь? Ты уже уразумел, Костичек?

По лестнице вниз. Я пьян. Пакетик. Отец провожает меня до дверей и выходит со мной на улицу. Такой маленький и невысокий, намного меньше меня. А мундир подходит, однако. Стоим лицом друг к другу какое-то время. Я пьян. Отец кладет руки на мои плечи, обнимает и приникает ко мне, его шрам у меня на щеке. Он очень молод и очень стар одновременно.

— Geh schon. Das reicht mir. Geh², — шепчет.

Сажусь в авто, хлопаю дверь. Пакетик с мундиром и оружием моего отца на пассажирском сиденье, рядом. Он стоит на улице, в домашних тапочках, рубашке без воротничка, в штатских брюках на подтяжках. Машет мне рукой. Я думаю о его ране в паху, о той жуткой ране, какую в душе должна была выжечь рана телесная. Завожу мотор. Отец поворачивается и входит в генеральский дом. Через остекленную дверь я вижу, как он разговаривает с караульным, так он с ним ласково болтает, караульный в струнку перед паном офицером ветераном инвалидом военным.

Вдруг он оборачивается, будто что-то вспомнил, выглядывает в дверь и машет мне рукой, отчетливо так, не уезжай, мол, подожди, мол, у него еще дело ко мне. Исчезает за дверь, через некоторое время выбегает с автоматом, не с таким, как у немецких унтер-офицеров в сентябре, но с деревянным, винтовочным ложем, с гнездом для магазина на боку, а не снизу, волосы встают дыбом у меня на затылке, но я замечаю сразу, что нет, он не держит его так, как держат оружие к бою, в гнезде нет магазина. Выхожу, не выключая мотора.

— Eine Maschinenpistole wirst du brauchen, mein Söhnchen. Dort, wo du hinfährst. Ich brauche sie doch nicht, weil ich hier bleibe³.

Он подает мне оружие и магазины в кожаном футляре. Улыбается половиной лица, кладет руку еще раз мне на плечо, поворачивается и уходит. За дверь что-то говорит караульному и в конце концов исчезает на лестнице.

А я стою, как дурак, на улице изнасилованной Варшавы с автоматом в руках. Стало быть, открыть багажник, побросать все внутрь, захлопнуть крышку и забраться внутрь самому.

Ты сидишь в машине с включенным двигателем, тебя мутит от водки и от того, что ты ничего не ел, так что же? Ждешь, пьяный.

Чего я жду? Что случится?

Знаешь ведь. Но делаешь вид, будто ничего не знаешь и ничего не разумеешь.

1. Я провожу тебя вниз, сын мой (нем.).

2. Иди уже. Мне этого довольно. Иди (нем.).

3. Автомат тебе понадобится, сынок. Там, куда ты едешь. Мне-то он не нужен, я остаюсь здесь (нем.).

И он всходит по лестнице в свою-не-свою квартиру, а ты сидишь в шевроле, мотор работает. Он ходит по квартире, нервно и в каком-то отупении, и плачет, и прижимает к груди ладони, словно прижимая к груди что-то очень дорогое ему; потом из ящичка в бюро достает стопки документов, уносит на кухню и сжигает в кухонной печи, шурует в очаге кочергой, жженая бумага рассыпается в прах. После выглядывает в окно: видит крышу твоего шевроле, улыбается. Прячется за грязной занавеской. Смотрит на фасад министерства, где адъютант, юный фельдполицайсекретарь Ваничек, раскладывает груды документов и приводит в порядок сложную сеть архивов. Feldpolizeisekretär Бальдуров земляк, он родом из Силезии, из деревушки неподалеку от Гливиц, которая всегда звалась Пильховицами, но это звучало чересчур по-славянски, и несколько лет назад она стала Бильхенгрундом, словно это могло изменить задним числом тот факт, что некогда она звалась Pilchowitz. “Фельдполицайсекретарь Vanitschek spricht gut Polnisch, er ist intelligent, sehr systematisch, aber nicht besonders entscheidungsfreudig. Er stellt eine wichtige Errungenschaft für die geheime Feldpolizei dar¹, рекомендую содействовать развитию его компетенций”, — написал в личном деле своего подчиненного фон Штрахвиц. У секретаря полевой полиции Ваничека есть лицо, и хрен, и все остальное.

Через пару лет Feldpolizeisekretär Vanitschek займется отловом советских шпионов среди грязной, большей частью косоглазой орды восточных хиви, и выловит их в большом числе, а после даже успеет счастливо сорвать с рукава компрометирующий вензель GFP, не открываясь своим солагерникам. Сам он из лагеря сбежит, а это будет дальний лагерь, в Приморье, и он будет идти по таежной экзотике, и велика будет его надежда: граница Китая рядом, а уж из Китая он выберется, гражданская война ему не страшна. Однако до Китая он не дошел: черный уссурийский медведь с белым полумесяцем на груди напал на него. Эти медведи не очень крупны, самка, чья неспровоцированная атака на зека, который некогда звался Ваничек, не увенчалась успехом, была не крупнее кавказской овчарки. Она оставила жуткие раны и увечья, однако в конце концов он прогнал ее, лупя ей палкой по голове, чтобы двумя днями позже погибнуть от голода и ран.

Я видела его гибель, видела.

А Бальдур сейчас видит в окне крышу твоего шевроле. Смотрит, пока не отъедешь. И я ненадолго остаюсь с ним. Он уже сжег бумаги. Теперь он раздевается догола, одежду складывая по уставу, так его учили в полку, в другом мире, в мире, в котором у него было лицо, хуй, и весь он с этим лицом и хуем принадлежал Катажине Виллеман, и еще некоему глупому императору, который сейчас, седобо-

1. Ваничек хорошо говорит по-польски, сообразителен, весьма систематичен, но не слишком скор в принятии решений. Является важным приобретением для тайной полевой полиции (нем.).

родый и в полосатом костюме, гуляет по саду своего дома в Huis Doorn в Голландии и задается одним вопросом: когда? И тогда что?

А Бальдур фон Штрахвиц стоит перед большим зеркалом и глядит на свое тело, очень худое. На убитое лицо и дырку в паху, через которую он мочится. Бальдур фон Штрахвиц полон любви. Бальдур фон Штрахвиц умиротворен.

Бальдур фон Штрахвиц счастлив, а я тебя брошу, Костичек, на миг, я хочу побыть сейчас с ним, побыть им.

Бальдур фон Штрахвиц открывает деревянный футляр, вынимает большой старый маузер, вороненая сталь местами протерта до блеска. Он убил из него много людей: на войне и после войны и по приговору трибунала. Убил их оттого, что они были его врагами, но, скорее, затем, что у них были лица, которые можно было поцеловать, и были хуи, которые они могли сунуть в женщину, поэтому он стрелял им в лица или в сердца, если лица не были достаточно хороши для пули, а в промежность не должен был стрелять, она отмирала сама, когда он убивал лицо.

Потом он перестал убивать людей, ему было негде, закончились малые войны после войны; да он уже и не жаждал их убивать, это не приносило ему умиротворения. Тогда он поехал в Индию и Тибет и там пробовал найти нечто, чего в Индии найти не мог, сколько бы ни шептал то, что велели ему попы в красных кашаях, считавшие, что он умирает.

Ах, если, обуянный безжалостным Невежеством, блуждаю я в колесе сансары, меня светоносным путем мудрости дхармадхату со благоволити провести, почтенный Будда Вайрочана! Да поддержит меня Владычица пространства, твоя супруга! Молю, помоги мне на опасной тропе бардо! Введи меня в пречистую сферу совершенства Будды!

Но он не умер и не нашел того, чего искал, ибо то, что он искал, растворилось во фландрской грязи и течет в земле, в ее соках, несколько важных фрагментов Бальдура стали Фландрией.

После он странствовал по Персии, Аравии и Северной Африке, деньги ему охотно высылали семья, его отсутствие было им на руку, так он как минимум не мерзил им своей эстетической деградацией: телесной, социальной и, как они верно полагали, моральной.

Он странствовал как бы с закрытыми глазами. Его много раз обкрадывали, воры верно чуяли в нем легкий куш, охотно залезая к нему в багаж, когда он спал или беспечно бросал его без присмотра. По той же причине его никогда не грабили, бандиты никогда не нападали на него, чуя, что, стоит его задеть, он укусит, как бешеный пес.

В странствиях он ничего не обрел. Но полюбил платки на лицо, как у туарегов. Пробовал стать мусульманином, не помогло. Пробовал стать хоть чем-то, не помогло, а он стал бы даже иудеем, когда бы это могло хоть в чем-то помочь, он ведь даже был как бы обрезан. Но не могло и это. Пожил немного в Палестине. Вернулся. Хаживал на собрания разных фолькистских движений и союзов, пока в конце

двадцатых не вступил в НСДАП, куда же еще ему было вступать, коль все его товарищи по Оберланду были там, так что вступил в НСДАП и пробовал изучать историю, но не смог, не сумел. Так что в итоге он бросил университет, записался в Studiengesellschaft für Geistesgeschichte, Deutsches Ahnenerbe e. V. и ездил по целой Германии с лекциями о древних ариях, куда приходило обычно не более нескольких посетителей, главным образом психов, и все они вместо того, чтобы слушать об ариях, смотрели на его жуткое лицо.

Тогда я не была с тобой, Бальдур.

Я была с тобой раньше, но тогда я уже с тобой не была.

Потом наступил 1933 год, и тебя взяли в армию, а потом наконец началась война, и все успокоилось. Но ненадолго, потому что потом в каком-то польском вертепе ты увидел своего сына.

А теперь, Бальдур фон Штрахвиц, ты обнажен в своих увечьях, ты наг, и я с тобой.

Стоишь нагим перед зеркалом. Тебя зовут Бальдур Болько Штрахвиц фон Грос-Цаухе унд Каминец. Feldpolizeikommissär. Rittmeister, это раньше. Стоишь перед зеркалом, ты наг, в руке у тебя пистолет, ты полон любви, ты плачешь и вспоминаешь Катажину Виллеман, единственную женщину твоей жизни, и вспоминаешь фамильную усадьбу, теток, кузин и кузенов в мундирах, и братьев, и брата, и лошадей, и слуг, и вспоминаешь, как родился твой сын. Ты полон любви.

Всё.

Я ухожу от тебя, Бальдур, я возвращаюсь к тебе, Константин.

Бальдур навеки один перед зеркалом: он юный и древний, нагой, изуродованный шрапнелью и фосфором, исполненный любви и с пистолетом в руке. Он навсегда пребудет таким.

Я ухожу, и я уже с тобой, Константин, а ты едешь мимо Авиатора на постаменте, едешь пьяный и едва не въехал в подводу. И так, уже Пулавская, а на Пулавской даже движение как на войне, сворачиваешь на Мадалиньского и ставишь шевроле, где ты всегда ставил олимпиаду, и внезапно пьяного тебя охватывает ярость, беспомощная ярость.

— Отдайте мне жизнь! Курвы! — кричишь ты, лупя кулаками по рулю шевроле.

Но, видно, ты их не убедил, ибо они не отдают. Кому это, черт побери, Костичек?

— Всем, — отвечаю сам себе. — Всем.

Вываливаюсь из машины, спотыкаясь о собственные ноги.

Мне страшно за тебя, Константин. Знаю уже, что будешь у меня отобран.

Вернись!

Пакет! Беру.

Возвращаюсь.

Лестница, вверх, дверь, квартира, добрый, добрый Боже и черный боже, вас нет, но есть Дзидзя, на кресле в гостиной сидит Дзидзя, у нее мокрые волосы и твой шлафрок, в разрезе шлафрока голые ляжки.

Она не прикрывает их, когда он входит. Я вхожу. Входишь. Вхожу.

— И что же ты там обтяпал, горемычный? — спрашивает.

Ты грубо бросаешь ей пакет. Дзидзю веселит твое нахальство. Распаковывает. Разглядывает вещи в пакете, и ее небрежение увядает.

— Ты убил его?..

— Нет.

— Тогда откуда?

— Это мой отец.

— Это мундир твоего отца? И документы, и оружие?

— Да. Хорошо сидит на мне. Инженер тебе не говорил?

Она молчит какое-то время.

— Не говорил. Ты украл?

— Нет, он дал мне.

— Как это: дал?.. Он будет работать на нас?

— Нет. Он немец. Он не предал бы Германию, никогда.

— Но оружие, документы?..

Ты пожимаешь плечами. Хотел бы ловко сесть в кресло, но спотыкаешься по пути.

Хочу ловко сесть в кресло, но спотыкаюсь по пути, я пьян, я совершенно трезв, сажусь. Пожимаю плечами.

Еще нет, Константин, еще нет, пожалуйста, еще рано.

Дзидзю делается меньше. Прикрывает шлафроком свои небрежно оголенные ляжки.

— Ты восхищаешь меня, — говорит внезапно другим тоном, без колкости, с которой она говорила раньше. — Пить тебе нельзя, но ты все равно поразителен.

— Фото нужно заменить. Моими. В мундире и в штатском.

Дзидзю меня больше не слушает. Вытащила из пакета гимнастерку от мундира, расправила, уронила. Теперь вижу: она уже тоже пьяна.

— Сидит?

— Идеально.

— А где ордена? — спрашивает, указывая на дырки.

— Отец снял... — отвечаю я. — Я слишком молод для мировой войны.

Дзидзю, слегка отупленная алкоголем, мгновение хмурит брови и тотчас широко улыбается.

— Дурость же! Покажись мне, ну!.. Какого ты года?

— Девятого.

Разглядывает меня. Тебя. Разглядывает. Меня. Испытующе.

— Ну, покажись же, к свету стань...

Подходит ко мне. Голая под шлафроком. Кладет руку мне на грудь, будто ласка, но, однако, для того, чтобы держать дистанцию. Берет мою нижнюю челюсть двумя пальцами и вертит, рассматривает мое лицо.

— Тебе может быть сорок.

Я фыркаю.

— Не выглядишь старым для своего возраста, — уверяет она голосом, не звучащим так, как прежний голос Дзидзи. — Ты выглядишь как мужчина. По-мужски. Мужчина от тридцати до пятидесяти может вообще не меняться.

Я могу сейчас ее соблазнить? Это она меня соблазняет? Она пьяна. Я тоже. Отчего нет? Хочу обхватить ее за талию, но прежде, чем жест этот обретет вес, она ускользает, отворачивается, выкручивается в танцевальном па и отступает от меня.

— А этот твой отец, немец, какого он года?

— Девяносто третьего.

Дзидзя морщит лоб.

— Выходит, семнадцать ему было, когда тебя...

Я пожимаю плечами.

— Но это прекрасно. Сорок шесть лет. Однако склеится. Ты похож на отца?

А, значит, не смотрела на фотографии в удостоверении. Не посмотрела.

— Не знаю, — отвечаю я.

И знаю уже, что заглянет туда, проверит, увидит. Увидит, все увидит. А как увидит, то шанс соблазнить будет просрочен. Пред лицом того, что она увидит, пред лицом того, кого она увидит, шансы испарятся.

Дзидзя берет удостоверение, открывает.

— Боже ты мой...

Испарились. Я пожимаю плечами.

— Это еще не все, прочти в разделе “особые приметы”.

Она вздыхает.

— А, ну, фотографии надо будет тебе сделать. А херы они вряд ли контролируют, — смеется.

Я немного задет этим смехом, она смеется над тем, чего у моего отца нету...

— Но погоди, — притупленный алкоголем мозг Дзидзи цепляется за очевидное, — раз он тебя...

— На войне.

— Ах. Ну, в любом случае ордена ты должен прикрутить назад. Его история теперь твоя история. Ты будешь им. Фото Инженеру придется делать новые.

Сажусь в кресло. Тяжело сажусь. О соблазнении уже не может быть и речи.

— Пойду-ка я спать. Я пил с ним водку. Устал.

— Ты станешь им, понимаешь? Будешь... — Она взглядывает на удостоверение. — Ты будешь Бальдуром фон Штрахвицем.

Встаю.

— Оставь меня в покое, Дзидзя. Я иду спать.

Иду. Идешь. Да, я иду, упасть на постель, постель Гели и мою, а теперь скорее мою, упасть на постель Гели и спать.

Глава X

— Подъем! Побудка, пан фон Штрахвиц!

Дзидзя. Дзидзя? Открываю глаза. Темно. И она надо мною.

– Вставай, у меня все готово.

– Что у тебя готово?.. – спрашиваю отсутствующе.

– Всё. Одевайся, – она швыряет мне мундир моего отца.

Ничего не понимаю.

– Фотографии, будем делать фотографии. Для начала в мундире. Одевайся.

Дзидзя отворачивается и выходит. Сажусь на кровати.

“Быстро, быстро, некогда!” – мужской голос из гостиной. Я знаю этот голос. Это Водитель. Водитель Витковского.

Я им не доверяю. Дзидзя притащила весь пакет: там небольшая кобура отцовского служебного зауэра. Открываю чехол, вынимаю пистолет.

– Костичек, ты бы остыл, ладно? Позже наиграешься, – сказала Дзидзя, незаметно вернувшись.

Мой инстинкт велит мне стыдливо убрать пистолет, отбросить, сконфузиться, будто мальчик, застигнутый на онанизме, устыдиться, вспыхнуть.

Но внезапно я знаю, что есть во мне еще что-то. Где-то в глубине меня, не знаю, где именно, что-то взросло, нечто, что позволяет мне удерживать пистолет в руке. Благодаря ей. Она говорит мне, чтобы не валял дурака, но именно милостью ее я могу сделать то, что хочу сделать. Не то, чего ждет от меня она. Или моя мать. Или мой отец. Или командир. Ее милостью. Еще ни разу не встретил я никого ей подобного.

Еще ни разу не встретил ты никого ей подобного.

Руки трясутся, внезапно мне делается жарко, и я стараюсь быть неспешным, чтобы не опозориться, поэтому двумя пальцами оттягиваю затвор, проверяю, заряжено ли, что-то золотисто взблескивает, поэтому, не сводя глаз с Дзидзи, отпускаю, и патрон вскакивает на свое место, оружие заряжено.

Встаю. Адреналиновая дрожь в ляжках. Я в одном исподнем, трусы да майка, но это неважно. Я им не доверяю. Может, они кончить меня хотят, с чего бы нет?

В моей гостиной стоит Водитель. Водитель Витковского, летный шлем и кожаная куртка, он извлекает из большой брезентовой сумки нечто, напоминающее портативную лабораторию для проявки фотографий. Рядом на деревянном штативе стоит фотоаппарат при огромных лампах, их тоже принесли, они не мои. За обеденным столом раскладывает некие письменные принадлежности незнакомый мне человек в круглых очках, на первый взгляд жидочек, скорее всего.

Правое плечо Водителя дрогнуло, словно инстинкт при виде пистолета велел ему лезть в карман, а он не полез. И смотрит на меня иначе, нежели раньше.

– Чего тут? – огрызнулся я. – Мой дом. Сыт по горло необъявленными визитами.

– Нас пригласила панна Дзидзя, – возразил он. – Мы думали...

— Господа, — отзывается очкарик из-за стола. — Документы у па-на отличные, нужно вклеить фото, переделать besondere Merkmale¹, и выйдет ганц малина.

— Нет повода заедаться, пан Пятьдесят Семь. Надень-ка, пан, мундир, сделаем фотки, и порядок, — сказал водитель. Примирительно. Учтиво сказал. Негоцирующе сказал, хотя я-то пистолета даже не поднял, не целился ни в кого, просто держал его в ладони, стволом в пол. Но, может, они слышали щелчок зауэра, когда я его заряжал. И теперь он относится ко мне по-другому, у него другой взгляд, он не глядит на меня так, как глядел раньше.

Хотела бы я тебе, Костичек, рассказать, как именно он на тебя глядит, но не могу. Что-то варится внутри тебя, выгалкивая меня наружу, бродит как тесто, а я сочусь из тебя, выплываю из тебя твоими ноздрями и ушами.

Варится, а скорее всего, уже сварилось. Так хотела бы я, чтобы ты поехал к матери, к своей матери, милостью которой ты есть, ведь мог бы не быть, она могла избавиться от тебя, уже тогда в Верхней Силезии могла за деньги зародыш твой или самого тебя вывести из своего лона, выскрести, как выскребают серу из уха, но не выскребла, она оставила тебя себе, и чего, чего ради, чтобы ты предал ее, пойдя к нему, к тому, кто не был достаточно хорош для нее, за-чем ты пошел к нему, Костичек, и зачем предался его любви?

Ты не пошел к матери, поэтому сейчас она берет тебя в оборот. Она, поскольку еще ни разу не встретил ты никого ей подобного.

Я возвращаюсь в спальню.

— Хотел бы переодеться, — говорю я Дзидзе, ожидая, что начнет она поддразнивать меня, язвить начнет, не застыжусь ли я чего и чего я застыжусь, но она просто выходит, она вышла.

Надеваю отцовский мундир. Фуражка, сплюснутая круглая фуражка с козырьком, мягкая, высокие сапоги натягиваю. Ремень застегиваю, кобура, не забывать, что на левом бедре. Я бы пришил знаки отличия, но не знаю как, поэтому выхожу в гостиную.

— Псякрев, — чертыхается при виде меня Водитель. Жидочек в очках оторвался от бумаг, пожал плечами.

— Как будто из журнала для гансов вырезан, верно? — улыбается Дзидзя. Я не улыбаюсь.

— Мне нужна фотография. Та. Чтобы ордена как надо пришить.

Дают, я встаю перед зеркалом, на фото Бальдур, в зеркале я, припиливаю ордена. В зеркале Бальдур, на фото Бальдур. Либо я. Возвращаюсь.

— Зачем пану штаны и сапоги на коня, раз тут явно написали, что тайная полиция? Глина, надо думать, в атаку верхом не ездит? — спрашивает липач из-за стола, не отрывая сосредоточенного взгляда от бумаги, оглаживаемой влажной кисточкой.

1. Особые приметы (нем.).

— Мой отец уланский капитан. То есть был. На первой войне. Второй полк улан. То есть немецкий, императорский, второй полк улан фон Кацлера, — объясняю, но: объясняю, а не объясняюсь, не оправдываюсь, не петляю, просто говорю. Разъясняю. Даю знать.

Они включают лампы. На стене растянули скатерть, что скажет Геля, что скажет Геля, кой черт. Кой черт? Водитель трижды фотографирует, что-то мудря с объективом, затем я переодеваюсь в свою коричневую плотную одежду. Хуй на своем месте, проверил.

Опять фотографирование.

— Сделаем темную комнату в ванной, так, пан, — говорит Водитель, снимает шлем и кожаную куртку и запирается там, а что я, я кружу по квартире, кружу аки лев рыкающий.

Дзидзя в кресле читает книгу. Маленький еврей скребет и оглаживает кисточкой жуткие раны моего отца. Отшелушивает рубцовую ткань с лица, наращивает здоровую крепкую кожу. В промежности из складок вокруг выделенной уретры растет новый уд, с ним вместе подрастает уретра, кровеносные сосуды и пещеристые тела и кожа и все это на бумаге, на бланках документов и на светочувствительной бумаге, где в красном свете проявляется Бальдур фон Штрахвиц, черный, как негр, с черными белками глаз и в белом мундире, а после светло-серый в мундире темно-сером, и его секут по формату маленькой гильотинкой, а после Бальдур фон Штрахвиц в коричневом костюме, я.

А ты кружишь, ибо что же теперь, что теперь, что теперь?

Геля. Юрчик. Старик Пешковский. Ига. Яцек. Мать. Все.

Саломея, мой Бог, Саломея, как насчет Саломеи, может, сразу поехать к ней, сейчас поехать, как она там?

Не поехать.

А отец, как он там, это же очень близко, пешком какие-нибудь четверть часа, не больше, схожу, может, посмотрю.

Не сходишь, дурак, не сходишь. Ты ведь знаешь. Он проводил тебя вниз, чтобы они видели его в тот момент, когда ты вышел, чтобы они ведали, что остался один.

Не схожу. Записал ли караул мои данные? Я не помню, чтобы он что-то записывал, а вот запомнил ли, он смотрел лишь в мои бумаги, итак, запомнил ли он мое имя или нет, ведь если не запомнил, то я буду просто никем, один из надцати тысяч немцев в Варшаве, а если запомнил, то меня станут искать. После.

После чего? После. После. Не пойду. К Саломее тоже не пойду.

Не пойдешь. Иная волна под луной твое сердце несет. Ты кружишь по квартире, натываясь на запахи и следы Гели и Юрчика, к ним ты тоже не пойдешь. Час ночи, уже час ночи.

— Готово, — сказал жидочек. Геля спала в кресле.

Дзидзя, не Геля. Дзидзя.

Геля спит далеко отсюда, на улице Подвале, подле нее Юрчик, а над ними страшная тень Пешковского.

В гардеробе платья Гели. Ты ведешь по ним ладонью, шелка и атласы шепчут свои буддийские молитвы, как бумажные лоскутья

на тибетском ветру, шепчут свои молитвы вечной женственности, которую они укрывали.

Помнишь бумажные лоскутья в Тибете?

Я никогда не был в Тибете.

Геля, Геля, Геля. Геля!

— Спи, Константин, — шепчет Дзидзя. — Утром Инженер проведет инструктаж, и мы поедем. Тебе следует отдохнуть.

Бутылочка. Бутылочка. Нету ее. Полной счастья.

— Оставь меня в покое, женщина, — рычу, закрываю дверь спальни, плевать, как она там теперь. Я буду кем-то ради чего-то, буду во имя чего-то, а не тем, чем до сих пор был.

Дурной дурень Костек.

Раздеваюсь и вижу сны.

Снится тебе дом родной, катовицкая каменица. Ты на приеме, на вечеринке, какой, в общем-то, в твоём родном доме быть не могло, потому как вечеринки не устраивали в то время, когда ты там жил, на первом в жизни коктейле ты был у родителей Яцека и год то был 1932, и ты надел свой первый в жизни смокинг и чувствовал, как жизнь твоя внезапно зашла с туза. Ты были красив и тебе улыбались красивые женщины в круглых шляпках, ты пил водку и ел икру. А потом ты купил себе фрак. Но сейчас тебе снится коктейль, снится вечеринка в гостиной, где ты провел детство, так же, как ты проводил детство в молчании твоей матери. А в гостиной множество людей, но никого знакомого ты не находишь, очень темно, лишь немного света падает в окна, пасмурный, серый закат.

И все засыпано седой золой, люди бродят по этой золе, снимают какие-то закуски с присыпанных золой столов, зола пузырится в бокалах, оседает на волосах, и не то чтобы они этого не видели, они это видят, они шутят над этим, отрясают золу с рукавов, сдувают ее с бутербродов.

Я кого-то ищу — позже я осознал, что ищу женщину. Геля это или Саломея, это Ига или Дзидзя? В воздухе, между усыпанными золой людьми, парят сияющие, пылающие линии. Это следы. Я иду по тем следам, которые она оставила в воздухе, это горящие в воздухе следы зажженной сигареты. Они светятся так, как в детстве светились линии, нарисованные в ночи горящими палочками — с той разницей, что следы ее сигареты делятся в воздухе, как на ночных фото с большой экспозицией. В следах есть яркие светлячки, это места, где она затягивалась сигаретой.

А ты пробуешь отыскать некий порядок в этом клубке светящихся полос и знаешь уже, что самые яркие из них самые свежие, и следы сигареты ведут тебя на лестничную клетку и вверх, на чердак: там нет пыли, лишь запах свежей стирки, а на шпагатах висят влажные простыни. И следы сигареты между ними — там ты ее, наконец, находишь, она оперлась о балку, одетая в коктейльное платье, стоит, ломая в ярости руки, плачет, слезы бегут по щекам, она курит сигарету в длинном мундштуке. Спрашиваешь, что случилось, а она шипит сквозь сжатые в злую тонкую полоску губы:

— Выметайся отсюда, иначе убью, — говорит она, а ты знаешь, что она не шутит. Ее аж трясет от гнева. И ты оборачиваешься, весьма унижен и слегка напуган, и хочешь уйти, но не умеешь найти дороги среди простынь, они липнут к тебе, а ты пятнаешь их пылью, севшей на твои руки и волосы. Мать будет в ярости. В конце концов ты выходишь на двор, по пути срывая полотнища со шпагатов: а снаружи, на улице Мариацкой, зола скрыла все, падает с неба, как черный снег, стоит день, но так темно, как при полном затмении солнца. На горизонте огромный вулкан брызжет огнем.

— Вставай, Константин, пора, — говорит Дзидзя.

Это она ждала там, на чердаке, среди мокрых простынь? Ты встаешь. Слышать мой голос ты не хочешь.

Встаю. А и ладно. Носки, кальсоны, майка. На нее рубашку. Брюки серо-стального цвета. Подтяжки. Высокие сапоги, крючки были уже наготове. Теперь гимнастерка. Пояс с кобурой, ремень на две дырки, кобура, не забывать, не забывать, на левом. Фуражка.

Зеркало.

Ich heiÙe Baldur von Strachwitz, Feldpolizeikommissar¹.

Я Константин Виллеман. В дорожный баул кладу я гражданский костюм, плотный, коричневый, из шотландской шерсти, смокинг тоже беру. Знаю хороший способ сложить пиджак, чтобы он не измялся: я выворачиваю один рукав наизнанку и вставляю в другой рукав, затем скручиваю вокруг рулона из нижнего белья. Моя жизнь вывернута наизнанку, неуместность баула, ну как ты упакуешь ее в баул, какой баул, тут нужен целый тюк, целая тележка, а не баул. Пуховые перины и мешок картошки. Накидываю пару рубашек, носки, трусы, зубную щетку, порошок, мыло и принадлежности для бритья. Всë.

Выхожу в гостиную.

В кресле Инженер, в другом Дзидзя, у окна Водитель.

— Прекрасно, — хлопнул в ладоши Витковский. — Пусть пан скажет что-нибудь по-немецки. Знает пан, в армейском таком тоне.

— Жрите говно, ihr Drecksäck, — отвечаю с усердием.

Дзидзя смеется. Водитель не понял. Лицо Инженера вытянулось. Он встает.

— Ладно. Итак, пан Пятьдесят Семь...

— Ich heiÙe Baldur von Strachwitz, — перебиваю я.

— Да-да. Поедете в Будапешт. Остановитесь в отеле Gellért.

— Боже, какой китч, — Дзидзя схватилась за голову.

— Отчего? — Инженер удивлен. — Я справился в бедкере, это приличный отель. Есть термальные ванны. Поселитесь под фамилией фон Хорн. Мистер и миссис фон Хорн.

Дзидзя презрительно машет рукой. Инженер не понимает.

— Там вас найдет полковник Штайфер, который, по нашим сведениям, уже должен быть в Будапеште. Сбежал от Советов. С полковником пан обсудит следующие вопросы... Впрочем, прошу прочесть.

1. Меня зовут Бальдур фон Штрахвиц, я комиссар полевой полиции (нем.).

Он подает мне отпечатанный листок. Налаживание курьерской связи. Возможности разведработы. Финансирование. Переброска во Францию. Установление оперативной связи с представителями немецких военных кругов. Дюжина с лишним пунктов.

— Прошу выучить на память, а листок, разумеется, сжечь. Это все. Наладить то, что налаживаемо. И назад.

Даже Дзидзя выглядит удивленной.

— Это все? — спрашиваю. — А какие-то конкретные задачи, поручения? Никаких? А что, если Штайфер не объявится?

— Пан Пятьдесят Семь. Пан офицер, не капрал. Офицер разведки. Офицер разведки Речи Посполитой. Пан должны проявлять инициативу, действовать самостоятельно. Пан едет в Будапешт, пускай пан сделает там то, что в его силах, потом прошу вернуться не позднее конца месяца. Мы поняли друг друга?

Я пожимаю плечами.

— Финансы?

— Ах да, конечно! — Инженер хлопнул себя по лбу и полез во внутренний карман куртки. — Тысяча долларов. Пану должно хватить.

— А бумаги для меня? — спрашивает Дзидзя.

— Наша легализационная ячейка работает пока на неполных оборотах. Придется вам обойтись тем, что есть.

Дурь, дурость, везде провалы, не замечаешь, Костек? Ставишь жизнь на крапленую карту. Зачем? Зачем ты больше не хочешь слушать меня, Костичек?

Ты у меня украден.

Надеваю шинель, перчатки. Беру ключи. На Дзидзе норковая шуба, крохотная шляпка и даже муфточка есть. Нету войны, нету. Где война, что за война?

Мы выходим.

Мы вышли. На месте моей олимпиа стоял шевроле. С польскими номерными знаками, довоенными.

— У машины польские номера, — сказал я.

— Скажем, что конфискованная, — ответила Дзидзя.

Я открыл багажник, достал автомат и подсумок. Дзидзя взглянула с изумлением, одобрительно.

— Умеешь стрелять? — спросил я, памятуя о моем унижении возле Лурса.

— Из чего-либо подобного не умею и не хочу, — отрезала свысока, как аристократка, игнорирующая шанс проехать третьим классом.

Я улыбнулся ей, она ответила улыбкой. Она что-то со мной делает, что-то изменяет, что-то умолкает во мне; нечто, чего я ранее не слышал, однако ж оно там было, а теперь умолкает.

Ты меня не услышал.

Мы сели в авто, я завел двигатель, присоединил магазин к автомату, не перезаряжая его из опасения, что при очередной встряске он выстрелит. Некоторое время сидел молча, ладони на руле.

— Не должны ли мы заранее что-либо спланировать? Какой-то маршрут, легенду, что говорить, если у нас захотят проверить документы?..

— Ты должен. Ты здесь офицер разведки, верно?

Я вновь замолчал, сжимая руками руль, словно зависнув на нем над пропастью.

— Не я, — наконец выдал из себя я. — Я не офицер разведки. Я даже не уланский офицер запаса. То есть по бумагам это я, я закончил курсы, командовал взводом, воевал с немцами, но я не офицер, я не солдат.

Зачем я сказал это, подставляясь яду ее насмешек? Зачем? Не знаю. Дзидзя, однако, не ядовита.

— Тогда кто ты? — спросила просто. Серьезно спросила.

Кто? Хотел бы я сказать: я Костек Виллеман, джентльмен, мот, бабник и наркоман. У меня никогда не переводятся деньги. Я люблю водиться с художниками и писателями. Любил. Люблю женщин. Чутка поизучал полонистику, дабы забыть, что по крови я немец, но полонистика меня не брала, бросил, немного рисую, учился у лучших профессоров АИИ заочно, мать платила, но и это меня особо не взяло, если честно. Хотел было заняться фотографией, снимать голых шлюх в разнузданных позах, но война пришла прежде, чем я купил себе фотоаппарат. Хотел было написать сценарий для фильма или срежиссировать этот фильм, и чтобы сыграла в нем Ганка Ордонувна. Я говорил об этом с Ярославом, он меня поощрял, особенно под водку, а натрезво поощрял уже не так горячо. Саломею взял бы на роль второго плана. Цыганки-гадалки. Но не написал, началась война. Люблю морфий, ледяную водку и шампанское, не побрезгую кокаином, люблю утонченную еду, люблю танцевать в Адрии либо Парадизе с женщинами, с которыми я знакомлюсь вечером и прощаюсь утром. Любил. Люблю ложиться с ними в постель, но еще больше люблю их подчинение мне, их обожание еще важнее для меня, нежели сама их плоть. Плоть скучна. Тело Гели мне не наскучивает. Не наскучивало. Не наскучит. Вызывает у меня желание. Не любовь. Любовь. Вызывало. Нет. Не знаю. Я Константин Виллеман, и я добрый сын своей матери. Недобрый. Я Константин Виллеман, и я принял любовь своего отца, зная, к чему его это ведет. К черепу с дыркой. Я Константин Виллеман, и я ненавижу свою мать.

Я Константин Виллеман, а мать моя не человек. Я Константин Виллеман, и я сын дьяволицы. Я сын дьявола, мой отец обрюхатил дьявола, и лоном дьявольским произведен был я на этот свет, а отец мой потерял уд, чтобы уже никого более не мочь обрюхатить.

Я Константин Виллеман, у меня нет ни братьев, ни сестер, никого нет. Я один. У меня нет жены. У меня нет сына. Я Константин Виллеман, у меня нет ни матери, ни отца, у меня есть только сатана и мертвяк. Я Константин Виллеман, сын сатаны и мертвяка. Я Константин Виллеман, и мне насрать, немец я или поляк, в мире этом есть дела поважнее.

Меня зовут Константин Виллеман и я варшавянин. Я никогда раньше не думал об этом, думаю об этом сейчас, глядя вглубь улицы Мадалинского в направлении Раковца у дома из шоколада, сквозь переднее стекло шевроле Master, который мне не принадлежит. Ладонями сжат руль. Рядом с моим коленом в перфорированном кожане ствол автомата, семь отверстий огромной перечницы, за ним колено Дзидзи Рохацевич в шелковом чулке телесного цвета. Я варшавянин.

Я Константин Виллеман. Я Константин Виллеман, мот, бабник и наркоман. Я вижу разные вещи. Я слышу разные вещи.

Меня ты не слышишь. Мать свою ты не слышишь. Уши себе заткнул.

— Тогда кто ты? — спросила Дзидзя.

— Ich heiÙe Baldur von Strachwitz.

— А если по правде, — говорит она, как говорят маленькие девочки.

По правде я никакой не Константин Виллеман. Никакой не Бальдур фон Штрахвиц. Я никакой. По правде никакой сжат ладонями руль туго туго натянута кожа на косточках пальцев, вот-вот треснет не треснет. Я сын сатаны и мертвяка. По правде я не сын сатаны и мертвяка, я сын Бальдура и Катажины, но она никакой не человек. Кто она? Женщина. Человек. Никакой.

— Нет ничего по правде. По правде меня нет. По правде никого нет.

— Пшибышевщина, — усмехнулась Дзидзя.

Но без презрения. Поддразнивает меня, но без презрения. Отчего? Может, раньше тоже было без презрения? Нет. Да.

— Поехали, Константин. Давай выедем из Варшавы, остановимся и какой-нибудь план составим тогда.

Я включил передачу.

Куда? На юг. Покуда на Пясечно, затем где-то надо переправиться через Вислу. Да. Трассой на Радом я не поеду, хотя дорога там наилучшая, асфальт, но лучше не искушать судьбу, лучше боковые дороги. То есть вдоль Вислы, Пясечно, затем скверная, щербатая дорога на Черск, значит, спешить не придется, далее на Потыч, я там однажды ехал, хотя чаще ездили трассой на Радом, от Варки уже приличное шоссе, но не как трасса на Радом, асфальтированная, дорога номер тринадцать на Груец и Радом, значит, не по шоссе номер тринадцать, а боковыми дорогами, от Варки на Козеницы далее, чтобы через Вислу где-нибудь в Демблине. А может, однако, нет. А затем придется поштудировать карту. Потому как, может, однако, лучше ехать прямо, аж до Сандомира, и уже только там через Вислу. Хотя мосты наверняка разрушены, даже не знаю, откуда мне знать. Но наверняка. Может, какие-то переправы уже есть.

Итак, Пулавская. Мокотов, Селецкий парк где-то в стороне. Я там дрался. Я дрался? Виллеман дрался. Дрался? Месяц назад. Я стрелял, командовал, прятался. Он прятался, командовал, а вот стрелял ли он, разве что в воздух. Так. Служево, единичка, двенадца-

тый и шестнадцатый оборачивались тут. Ими оборачивались. Десятинадцатый с недавних пор до петли в Служевце и на Форт. Я любил Варшаву, но больше не люблю. Контратака, два каэма немецких наши на флангах в руины вдавлены, вперед! вперед! Я ору себе в локоть, прильнув к земле, рот песком забит и никто меня не слышит, я сам-то себя не слышу, и никто не шевельнется, ни вперед, ни назад, некуда. Мы едем.

Пост на выезде из города. Немецкий. Я в мундире. Немецком. Дзидзя улыбочива и расслаблена, словно бы мы встали, чтобы заправиться, до полного, пан начальник?

Офицер едет, солдат заметил сразу и подошел учтиво, не спеша, а может, заурядно подошел, а может, он подошел сдержанно, а может, осторожно, а может, согласно уставу, черт знает, как он подошел, но я предпочитал думать, что подходил учтиво, не спеша, и, не забывая напутствие отца, я открутил вниз стекло и показал лишь диск с тисненным орлом des Heeres с одной стороны и тайной полицией и служебным номером с другой, солдат только отдал честь, моментально: как от удара током, как от шока, как в шоке от удара? Я предпочитаю думать, что в шоке, а как было по правде, а что значит по правде?

Я бы сказала тебе, но ты больше не хочешь меня слушать, Костичек, ты когда-либо меня слушал, ты меня слушал ли, не слушал, а может, и слушал.

Отдал, стало быть, честь, а я поднял стекло и вперед, едем, Дзидзя аж захлопала.

— Дивно!

— Думаю, мы справимся, — сказал я.

Едем. Мазовия.

Так я никогда не ездил. Ездил в ту сторону много раз, но теперь еду по-другому, на груди у меня другой орел, хотя знаю, да, знаю, что это все равно. Никогда так не ездил. Я переодет в мундир врага. Это просто фортель. Ничего более. Идет война. Я рискую быть расстрелянным, ведь я ношу мундир врага. Я это я, только в другом мундире.

Я, в конце концов, немец. Что грозит мне за ношение отцовского мундира, за то, что выдаю себя за него, за фальшивые бумаги? То же самое, да не то же самое. Смертная казнь, только для немца. Они расстреливают, вешают или отрубают голову?

Отрубают. Я знаю. Я бы рассказала тебе, когда бы ты слушал. Когда бы что-то не вытеснило меня из тебя, не ты сам, разумеется, а нечто другое. Эти маленькие гильотинки выкрашены в красный цвет, палачи устраивают голову немца между двумя досками с вырезом для шеи, дергают за тросик, лезвие летит вниз и отделяет голову от тела.

Мазовша. Синюшно-бурый пейзаж, худая, очень худая дорога, за Пясечно уже. Худой, очень худой пейзаж. Поля как доска, привык, когда я успел привыкнуть к этим вспаханым доскам полей, деревья и я за рулем, а у моего колена ствол автомата, а за ним колени Дзидзи в чулке телесного цвета. Молчим, о чем говорить? Надо

встать, разложить карту, выдать на гора план, но сейчас я хотел лишь вести авто, не слишком быстро, дорога худа, будь осторожен, не сведи все на нет сломанной в очередной яме рессорой.

Стало быть, еду, стало быть, осторожно, я гляжу вперед, Дзидзя на запад, я вижу ее затылок, темно-зеленый фетр шляпки и выбивающиеся из-под нее светлые прядки.

Едем. Вдаль.

Вдали от Варшавы.

По левую руку Висла и пока еще Речь, по правую Рейх. И я. За Варкой отменное шоссе, я нажал на акселератор, местами мы ехали даже восемьдесят в час.

— Думаю, где-нибудь под Сандомиром мы остановимся на ночлег, — сообщил я, перекрикивая великолепный рев шести цилиндров.

— Но где? — спросила Дзидзя. — Не будем же мы спать в поле. Разве в каком-нибудь отеле?..

Я удивился. Отнюдь не так должна вести себя Дзидзя. Дзидзя аристократка, значит, пусть она и привыкла к шелковым простыням, может поспать в поле. Чтобы Родину. Спаси. Море перейдем! С нами Костюшко, можно и в поле.

— Так не обо мне же речь, — засмеялась она. — Я-то могу в поле спать. Но можешь ли ты представить себе, как немецкий офицер сейчас, месяц спустя после нашей капитуляции, будет спать не в помещении? С женщиной? В машине, каким вообще образом?..

Я согласился.

Но каким...?

Каким образом она ответила мне, если я молчал, вел молча, ведя, молчу, ладонями по-прежнему сжат руль. Как она меня услышала?

При дороге на Козеницы сгоревший танк. Не уверен, польский или немецкий, я в танках не разбираюсь. Из тех, покрупнее, так что немецкий, скорее всего.

— Чешский, — ответила Дзидзя. — То есть немецкий, но чешского производства.

— Я, выходит, вслух думал?.. — перепугался я.

Дзидзя лишь смеется. Возле танка усатые мужики в высоких сапогах и фуражках откручивают звенья сгоревших гусениц. И мальчик без усов и без сапог суетится рядом. Танк определенно из бофорса подбитый. Ах, как Ксык умел из бофорса...

Моросило. У меня был почти полный бак бензина, и нравился мне этот шевроле. Шесть цилиндров, три с половиной литра, у моей олимпии было полтора, не знаю, сколько тут лошадей, но под педалью чувствуется, что много и даже больше, и что для езды. И как сановито рычаг эти три с половиной литра, шесть цилиндров. Хорошее шоссе. Едем.

Я Константин Виллеман и я люблю авто. Авто я предпочитаю лошадям. Не люблю лошадей. Но предпочитаю их людям. Авто люблю. Больше, чем лошадей и много больше, чем людей. Но женщин люблю тоже. Помню, я вел открытый бугатти Туре 57 в феврале тридцать четвертого в Берлине, сто шестьдесят лошадей под капотом, выжимал

сто сорок в час на автобанае, играло радио, даже радио было в том бугатти, но слышно не было так и так, я почти скреб задницей по шоссе, рядом сидел Георг Риттер фон Налеч и смеялся как безумный, бугатти не был ни мой, ни его, самое прекрасное авто, что я когда-либо видел. Но не для польских наших дорог, вернее, бездорожья, где бы я на таком в Польше ездил. Да и не смог бы я позволить себе такой бугатти. Я вообще никакой бы не смог. А мать? Не знаю. Может, да, а может, нет. Не знаю, сколько денег у моей матери. Но на бугатти не дала бы, она хирургически точно устанавливала уровень жизни, моей жизни, который готова была оплачивать. Значит, бугатти ни-ни, никакого бугатти. Ни альфы ромео, ни испано-сюизы, никаких люксов, не знаю, может, кадиллак был возможен, кадиллак, хотя тоже вряд ли. Но так и так вместо олимпиады пора было взять новое авто, что-то солидное уже, сначала в виду имелся тот капитен, но потом я хотел бьюик Special 41-C, американский, но кузов наш, четырехдверный фаэтон со складной крышей, заподлицо, не как в олимпиаде, пятиместный, удобный, сто двадцать дюймов колесная база, чистое чудо на колесах, голубое, я видел в каталоге у Скварчевского на Кредитной, и модели тридцать седьмого и восьмого вживую видел, сто семь лошадей и даже для сигнализации поворота оранжевая лампа, мигающая, в стандартной комплектации. Полезно. Мать обещала дать деньги, в сентябре я должен был внести задаток, а недели через три, считая от сегодня, я забирал бы машину, потому что в Гдыню из Бостона шел транспорт, по крайней мере, так толковал и обещал директор Паппадакис со своим диковинным акцентом, господин пан, вы будешь к середине ноября иметь автомобиля у себе в гараж, а он сейчас через Атлантик плывет! Он говорил как еврей, но был он греком.

Солидная машина мне полагалась. Я был уже как-никак солидным человеком. Но не какая-то заурядная, а фаэтон, элегантный, граф мог бы на таком бьюике с откинутым верхом ездить, не стыдись. На летнее разлюли, такое в английском стиле, можно было бы элегантно за рулить, я за рулем, фаэтон не зазорно, почти как купе, сзади Юрчик в темно-синем спенсере, рядом Геля в ярком платье, светло-голубом, на мне жакет и визитные брюки, цилиндр серый, перчатки желтые, я кидаю ключи бою, чтобы он поставил машину, а мы идем, поднимаем бокалы с шампанским, вот что имелось в виду. Но не вышло.

Так обещал Паппадакис, директор Столичной ассоциации автомобильной торговли на улице Кредитная, 2. Говоривший как еврей, хотя был греком. И походил на еврея.

На что мне дался этот Паппадакис? Я Константин Виллеман и я люблю авто, авто я предпочитаю лошадям.

Ich bin Baldur von Strachwitz, ich mag Frauen, für etwas kämpfen und töten, ich habe Angst vor Frauen, der Welt, vor den Menschen, ich habe Angst vor allem¹.

1. Я Бальдур фон Штрахвиц, я люблю женщин, воевать за что-либо и убивать, я боюсь женщин, этого мира, людей, я боюсь всего (нем.).

Мы доехали до Козениц, а на груди у меня немецкий орел. В Козеницах мы, может, могли бы свернуть на Демблин, но ехалось хорошо, и я не хотел застревать на переправе через Вислу, так что мы ушли вправо на Радом, чтобы через пару километров за городом взять влево, в сторону Зволениа.

Дорога сразу испортилась, пришлось сбросить скорость, не больше сорока в час, так что шли небыстро. Зато погода похорошела, крыша высохла, и Дзидзя предложила ее открыть, потому что солнце, пускай и послеполуденное, начало даже слегка припекать, так что я ее открыл, и мы ехали с открытой крышей, мы ехали через сосновый лес, и это было прекрасно.

— То ostatnia niedziela, — запела Дзидзя, — лишь одно воскресенье, ты его подари мне, ты в глаза посмотри мне в последний раз, — засмеялась и сразу умолкла.

За лесом пришлось тормозить: железнодорожная ветка от Радома до Бреста, переезд разбомбили, рельсы были погнуты, но переехать можно, так что мы ехали, теперь полями, а за Пониквой покрытие стало вновь твердым, и мы вновь ехали быстрее, пока наконец не въехали в Зволин, со все еще откинутым верхом.

Шел пятый час, солнце садилось над радомским шоссе. На форштадте, если можно так выразиться, деревянные халупы крыты соломой, нищета, грязь и хлев, я мечтал бы сдохнуть, родись я здесь, поляком или евреем, Константином или Бальдуром. Далее кучка домишек местечковых, но все выгорело, голые стены, черные культы стропил, одинокие дымоходы посреди стен как донжоны брошенных крепостей. Мы не поехали в Радом, а повернули налево, к Рынку.

Дзидзя присматривалась к разрушениям.

А я насыщалась недавним пожаром, в котором еще слышалась стихающая музыка воя сжигаемых и вони разрываемой человечины, но тебе уже все равно, Константин, меня ты больше не слушаешь и мои пристрастия не трогают больше твое сердце.

— Для чего разбомбили? — спросила Дзидзя.

Для чего, для чего бомбить говенный жидовский городишко на границе Мазовии и Малой Польши, для чего бомбить говенные домики, каменички из говенных кирпичей, крашенные говном в говенные цвета, для чего — думал я, и что мне ответить Дзидзе?

Сообрази, Константин, для чего, ты же знаешь, ты же помнишь, сообрази.

— Если память мне не изменяет, здесь находились штабы оперативных групп армии “Прусы”. Этот ублюдок Домб-Бернацкий тут заправлял, замышлял переправу. Куча войск тут была, нам пришлось разбомбить, — сказал я, удивленный, что знаю это.

Знает. Он знает. Константин Виллеман знает.

— Ну да, вам пришлось, — засмеялась Дзидзя с безжалостностью, на какую способны одни только женщины.

Жидовская одноэтажность вокруг большой, вытянутой площади выгорела, стены в саже, в окнах ни следа рам, жидки снуют по Рынку

без смысла и цели, поляка меж ними днем с огнем, немцев вообще не видать. Кругом мусор, груды инвентаря какого-то, телеги поломанные, дышла торчащие, куски колес и ремни упряжи и грузовик расхристанный со сгоревшей, дочерна закопченной кабиной, гражданский, из военного конфиската наверное.

Помню это местечко, пару раз я проезжал через него в прошлой жизни. Константин Виллеман проезжал. Обедал с Яцеком на рыночной площади, мы мчались на машинах во Львов, встали здесь на привал. На постой. Два либо три года назад. Не было ни сгоревших повозок, ни грузовика, и жидки все выглядели иначе, они не сновали, но каждый куда-то бежал и суетился в еврейской запарке. А сейчас вглядываюсь и не могу вспомнить, в какой из развалин была гостиница, не помню, неузнаваемо.

— Давай разомнем кости? — спросила Дзидзя, улыбнувшись сладостно.

Вышли, значит, я постоял перед машиной, посмотрел на людей, собравшихся на Рынке, и, залезши обратно в машину, взял автотомат.

И сразу пожалел, что полез. Ведь это трусость, взять шмайссер, я боюсь, что ли? Это ж местечковые жидки, споро пейсачей, в вонючих халатах, а я боюсь, за шмайссером лезу, они ж не маккабисты какие-нибудь, эти жидки тутошние.

Евреи наблюдали с любопытством, кое-кто украдкой ретировался. Один двинулся смело в мою сторону. В расцвете сил, черная борода густая, будто войлочная, без пейсов, кепка с козырьком.

— Sehr geehrter Herr Offizier...¹ — обратился он на хорошем чистом немецком, сняв кепку. Однако не мял ее в руках, просто держал.

— Я говорю по-польски. — Зачем я так ответил, на хорошем чистом польском, хорош ли и чист мой польский?

— Ах, — смутился еврей.

— О чем речь? — спросил я, а Дзидзя улыбалась, стоя рядом, как королева.

— А стало быть, пан офицер... — ответил он на хорошем чистом польском. — А стало быть, велено нам сегодня собраться здесь, на Рынке, для наведения порядка, всем евреям Зволена велено в извещениях. И вот мы все, евреи Зволена, а здесь никого. И мы не знаем, что делать. И никаких инструментов у нас, потому как написано, что они не понадобятся. Но пан сюда, видно, не с той целью приехал, сдастся мне, верно? Ведь пана офицера не послали бы приглядеть за парой жидов, верно?

Я терпеливо слушал. Дзидзя улыбалась, как королева. Я терпеливо слушал, а потом ответил:

— Нет, никто меня сюда жидов блюсти не присылал. Подождите, кто-нибудь будет.

— Конечно, пан офицер. До свидания. Хорошего дня пану желаю.

1. Многоуважаемый господин офицер... (Нем.)

— До свидания, пан, — едва не приподнял я фуражку в ответ, буд-то шляпу снимал. Еврей поклонился, повернулся и пошел прочь.

— Я хочу в костел, — сказала Дзидзя.

— Тогда идем, — пожал я плечами. Башня виднелась из-за развалин, мы вошли в сожженный переулок, но я внезапно повернул вспять. Ведь авто нужно запереть, повернул вспять, ключик из кармана выгреб и запер.

Евреи смотрели на меня так, будто я обезумел.

Ибо ты обезумел, Костичек, услышь меня наконец, сердцем, а не ухом, но услышь, обезумел ты, Костичек, запирая авто, выказываешь ты собственную трусость и слабость, ибо ты заявляешь тем самым, что кто-либо может осмелиться обокрасть его. Запирая этот шевроле, ты фактически допускаешь, что он будет украден.

Мешугене, думают евреи. Обезумел этот немец, что говорит польски, странный этот немец, что говорит по-польски.

Дзидзя смотрит на тебя странно. С презрением? Нет. Сверху вниз? Нет.

На меня. Нет. На Бальдура? Нет. Дзидзя смотрит на Константина странно, сверху вниз, поскольку в этом мундире видит Константина, а не меня, Бальдура фон Штрахвица, она не знает, что это я, Бальдур.

Dass ich es bin, Baldur, Baldur von Strachwitz¹.

— Почему мы идем в костел?

— Потому что сегодня воскресенье, — ответила Дзидзя со смехом, а я не знаю, она издевается коварно, или для нее в самом деле важно, что сегодня воскресенье, не знаю, не знаю. Кто не знает?

Костел готичен. Сбоку пристроена ренессансная часовня, квадратная в основании, как у Вавельской базилики. Мне ли не один черт.

— Ты не ходишь в костел, Константин?

— Я не крещен, — отвечаю.

Но ведь Бальдур фон Штрахвиц крещен, я крещен, конечно, как же, святой Яцек Одровонж, католическая шляхта. Воеслав из Страховиц также был крещен, уже рыцарь, а не воин славянский, потому побег сукá Воеславова, Бальдур фон Штрахвиц, равно должен быть крещеным, крещена даже черная кабанья башка в нашем гербе.

И Катажина Виллеман крещена, и только он, горемыка, Костичек горюн, не крещен, потому как Орлица ненавидела священников и запретила Бальдуру крестить сына, я же любил одну ее, она была моим миром, и раз уж она ненавидела священников, я ненавидел их тоже и не окрестил своего единственного сына, раз уж она запретила мне, это было тридцать лет назад, и я был так молод, и у меня было лицо, у меня снова есть лицо, у меня есть лицо моего сына, мною не окрещенного.

— Так нелегко было?.. — спросила Дзидзя с заботой и пониманием.

— Я всегда говорил, что мы евангелисты, как учила меня мама, но в кирху мы тоже не ходили, а я все равно врал, что мы евангелисты, что меня крестили в кирхе в Катовицах, но это была неправда.

1. Что это я, Бальдур, Бальдур фон Штрахвиц (нем.).

Дзидзя взяла меня за руку.

— Я бы хотела послушать мессу.

Я посмотрел на часы как идиот, словно бы не знал, сколько времени, словно бы не был уверен, для чего я посмотрел на часы, разве я не знаю, который час, знаю ведь.

— Ведь пятый час уже, — удивился я.

— Но я с тобой. Думаю, ты мог бы попросить ксендза...?

— А они так могут, две мессы в один день?

— Понятия не имею, — улыбнулась Дзидзя. — Костел никогда меня не интересовал.

— А теперь хочешь послушать мессу?

— Именно.

Срать она хотела на мессу, не понимаешь, Константин?

Знаю, что не о мессе речь, знаю, что хочет оценить меня в ситуации насилия. Мог бы отказать ей, но я и сам хотел бы наблюдать себя в этой ситуации, потому стучу в дверь кирпичной, оштукатуренной и уцелевшей под бомбами плebании.

И я заколотил настойчиво, крепко заколотил и кричал, ибо мне казалось, что это пристало ситуации, кричал:

— Aufmachen! Schnell!¹

Ксендз, а скорее викарий, ибо был он молод, беден и худ, в очках с треснувшим стеклышком и погнутой проволоочной оправой, открыл дверь.

— Ja, wogum geht es?² — спросил ксендз. Его немецкий был очень польским, но все же немецким.

— Пани хочет послушать мессу, — отвечаю я.

Смотрю на него, смотрю ему в лицо выжидающе, на мне мундир с немецким орлом на груди, кобура на поясе и офицерские петлицы на воротнике, и эполеты, и фуражка.

Он потрясен моим польским обращением, оттого колеблется, как ему поступить. Потребуй я мессу по-немецки, ему не пришлось бы колебаться, дело бы тотчас пошло, а так, вместо того чтобы просто бояться меня, он еще рассуждает, зачем я по-польски, итак, я снова ошибся, снова ошибка, одни ошибки.

Из-за тощего викария показался пробощ. В силу полярности и стереотипа я ожидал толстого пробоща, однако этот был скорее гномом, поэтому обязательный контраст между священником и викарием исчерпывался осью ординат.

— В чем дело? — спросил пробощ.

— Этот пан офицер говорит по-польски, — опередил меня викарий. — И он желает, чтобы мы служили святую мессу, ибо у сопровождающей его пани есть желание слушать.

— Но мы оба сегодня уже отслужили мессу, — возразил старший ксендз. — А нам не следует больше одной в день. И нельзя, чтобы кто-то приходил и требовал от нас мессы.

1. Открыть! Немедленно! (Нем.)

2. Да, в чем дело? (Нем.)

— Меня это мало волнует, — возразил я.

— Я верю. Но раз пани хочет слушать мессу, то пани католичка, и заветы нашей веры ей не безразличны. А посему... — продолжил ксендз.

— Пан поп... — сказала Дзидзя из-за моего плеча. Она перебила его, и он замолчал.

Она произнесла это очень тихо. Полупрошипев. Произнесла так, как умеют сказать истинные аристократы. И тут не кровь; сказать так умела моя мать, хотя была мещанкой, и не мог мой отец, а ведь его кровь была рыцарской семь сотен лет, извечно.

Ксендзы съежились под ее словами. Ибо обучены были, извечно знали, кто, какая женщина может им так сказать, таким тоном, таким языком, таким образом.

— Пан поп, — повторила Дзидзя. — Я хочу услышать мессу. Я не “кто-то”.

Лица над сутанами вытянулись. С полминуты они молчали.

— Конечно, я не имел в виду вельможную пани. Прошу меня простить, — смиренно прошептал пробоц. — Прошу обождать в церкви.

Так рабы мира сего отвечают господам мира сего. И его дамам. А тебя это задело, Константин, хотя сердцем и душой ты ведь принадлежишь миру господ, ты ведь не раб, а задело все-таки, какой-то миг ты был на стороне того ксендза, пусть даже стоя перед ним в немецком мундире с пулеметом под мышкой. Но ты ведь знаешь, Константин, знаешь, что таков мир, что должны быть и вечно будут повелитель и повелеваемый, и что грань между ними больше, нежели грань между спасенными и проклятыми, что приходят они сюда с противоположных рубежей человечества.

Будь то римский сенатор и его крепостной, барон в кольчуге и его холоп, кшатрий и вайшья, или Дзидзя и этот пробоц с крестьянским лицом, или любая иная конфигурация этих двух отдельных базовых человечеств, повелителей и повелеваемых.

А я на какой-то миг был на стороне того ксендза, пусть даже стоял перед ним в немецком мундире. Хотя ведь знаю, что насилие и угроза, на коих зиждется всякая власть, являют собой простейшую, самую базовую субстанцию мира. И вдруг сейчас, сейчас мне это не нравится, а я так надсмехался над разными кофейными социалистами, когда были еще настоящие кофейни и социалисты, мы издевались над ними, а они горели святым негодованием, держа нас за подлецов, привилегированных подлецов, что носятся на своих машинах, ущерб прочим людям в грош не ставя, и ведь знали все мы, такие, как Яцек либо я, все мы знали, что по праву держат нас за тех подлецов, но знали также, что так должно быть, что таково устройство мира, должны быть такие, как мы, и такие, как они, а мы и дети наши можем очутиться по любую из сторон этой стены, но стена между правящими и управляемыми должна стоять и стоять будет.

Мы вошли в костел. Дзидзя убрала волосы под шелковый платок с яркими цветами. Внутри уродливая готика залеплена уродливым барокко. Меня привлекла одна из часовен.

— О, здесь похоронен Кохановский, — удивился я.

— Какое счастье, что от мужчин я не ожидаю эрудиции, — засмеялась Дзидзя. А я не слишком даже опешил.

Мы сели на скамью.

Ян Кохановский лежал в могиле под плитами пола.

Но без головы, Костичек, голову из склепа взяли, а позже выяснится, что ошиблись телами, что его голова в гробе жены, а голова жены из его гроба вынута неким мародером потомков ради и лежит в коллекции музея Чарторыйских; не та голова, нет — ту голову, как национальную реликвию, спрятали во дворце в Сеняве, и над той, и над не той ворожат исследователи. Но тебя это совсем не волнует, Костичек, верно?

В костел выходит ксендз, фигурка его, замотанная в слои литургических облачений, распухла. За ним малютка министрант, Бог знает, откуда его так быстро вытрусил.

Пробощ не взглянул на вас ни разу. Министрант трясся от страха. Дзидзя встает, ты за ней.

Дзидзя встала, мне так и так повторять за ней.

Ксендз поклонился боковому алтарю и пробормотал на латыни нечто подобающее, творя крестное знамение.

Не то чтобы я никогда не ходил на мессу. Ходил, в Грудзёндзе и потом в Теревовле, с уланами. В личной анкете я, следуя наставлению матери, всегда писал “евангелистское”, зато костел посещал, поскольку не хотел выделяться, к причастию не подходил, и все были весьма довольны и гордились мной, мол, как же хорошо я могу владеть собой в этой ситуации, как раз то, чего они ожидали от хвата: хват будет держаться за свое, надлежащее уважение отдавая главному. Речь о христианстве там вообще не шла, там, в конце концов, были не старушки, а молодые офицеры, уланы — в костел нужно ходить, поскольку нужно, остальное оставим попам и ветхим тетехам. Поэтому я ходил, остальное оставляя хоть бы и дьяволу.

Ксендз с министрантом обменялись комментариями на латыни, которые, видимо, уже открывали мессу.

Дзидзя сидела, вставала и крестилась, ксендз с министрантом гнули дальше свою линию, кланяясь, то и дело крестясь и бормоча формулы.

— Боже, от человека лукавого и несправедного избавь меня, — сказала Дзидзя, не снисходя до шепота.

— Прости? — спросил я с удивлением.

— *Ab homine iniquo et doloso erue me*, — сообщила она. — Ксендз так пошептал, на латыни, а я перевела, Костичек, подумала, что это тебе понравится.

— А ты слышишь, что они там несут?

— Мне не нужно слышать, я просто знаю, что они несут, — улыбнулась Дзидзя.

Я ничего не понимал в этой конъюнктуре. Ксендз нес свое. На алтаре горела лампа.

— Я подожду у машины, — шепнул я Дзидзе в ухо, шепнул, потому что не мог себе позволить разговаривать с ней в голос.

— Уповай на Бога, *quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus meus*, — заявил ксендз.

Ты вышел. Я вышел. Ебаный Кохановский рыбий хуй. Ебанные попы. И Дзидзя. Они играют, все мной играют, будто я мяч какой, будто пяти злотых не стою. Накинул автомат на плечо и пошел прочь. На мне вновь были галифе и кавалерийские сапоги со шпорами, а я не люблю лошадей. Не выношу. С самого конца сборов в Тереховле и до самой войны я ни разу не сидел в седле; жуткими были первые дни после того, как поезд дотащил нас до Великой Польши, и нам пришлось трястись верхом. Когда я наконец спешился, ляжки у меня были ватными от сдавливания лошадиных боков.

Пепелища домов. Женщина, шедшая мимо, едва завидев меня, обернулась нищей, подбежала, протянула руку. Полез в карман шинели, натурально, пустой, так что, отвернув полу, залез в брючный карман, а в кармане моем оказалась мелочь, я захватил горсть, а там пфенниги: пятьдесят, две десятки и пять. Все с орлами, орлы держали в когтях свастику.

Мелочь отца моего, что мог купить за десять пфеннигов человек без лица и хуя?

Швырнул женщине монеты, и закружилась у меня голова, но я не упал. Захотелось плакать, но я не заплакал, не мог я плакать, нельзя было мне плакать, как мог я плакать в мундире победителей, я мог бы плакать, когда бы вместо этой серой шинели на мне был мой мундир из зеленого габардина, но тогда-то я не плакал, я всех видал в жопе тогда, а теперь мне хотелось плакать, о чем, о ком, я хотел бы утопить мир в моих слезах, схватить эту бедную женщину за шею и сунуть ее голову под водопад моих слез, я дошел до Рынка и хотел схватить каждого из этих евреев за пейсы и утопить в своих слезах.

На рыночную площадь въехал мотоцикл с прицепом, в нем сидели двое жандармов, а за ними грузовик. Они как раз ссаживались, когда я показался из-за копченной стены. Каски, прорезиненные плащи по щиколотки, на груди стальные бляхи на цепях, прекрасны эти горжеты, но в целом жалость, культяпки, атрофия латного доспеха.

При виде меня они отсалютовали, а я начал опасаться за свой немецкий, достаточно ли он хорош. Так и так пора пробовать.

— *Wo wart ihr, ihr Säcke!* — рявкнул я. — *Diese Menschen warten hier seit einer Stunde auf euch!*¹

Они зачастили, оправдываясь, уж не знаю, более потрясены тем, что их песочит офицер с ужасными буквами GFP на погонах,

1. Где вы были, вы, говнюки? ... Эти люди уже битый час вас ждут! (Нем.)

или более удивлены тем, что я песочу их от имени тех евреев, здесь собравшихся, от которых, я должен был признать даже перед самим собой, несло безобразно.

Я никогда не был антисемитом, но обожать жидов — тоже не для меня. Это значит: я мог обожать Тувима или Лесьмяна, но таких жидков пейсатых, в халатах, довольно трудно обожать, ведь всем известно, какая ужасная они зараза.

Я отвернулся.

Руки у меня задрожали, не могут дрожать мои руки в этих серых рукавах, не может дрогнуть моя рука, на ней у меня черная повязка с серебряными буквами тайной полевой полиции, оттого я отвернулся, словно бы в ярости, хотя ни в какой ярости не был, я унизил их единственно для тренировки, повернулся и пошел к шевроле, и сел в салон, чтобы мои руки дрожали себе дальше.

Жандармы произвели отбор для работ, выбирая наиболее крупных жидов, раздали им лопаты, штыки и совки, и кирки, после чего жида взгромоздился в открытом кузове грузовика, стискивая свои инструменты.

Те, что остались на площади, вернулись к сонному, бесцельному существованию, никакой суеты, чего суетиться теперь, когда мир еще текуч, еще не застыл в какой-либо форме, а чтобы жидки засуетились, мир должен иметь форму. Без этого у них одно сонное снование.

Я завел двигатель, подъехал к плебании и вновь вошел в костел. Глухой стук моих каблучков по плитам готического нефа, а ксендз аккуратно молчал перед алтарем, его риза словно расшитая золотом скрипка, я шел, а он вздымал вверх хостию, тихо шепча свои латинские заклинания. Я встал на колени, это тот же самый рефлекс, как поприветствовать начальника, еще один навык Грудзэндза.

Итак, я встал на колени прямо посередине, но тотчас поднялся, я не хотел стоять на коленях, Бальдур фон Штрахвиц ни перед кем не встает на колени.

Бальдур фон Штрахвиц стоял на коленях перед твоей матерью, он стоял на коленях перед Белой Орлицей и так и не распрямылся, а ты это знаешь, Костичек, знаешь ведь.

Ксендз исполнил то, что полагалось исполнить с чашей. Вино претворилось в кровь или осталось вином, а во что претворяется кровь в твоих жилах, Константин, не мог бы ты попросить попа не только заменить вино кровью, но и твою кровь заменить другой?

Бальдур фон Штрахвиц ни перед кем не встает на колени, а я встал.

— *Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui, Domini nostri, tam beate passionid, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in coelos gloriosae ascensionis,* — шептал ксендз, а вы оба не слышали ни слова.

Ты сел подле коленопреклоненной Дзидзи, она взглянула на тебя — ты встал на колени.

— *Offerimus praeclarae majestati tuae de tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam,* — шептал

ксендз почти беззвучно, осеняя крестом хостию и чашу, а мне все это было знакомо, но не настолько знакомо, ведь остальные-то знали это с детства, знали наизусть, я же не знал вообще, пока не стал посещать мессу в Грудзёндзе, а после в Теребовле, а уж после опять совсем не посещал.

— *Panem sanctum vitae aeternae et Calicem salutis perpetuae*, — прошептал ксендз и продолжил шептать, помавая руками, белыми рукавами альбы, свисавшими с его тощих плеч, как белые флаги, он продолжал, но я уже не слушал.

Я сидел подле Дзидзи, пока ксендз не добрался до своего *Ite Missa est*, то есть до слов, что всегда вызывали во мне дрожь приятного возбуждения, поскольку именно так кончался невыносимый час скуки и колдовства, от *missa est* шло уже под гору, последнее Евангелие, *in principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum*, затем *Ave Maria, gratia plena, Salve Regina*, и мы могли бы уйти, ведь это частная месса, наша, заказанная и подневольная, я ведь уже выходил раз, нечего мне тут торчать, не обязан тут быть, могу заняться тем, что мне нравится, но однако жду, зачем жду? Потому что я жду Дзидзю, чем еще я мог бы заняться в этом говенном жидовском местечке, и в итоге *Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis* и конец, конец, я доторчал до конца, как будто высидел полковую мессу в Теребовле, можно наконец вздохнуть и уйти, уйти, и ксендз уходит, Дзидзя встает и уходит, и я за ней, а вокруг меня серо-зеленый мундир и шинель и ремень с кобурой и пистолет-пулемет выходят.

— Заночуем здесь, — объявила Дзидзя перед костелом.

— То есть где?..

— В плebании. Уже поздно. Говорила же, что мы не будем спать в поле. Устрой это.

Из сакристии идет пробощ, уже без этих жреческих цветных облачений, в одной черной рясе, поэтому я подхожу к ксендзу, и он меня не боится. Он боялся меня прежде, а теперь не боится, а может, просто боится не так сильно.

— Мы заночуем в плebании, — говорю.

Ксендз только кивнул, подтверждая, что он услышал, поскольку речь ведь не шла о согласии или несогласии.

— Пусть мальчик принесет вещи из багажника, — сказал я. Ксендз опять кивнул головой, жестом, но без единого слова приглашая нас в плebанию.

Мы вошли. Интерьер довольно неряшлив, как водится в Польше, однако войной не тронут, — подумалось Бальдуру.

Бальдуру?

В коридоре викарий, он провел нас в столовую. Я отдал ему шубку Дзидзи, потом свою шинель и фуражку, он осторожно повесил их на вешалки и в шкаф.

Мы сели за большим столом, с одного конца.

— Ужин будет очень скромным, мы почти голодаем.

— У нас есть деньги, — сказал я.

— Нет-нет, благодарствуйте, но нет, — сказал пробощ, входя в помещение. Он также сел за стол.

Минуту спустя в столовую заглянул мальчик.

— Багаж паньства занес до комнат, — сообщил тихо. У него была умная и грустная мордочка учительского сынка.

— Я желаю иметь отдельную спальню, — предупредила Дзидзя.

Викарий с пробощем поглядели друг на друга, как поглядели, с удивлением? Не знаю. Поглядели.

— Пани может в моей комнате, пан у ксендза викария, если господа так пожелают, — сказал старший из ксендзов.

В столовую вошла хозяйка, молодая и рослая. Поставила на стол супницу, рядом с супницей полбуханки хлеба. Немного.

— Это все, что есть.

— Нам довольно, благодарим, — сказал я.

Примирияюще? Разве примирияюще?

Хозяйка разлила суп по тарелкам и отошла от стола, съест свой обед на кухне. Крепкие, широкие бедра, плечи тоже мощные, как у пловчихи, бюст большой и тяжелый, не слишком спортивен и не очень изящен, но образу подходит. Одетая крайне убого.

Пробощ прочитал молитву и первым, на правах хозяина, зачерпнул жидкого супа из тарелки.

— Странно, что ксендз пробощ со столь юным викарием в приходе допускает столь молодую хозяйку, — завела беседу Дзидзя, точно тогда, когда полагается, после четвертой ложки супа, когда тишина сделалась отчетливой, но еще не напряженной.

Что за идеи, говорит пани Чеславова Бельская из Трубецких, ну же, ответь-ка мне, Константин, когда мы начинаем разговор на званом обеде?

Викарий едва не подавился супом. Пробощ глянул на Дзидзию и мгновение молчал, гадая, как вообще может он реагировать на подобный диктум. Если поддержать беседу, не значит ли это, что он не только впустил этих польскоязычных немцев под невербальным давлением в дом, но и угощает их, принимает их. Они не квартируют у него, но у него гостят. И как реагировать на трезвое по сути замечание этой странной, храброй женщины, кто она, кстати? И осмелится ли он обидеть ее, не отвечая или же отвечая нелюбезно? Но не застрелит же его этот вот человек в сером мундире, офицеры не стреляют в ксендзов, уж точно не за обедом, даже за столь скромным. Или уязвить викария, приняв эту игру, не споря с ее замечанием, но и не манкируя им? А вдруг правда?

Стало быть, мгновение пробощ молчал, а в конце отщелкнул:

— Не было под рукой ни одной старой и уродливой.

Невелика этому цена, теперь на карту поставлено потенциальное обаяние викария, который отдышался, устался в свою тарелку и усердно шурует ложкой, словно бы на свете ничего, кроме супа, его не волновало. Может, так оно и есть: прежде утолить голод.

— Но ксендз викарий не таков, а Ханна наша замужняя женщина, к нам заходит только, — объяснил ксендз пробощ, а пани Ханна

внесла тоскливую бутылку вина. Ксендз отвесил ей гневный взгляд.

— Четыре еще осталось, ваше преподобие, так я решила, что принесу, раз гости, то, может, и захочется еще... — голос стихал с каждым словом.

— Ну так пускай Ханна ставит это вино, открывает и уходит, — буркнул пробоц.

И я знал почему, потому что теперь он немца не только принимает, но и пьет с немцем, немца поит.

— Я рюмки принесу, — ответила та невозмутимо. — А ксендз викарий пусть откроет.

Открыл, разлил вино по стаканчикам. Я пригубил, гнусное, но часом и гнусное в масть. Мы выпили. Все молчали, Дзидзя забавлялась нависшей над столом тишиной, будто властвуя надо всем и надо всеми, собравшимися за столом, быть может, так оно впрямь и было, наверняка так и было, ведь кто бы еще.

— Пора ложиться, завтра утром... — начал было пробоц, вставая со стула, и смекнул, что никакой сказки он не выдумал и нету под рукой ни одной.

Дзидзя смеялась уже в голос.

— Ну так идем ложиться, идем. А где будут спать преподобные, коли мы комнаты займем?

— Ох, как-нибудь справимся... — смешался пробоц.

— Ксендз пробоц точно, а вот викарий бедный... Не в коридоре же ему.

Настолько прозрачным был этот флирт, что даже пробоц заметил, у ксендза викария, что был, всего вероятнее, девственником, тряслись руки, а в лицо ударил багрянец. Проехали.

— Господа еще посидят здесь немного, пока мы с Ханной подготовим комнаты в их распоряжение, — пробормотал пробоц, и оба они ушли. Из-за закрытой двери мы сразу услышали, как старший клирик песочит младшего, но отдельных слов было не разобрать.

— Нравится мне этот викарий, — сказала Дзидзя.

— Ты врешь. Не может нравиться тебе этот шматок мужчины, мальчик почти.

— Не может? Это запрет?

— Изумление скорее.

Она усмехнулась. Вот уж *Sektlaune*, поистине. Шампанское настроение.

— Может, соблазню?

— Вряд ли это тебе многое даст, такой невинный закончит тебе все веселье, едва увидит, как ты играешь своими волосами.

Я пытаюсь сохранять хладнокровие и притворное равнодушие, она оценила. Играла своими волосами, и я на миг испугался, как реагирует она на такой откровенно пошлый и циничный комментарий. Как сказала бы пани Чеславова Бельская из Трубецких: девица сия кажется мне вульгарной и склонной к циничным романам, полагаю, что, обратившись к оной, ты перечеркиваешь все, что мы пыта-

емся на данных уроках усвоить, понеже поляк настоящий не заглядывается на подобных девиц, что рисуют чулочные швы себе на икрах, а я ведь имела в виду эти швы, а ты аккурат имел в виду эти швы, мне было пятнадцать, и ночами я в исступлении тербил свой причиндал и пачкал постель, грезя о том, что бы такая девица в таких чулках могла со мной сотворить, я никогда не задумывался, что я мог бы соговорить с ней, только лишь что она могла бы творить со мной.

В столовую вернулся пробоц с двумя горящими керосиновыми лампами в руках.

— Прошу, покои готовы.

Мы пошли за ним, лестница, коридор, одна дверь для меня, рядом другая дверь для Дзидзи, одна лампа для меня, другая лампа для Дзидзи.

— Идем спать? — спросил я, дурак, дурашливо спросил. Дурно.

Дзидзя саркастически вздохнула и закрыла за собой дверь спальни пробоца. Так что я вошел в комнатку викария, равно закрыв дверь, не могла же она остаться открытой. Расстегнул ремень, снял форменную куртку, а сил бороться с сапогами у меня не было, так что я лег на кровать в сапогах, стараясь, впрочем, чтобы мои подошвы не замарали простыни, так что стопы у меня остались вне кровати, одна на другой, и было мне не очень удобно. Спустя какое-то время мальчик принес багаж, я велел ему стянуть сапоги, он снял их с меня, ни дать ни взять умелый денщик, я не спрашивал, откуда это умение, он вышел.

Я продолжал лежать, ночь за окном, хотя едва только шесть. Я взглянул на часы. Если точнее, то полвосьмого, не шесть. Уже и в самом деле нечего вставать с кровати, так что я уснул и спал, не знаю, как долго.

В коридоре шаги. Я открыл, открываю глаза. В коридоре шаги, босиком, потому как подошва не стучает, лишь мягко поскрипывают доски. В окне луна почти полная, но уже склонная к умиранию. Щель под дверью темна, значит, кто-то идет без света. Встаю тихо, как только могу, подхожу к двери и отворяю ее, словно откидываю крышку собственного гроба, и вижу ее, идет. Хозяйка идет, крадется, ее бедра пышные, Ханна идет, она ведь не тут ночует, однако идет, крадется, босая. Я закрываю дверь. Стучит.

— Яцек, — шепчет. — Яцек!.. Открой, — шепчет.

Яцек? Голосом Иги. Викария зовут Яцек? Голосом Сали.

Не открываю. Дверь.

А вовсе не тут она, далеко, Костичек, в доме несгоревшем, от местечка вдали в доме том голубит детей, у которых впереди еще столько беды, столько муки, столько боли, годы сороковые и пятидесятые и шестидесятые, Зволин, и на что она пестует их, для жизни какой, на что? Но тебе это неизвестно, а может, именно ведомо, может, не о них именно, но ведомо вообще. Ведомо?

Неведомо.

Неведомо мне, ведомо ли тебе, Костичек.

В коридоре шаги, и я открыл глаза, открываю. Шаги босы, тихи, без каблучков, один пол скрипит, мягко поскрипывают доски. Тихо сползаю с кровати и тихо, чтобы ничего не заскрипело, к двери, однако пол скрипит, а со стены глядит на меня Пан Езус, отворяю дверь, словно отворяю стальные ворота бункера, опасаясь пули, медленно, медленно, я бы выставил перископ, но лишь выглядываю, потому как нету.

Дзидзя идет темным коридором плетения, и луна почти полная, хоть и к умиранию склонна, а Дзидзя нага, но закутана в белую простыню, и откуда идет, потому как куда идет, так в комнату свою пробоца идет, но откуда Дзидзя?

— Костек? — повернулась ко мне.

Я быстро закрываю дверь, и сердце вдруг екает, как будто она застала меня за чем-то постыдным, может, и впрямь так было, что застала меня за чем-то постыдным. Скрипят половицы, пол. Луна почти полная, но уже склонная к умиранию.

— Костек. Открой, — сказала она через дверь, близко. Она была тут же, за дверью. Я открыл. Была обнажена, наготу прикрыла лишь простыней, и вошла, без вопросов.

Закрывает за собой дверь, и я увидел ее тело, по-прежнему скрытое под простыней, и так я увидел его, ее тело, что было настолько субтильным, настолько не в моем вкусе, и я пожелал ее так сильно, а она пришла и была здесь со мной, у меня.

Я потянулся к этому телу, закутанному в простыню, и притянул его к себе, и оно не защищалось, она не защищалась. Прильнула ко мне, крепко. А ведь это все.

— У тебя в кармане пистолет, или ты просто рад, что я пришла? — пошутила, не отрывая лица от моего плеча. Зачем пошутила?

Я дернулся в плоской усмешке, чуть-чуть, и попробовал, пробую ее поцеловать, что не так-то и легко, ее лицо у меня на плече, так что я пробую, лицо ищет дорогу к другому лицу, лицо пробует обратиться другое лицо к себе, и уже ведомо, другому лицу ведомо, что губы стремятся, близятся к губам, я уже ловлю ртом ее дыхание, и когда это случится, то все случится.

— Константин! — отталкивает меня она. — Что на тебя нашло!..

Даю себя оттолкнуть, позволяю ей меня оттолкнуть, и она отталкивает, оттолкнула, и мы уже разделены океанами, мы уже всем разделены, хоть я и стою босым в галифе и рубашке, луна за моей спиной, а она стоит нагой и завернутой в простыню и босой стоит, а между нами океаны черны.

— Ты ошалел? — фыркает Дзидзя.

Нож святит, в сердце целит. Сглатываю слюну, а для чего, за что?

— Извини. Ты пришла, почти голая...

— Ты, стало быть, думал, что можешь меня пердолить? — спрашивает она, так не должна спрашивать, зачем это слово, зачем? Так может сказать мясник. Или капрал. А это она так говорит, так говорит Дзидзя. Я думал, что я уже другой, что из-за нее, благодаря ей я

уже другой, что изменился, что понял, что я это я, особый и крепкий. А теперь снова.

— Я не буду спать с тобой, Константин.

— Ластишься ко мне голой, одной простыней укутана.

Дзидзя пожимает плечами.

— Зажги лампу.

Ищу, значит, спички, я же их возле лампы клал, вот спички, поднял закопченный абажур, зажег, подкручиваю фитиль, ладно.

Дзидзя садится в изножье кровати лицом к изголовью, садится таким образом, что я знаю, что должен сесть в изголовье, подальше от нее, но лицом к ней, и так сажусь.

— Константин! — говорит Дзидзя, и нет в ее голосе ни злобы, ни издевки.

Слушаю.

— Константин...

— Где ты была? — спрашиваю, дурак, спрашиваю, дураком будучи, а она готова была сказать мне что-то важное, то, что я хотел бы слышать, надо же было спросить, а теперь она мне не скажет, потому что спросил: где ты была, где ты была, дурак, дурень, вижу.

Вижу, что готова была к тому, чтобы сказать мне что-то важное, а теперь холодная злость и желчь холодная. Все испортил. Для чего?

— Я была у викария.

— У викария?

Дурень, дурень, дурень.

Смеется в лицо. Не мне — надо мной.

— У викария. Не такой уж он таки шмат мужчины.

И ведь знаю, что врет, знаю ли я, что врет, знаю, что врет, но, однако, нет. Потому как, может, и врет, а может, и нет.

— Рассказать тебе? — язвит.

— Не рассказывай.

Ведь если ты не расскажешь, я смогу думать, что это неправда, потому как ложь, но если ты расскажешь эту ложь еще подробнее, то я не смогу больше так думать, хотя ничуть ты у него даже не была.

Не была, Костичек. Не была?

— Константин, ты мог бы жить по-другому.

— Как?

— Ты мог бы жить самим собой, не другими. В самом деле, ты мог бы.

Ее голос, ее слова, ее глаза. Знаю, никакой телесной близости не будет, но разве не может быть близость больше, ближе, крепче?

— Кто ты такой, Константин?

Кто я такой? Я Константин Виллеман, и я люблю женщин, авто и морфий, люблю сидеть в кафе со знаменитыми людьми, сам ничем не знаменит, однако же сиживаю, сиживал с ними равным среди равных, что возвышало меня над ними, ибо каждый, кто там сиживал, должен был чем-то отличаться, мало быть генералом, нужно было быть Венявой, мало поэтом, нужны Тувимы либо Лехони, а

между ними сию я, сидел я, никто, а оттого некто, поскольку все знали, мол, сын немецкого графа, мол отрекся, а кто отрекся, однако же знали, и это моя безличность меня над ними возвышала.

Я Константин Виллеман, люблю женщин, люблю танцевать и не люблю лошадей, я предпочитаю авто, люблю шотландский твид и летние костюмы из тонкой шерсти, мне нравятся автомобильные ралли и вертящийся дансинг в Адрии, нравятся джаз, нравятся шампанское и морфий, я ненавижу армию и мундиры.

— Кто ты, Константин? — повторяет вопрос Дзидзя. И встает, задувает пламя лампы и возвращается на место, где сидела, меня по пути не коснувшись, а была близка. Желтое светило зашло, остается синее.

— Кто ты, Константин? — все еще звучит, слова еще не угасли.

— Ich bin Baldur von Strachwitz.

— Кто ты, Константин? — повторяет вопрос.

Не ответить.

— Не знаю.

— Ты тот, кто ты есть, понимаешь? Ты такой, какой ты есть. Не иной. Понимаешь? — говорит Дзидзя, придерживая белую простыню на худом белом теле, белом от луны.

— Не понимаю.

— Знаю, что не понимаешь. Был бы другим человеком, когда бы понимал.

— Я не немец.

— Знаю.

— Я поляк?

— Это неважно.

Неважно. А что важно? Вся моя жизнь прошла под этим знаком: быть поляком, быть поляком.

Дзидзя встает, простыня обвивает ее худое тело, обжимает маленькую грудь.

— Иди спать, Константин.

Она ушла. Я остался наедине с лунным светом, я не дружил с ним, так что задернул шторы, бросился на кровать и заснул.

Глава XI

Пахнет табаком. За окном темень, в комнате желтый свет. Часы, стрелки лоснятся зеленью. Пять часов. Что?

— Вставай, время.

Дзидзя с сигаретой в руке, одетая как в дорогу, а я в раздрае. Лампу очевидно зажгла Дзидзя. На столик ночной поставила кружку с кофе, пахло кофе, хорошим.

— Жду у машины.

И ушла.

Я оделся быстро, только с ногами проблема, икры у меня как-то опухли, но сапоги в конце концов я натянул. Потом вычистил зубы

над жестяной раковиной, вода в кувшине очень холодная, я позвал в пустой коридор, Ханна принесла горячей — для бритья. На меня не смотрела, уставив глаза в пол. Над умывальником зеркальце, все в пятнах. В нем мое лицо, порванное, поломанное, покусанное английской шрапнелью, иное, нежели в моих документах: лицо-маска, лицо-не-лицо, монстр, а не лицо. А поссать, поссать-то как?

Я поссал хером Константина, побрил гладкое лицо Константина.

Пригладил всклокоченные волосы, застегнул куртку, потом шинель, пуговицы в два ряда, ремень с кобурой и португесей пристегнул на шинель, взял багаж и автомат и вышел на улицу, где все еще стояла полная темень.

— Жду тебя четверть часа. Мог бы по крайней мере ключики мне дать.

— Ты же ушла прежде, чем я успел встать с кровати.

Мы сели, я завел мотор. Погода испортилась, пасмурно, очень холодно и сыро.

— Куда мы едем? — спросила Дзидзя.

Карта была у меня в голове, мы едем на юг. Я включил фары, и снопами света мы протаранили разрушенные улицы вплоть до самого Рынка, свернули влево, а после вправо, выезжая с разбитой площади, по которой теперь никто не сновал.

Шоссе на Цепелюв было пустым и даже не шибко шоссе, хотя покрытием обладало довольно твердым. Ехать приходилось осторожно, о скорости больше сорока в час не шло и речи; поэтому ехал я медленно.

Над синим куполом туч стало светать, когда мы миновали Сицину, затем Цепелюв, а в нем через малый Рыночек, где движения почти не было, евреев меньше, чем в Зволене, но там они ждали работы, здесь же просто спуют на заре, ища, чего бы поесть, а с ними пара унылых мужиков. А среди них еще тройка грязных деток.

— Остановись, пожалуйста, — попросила Дзидзя, и это были первые слова, сказанные ею от самого Зволена, хотя ехали мы уже добрых полчаса.

Два маленьких мальчика, босиком. Третья девчушка постарше, тряпошные обувки на ножках, сдается, десятилетки.

— Что вы тут делаете, детишки? — спросила Дзидзя, опуская оконное стекло.

— Живем, любезная пани, — ответила старшая девочка.

Моя спутница протянула в окно руку с серебряным Пилсудским.

— Вот десять злотых, пожалуйста.

Мальчики вопрошающе смотрели на старшую товарку. Та и ухом не вела.

— А что надо за эти десять злотых сделать, добрая пани?

— Ничего. Только взять. Купите себе и маме булок на завтрак.

Девчушка взяла монету, подробно изучила, я ждал, не прикусит ли, но она просто сунула ее в карман пальтеца.

— Мама умерла.

— Во время войны?.. — обеспокоилась Дзидзя.

Девчушка смотрела через окно на меня, на меня смотрела, на меня, ее взгляд застыл на моем темно-зеленом немецком воротнике. Немецком.

— Нет. Уже три года будет, как мамуся умерла. Пошла к жидовке тяжесть согнать, да и умерла при этом сгоне.

— Едем, — выпихнул я слово сквозь ком в горле.

Дзидзя игнорировала меня полностью, хотя это я был за рулем, я вел, в моей власти было переключение передач, выжимание сцепления, открывание дроссельной заслонки и езда, езда. Власть имел. Но не поехал.

— Как тебя зовут? — продолжала Дзидзя.

— А это важно?

— Нет.

— Магдалинка.

— А это братишки твои тут, Магдалинка?

— С чего бы. Не знаю этих подкидышей, — решительно отрезало дитятко.

— И не поделишься с ними? — спросила Дзидзя.

— И разговора нет.

Дзидзя понимающе покивала головой, покрутила ручку, окно закрылось.

— Тогда вперед.

Я съехал в первый поворот налево, дорога была очень плохой, хуже, чем помнилась мне, если помнилась, что-то помнилось, но что? Раньше вот так ездили. А ты уверен ли? В Зволине да, в Зволине уверен, но вот так ли?

Слева озерцо, у озерца мельница. У дороги человек и халупы при дороге, которая почти превратилась в тропу, травой поросла посередине.

— Дорога на Липско? — спросил я.

Напуган немецким мундиром и польскими словами, но не убега-ет, может, боится бежать. Обтерханный, усатый донельзя, крестьянские высокие сапоги и шапка, тотчас же сорванная с головы. Не смотря на дождь, который только что начал накрапывать.

— Не на Липско, пан.

— Вернуться в Цепелюв?

Он призадумался.

— Не вернуться, пан, не вернуться, крюка давать. Тут сию мину-ту надо взять вправо на Калкув, и проселочек такой же, как этот, че-рез лес будет, в Струге вельможный пан на шоссе на Липско выедет.

Я пригляделся к нему. За что? Старый усач, шапка в руках. В та-ком мире живем: я сижу в американской машине, в немецком мун-дире, у меня оружие, рядом сидит красивая женщина, а у него в ру-ках шапка и нет ни машины, ни оружия, ни мундира, ничего, кроме этой шапки. Зачем у одних извечно есть все, а у других — ничего? Глупейший из вопросов! Если бы у всех было поровну, тогда надо было бы спрашивать: зачем, зачем...

Я поехал. Взял вправо, как он сказал. Дзидзя молчала, смотрела в правое окно, как бы обиженная — на что, за что на меня, что между нами такого, чтобы Дзидзе обижаться. Дурость. За окнами убогие хутора, калкóвские.

А потом лес. Сосны. Мы едем.

Лицо Дзидзи отвращено от меня. Дзидзя далеко. Мое колено, рычаг переключения передач, перфорированная жезь пистолета-пулемета, а дальше колено Дзидзи, ее колено в колготках телесного цвета. — Осторожно!!!

Мир съезживается и плотнеет.

Тормоз, скрежет, жуткий хруст, машина летит боком, тело стягивается в жесткий сгусток, я знаю это, знаю, у меня две аварии были до войны, я знаю. Кишки зашнурованы в корсет. Но вижу: я еще справлюсь, только бы вернуться на дорогу, руки на руле жесткие, как шатуны, я газую, и влево, и уже.

Порядок.

Останавливаюсь в полуметре от упавшей поперек дороги сосны. Наконец-то выдох, мой и Дзидзи, легкие выпускают воздух. Но я все еще ощущаю дрожь в теле, возбуждение, итак, смотрю, вижу, думаю резче: свежесрублено. Дерево.

— Ложись, — кричу я Дзидзе, а сам левой открываю дверь, правой хватаю автомат и выкатываюсь из машины. Уже. Поздновато.

Из леса летит на меня зеленый мундир. Штык на стволе винтовки, штык в грудь мою вонзится. Каска французская Адриана. Но спотыкается о камень, теряет равновесие, не падает, но теряет ритм.

Я успею. Затвор назад передернуть. Я успеваю. Никогда не стрелял из пистолета-пулемета. Стреляю, плохо, невыгодно, лежа и от бедра, прикладом в землю, но зеленый мундир, французская каска Адриана невдали.

Попал, двумя пулями в грудь. Его перевернуло и падает. Кони из леса ржут. Засада. Польские уланы. Я убил человека.

Рожа солдата, получившего две пули в грудь, мне знакома.

Раздается винтовочный выстрел, но мимо, вздымает облачко песка, пуля впритирку, стрелка не вижу. Я мог умереть, ныне и во веки веков, аминь. Из машины сквозь открытую дверь за мной надо мной щелкает пистолетик Дзидзи. Второй выстрел из винтовки и снова мимо, и я перевертываюсь на живот и вытягиваю по лесу очередь, как из эркаэма, и ни в кого не попадаю, и твяканье затвора, боек дырявит воздух в пустой камере; тишина, точка. Знаю уже, что проиграл, ни в кого не попал, второго магазина нет, лежит на полу машины в подсумке. Далековато. Надо было спустить все дурацкой очередью. И пистолетик Дзидзи смолк. Обратно на спину и в кобурю на бедре лезу, но знаю, не успеть, из леса летит уже второй зеленый мундир, улан летит, шлем тоже французский, Адриан, а под ним: старший улан Бочага, только не эркаэм, а винтовочка. Летит в меня штык, Бочага не стреляет.

Он же мертв, схлопотал в лоб на улице Гурской, перед Селецким парком схлопотал, когда я послал его к эркаэму, схлопотал, в

люб схлопотал, в каску Адриана схлопотал пулю прямо в башку, вышла затылком, спина забрызгана кровью и мозгом, а голову он положил на приклад эркаэма на локте, будто вздремнул, спина забрызгана кровью и мозгом, и летит на меня, не на меня, на Бальдура фон Штрахвица летит, штык в меня вонзить, точка.

— Стой!.. — вопль из леса.

Бочага, который мертв, мы похоронили его у костела Воскресенцев меньше месяца назад, что, впрочем, при всем при том не оправдывает того факта, что сейчас летит на меня со штыком тот, чья голова была капитально прострелена, а тело в целости и католическим образом закопано, хоть и у Воскресенцев. Летит на меня и что же, воскрес?.. Расстегиваю кобуру, не расстегивается.

Но не долетел. Секунду я думал было, что Дзидзя сняла его из пистолета, но Дзидзя не снимала его из пистолета, потому как, видеть, не нагребла в сумочке второй обоймы, если у нее вообще была вторая обойма, а теперь кто-то тащит ее за волосы из шевроле, а Дзидзя вопит, пусти, хам, вопит! Ее вопли обещают задиранье юбок, раздиранье нижнего белья. Мне эти вопли незнакомы, я никогда их не слышал, никто никогда при мне не насиловал женщину, однако же знаю откуда-то.

Итак, это не Дзидзя, но удержался жуткий улан Бочага и не прокнул меня штыком, а задержал штык на моем горле, острие упирается в кожу, моя правая рука застыла на кобуре полустегнутой, уже ремешок из пряжки выковырял был, оставалось расстегнуть только кобуру и вытащить пистолет, но поздно.

— Не убивай! — крик.

Знакомый голос. Выходит. Как клепсида, оттого что шинель в пол утянута ремнем, в подоле широко, в плечах широко, в талии узенько, сабля, рогативка, Virtuti к груди пришпилен, сапоги выложены, шпоры, на поясе кобура, радомский ViS в руке. Ротмистр Хохол. За ним еще двое: улан и пехотинец в глубокой пехотной каске.

— Что с капралом Ваничком? — указывает он на того, кого я застрелил.

Пехотинец чиркает ладонью по горлу.

Я убил человека. Ничего не ощущаю. Я и не ожидал что-либо ощутить. Я не боюсь убивать людей, оттого что собственной смерти тоже не боюсь.

— Убит.

— Убит, — задумывается Хохол, затем подходит ко мне и встает надо мной, и вдруг он узнает меня и не узнает. Узнает, оттого что узнает мое лицо. Но не узнает.

— Виллеман? — спрашивает. И если вообще можно не верить своим глазам, то не верит. Но некоторые никогда своим глазам не верят.

— Это он, пан ротмистр, — ответил Бочага. — Только мундир какой-то иной. Но это он. Я его по форту “Домбровский” помню.

— Ебись своим Домбровским, ведь ты же был у меня во взводе, рыбий хуй, и тебя застрелили!.. — рычу я.

— Ожондала, возьмите у него пистолет и автомат, — скомандовал ротмистр.

— Ваничека убил. Насмерть.

— Но это ведь Бочага, старший улан Бочага, — требую правды.

— Ты не только предал, Виллеман, но еще и обезумел? — трезво удивился Хохол. — Бочага же на Гурской застрелен был, похоронен у костела Воскресенцев. Это вахмистр Ожондала, шеволежер из второго шеволежеров, и в целости не есть застрелен, оттого что ты скверно старался, Виллеман.

— Пан ротмистр, а как с той курвой немецкой? — спросил солдат, что вынул Дзидзю из машины и теперь держит ее за волосы, а та стоит на коленях в пыли.

— А почему говоришь, что курва немецкая? — удивился ротмистр, пряча пистолет в кобуру.

— Потому по-польски вопила. А с немцем сидит.

— А, ну да. А что бы хотели с ней...? — недоуменная пауза. Солдат смущен.

— Ну, пан ротмистр... ну, знает пан. Косатка. А давно ничего...

— Может, после. Сейчас я должен их допросить, потом решим, что, как и где. Ясно?

— Он Ваничека убил, — мрачно сказал Бочага-Ожондала, забирая мое оружие, сказал, словно собирался застрелить меня *hic et nunc*, не дожидаясь, пока я встану.

— Я пана ротмистра видел в Варшаве. Позавчера. Я сбил его на улице, ехал на этом автомобиле, шевроле, — сказал я, защищаясь и все еще лежа на земле.

— Не помню, чтобы мы виделись.

— И однако.

— Знает пан, пан Виллеман, последние несколько дней мне как-то нехорошо.

Они подняли меня, Ожондала и рядовой в круглом шлеме, подняли и понесли, понесли в лес меня и за мной Дзидзю, понесли в лагерь, а тем часом шел дождь.

Незаслуженное клеймо в этой мороси нес я, Бальдур фон Штрахвиц, не предавший никого. *Weil ich niemanden verraten habe*¹.

Незаслуженно нес, не предав никого, я, Константин Виллеман, я.

Вслед за нами по мокрой подстилке волочили тело Ваничека, застреленное мной. На плече у Бочаги-Ожондалы повис мой пистолет-пулемет, пустой и мертвый.

— В Варшаве говорил пан, пан ротмистр, что был пан королем Польши, — сказал я.

Хохол повернулся ко мне, удивленный.

— Меня зовут Ян Хохол и я последний король Польши, — сказал он, удивленный тем, что я вообще спросил.

1. Потому что я никого не предавал (*нем.*).

Ожондала кивнул, подтверждая очевидное.

Жизнь это сон.

Но это не сон.

В лагере костер, две скверных палатки, три коня — один хороший, верховой, и два одра, таких в брыкушку пехотную, не в кавалерию, и коновод при них один.

Меня посадили к огню, рядом со мной курва немецкая Дзидзя. На безлошадных седлах, расставленных по кругу, ибо коней не было, а сидеть на чем-то надо.

— Ожондала, веди остальных в патруль. Границей леса на запад, пересечете шоссе, но так, чтоб из Анусина вас не увидали, к Домброве до Порембы, оттуда назад по просеке.

— Там, где... Ну, пан знает, пан ротмистр... — заикнулся Бочага, выдававший себя за Ожондалу.

— Нет, туда идти не следует, что ж там может поменяться? Убитые на рассвете останутся убитыми. Я допрошу пленных. Выполнять!

— Слушаюсь, пан ротмистр. Прошу позволения вопрос задать.

— Разрешаю.

— Боеприпасы закончились. Тогда как же это в патруль?

Хохол аж подскочил.

— Как это закончились! У вас ведь, Ожондала, было два патрона, утром у вас было два патрона! Что есть стремление стрелка, вахмистр, ну, что?!

— Покорно докладываю, каждому стрелку при ведении одиночного огня должно стремиться, чтобы после каждого боя он мог сказать, в какую цель целился при каждом выстреле, — хмуро продекламировал вахмистр.

— Так точно. В какую цель вы целились при каждом выстреле, вахмистр?

Капрал Ожондала огорчился, глаза в землю уставил.

— Покорно докладываю, имел две пули, но выстрелил дважды, как этот немец посек в нас из автомата.

— Ну и, будьте любезны, сколько же раз вы попали, вахмистр? — шерстил его Хохол.

— Не попал ни разу, покорно докладываю, — возразил вахмистр, но челюсти сжал не в раскаянии, а в ярости.

— Я говорил: не стрелять! Пуля дура, штык молодец!

— Покорно прошу извинить, пан ротмистр. Докладываю, пистолет у немца забрал и автомат. К той семерке две полные обоймы; автомат однако пустой.

Хищный, яростный взгляд уставил в него Хохол.

— Так вы же не думаете, Ожондала, что с пистолетом в патруль пойдете?

А я подумал, как это все походит на то, что вот-вот зародится тут совет солдатских делегатов. И начнется срезание погонов и, кто знает, не еще ли чего похлеще. Ожондала отложил мой пояс с кобурой и мой пп.

— Покорно докладываю, что не решился бы, — ответил он тяжело.

— И ладно. Шагом марш. И убрать мне там это дерево с шоссе.

Ожондала кивнул, и они пошли, закинув винтовки на плечо, пошли. Хохол достал из кобуры ViS, не так давно в нее спрятанный. Подбросил в огонь дров.

— Ну, рассказывай, Виллеман.

— А что рассказывать?..

Хохол не отвечал. Дзидзя сидела рядом со мной, против ротмистра, неподвижно, но без страха. Хотя над ней предполагалось снасьничать. Я был бы удивлен, если бы она испугалась.

— Не говори ему ничего, — вдруг прошептала она.

— Я услышал это!.. — Хохол погрозил нам пистолетом. — Знаете, что имею власть расстрелять вас?

— Никакой власти не имел бы, когда бы не держал в руке пистолета. Никто ее тебе авансом не давал.

— О, что ты, вот уж нет! — Хохол был возмущен. — Меня зовут Ян Хохол и я король Польши! Власть моя исходит от Того, кто меня создал.

— Он сумасшедший, — шепнула Дзидзя.

— Услышал! — завелся Хохол. — Думаю, велю все-таки вас расстрелять. Тебя за измену, — он направил на меня ствол. — А тебя, женщина, за братание с врагом.

— Сделай что-нибудь, — шепнула Дзидзя. — Ты только не должен открываться ему.

На этот раз Хохол не слышал. Почему я спокоен?

— Я расскажу вам мою историю, а вы узрите свою тщету, — вставая с седла, объявил ротмистр. Он заложил руки за спину, ViS по-прежнему в ладони. Начал медленно ходить вокруг костра, я думал, он подойдет ко мне, приставит ствол к уху, как раненой лошади, но нет, лишь перипатетически ходил, вещая.

— Я никогда не доверял тебе, Виллеман. Знаешь, впрочем, что о тебе говорено, гроб повапленный? Что ты поляк только сверху, а стоит поскрести, то немец. И что ж, не были правы все, Ксык, даже Рудницкий слушал это и не протестовал, не были они правы?

Воздел руку с пистолетом, упер ногу в седло, ни дать ни взять актер возвышенных форм, и вещал. Сидевший неподалеку коновод прервал дрему и вник в вещание Хохоло как зачарованный, лепеча что-то себе под нос, и этот лепет сливался с речью леса, творя монотонный возвышенный аккомпанемент к словам ротмистра. А тот вещал:

— Я не сложу оружия, никогда. Пистолет рука моя выпустит лишь тогда, когда охладет и умрет. Так я присягал Язловецкой Мадонне перед тем, как пойти на войну, и ни полковник, ни главнокомандующий Шмиглы-Рыдз, ни даже Бог не могут освободить меня от этой клятвы, только она. А от нее приказа о капитуляции я до сих пор не слышал и услышать не чаю. Во всем народе отыскал я пятерых мужчин, что согласились повторить в моем присутствии мою клятву, и разве этих пятерых недостаточно, чтобы весь народ

из мертвых восстал? Будут закваской Новой Польши, Польши Духа, Польши, возрожденной не в одних границах и сеймах, но Польши, возрожденной в сердцах. Из крови их, ибо ей суждено потечь, как и моя потечет. Из крови их семя возрождения посеяно будет.

И внезапно умолк, словно почувствовал неуместность того, что вещал. Коновод перестал лопотать.

Между тем было это абсолютно уместно, Костичек.

Почему ты не боишься, Костичек? Ротмистр вновь двинул вокруг костра.

— Бросишься на него, заберешь у него пистолет, и бежим, — шепнула Дзидзя.

Сделай это, дурак! Ты моложе его, сильнее! Иначе расстреляет тебя этот человек, он безумен, а если бы даже и не был, все равно расстрелять может этот недобиток, партизан октябрьский.

Но, может быть, ты не боишься, поскольку знаешь больше, чем я, возможно ли, что ты знаешь больше, чем я, единственная, кто любит тебя по-настоящему?

— О ком на рассвете убитом речь шла? — спрашиваешь неожиданно. Спрашиваю.

Хохол поглядел отсутствующе, остановился в перипатетическом полшаге. Глядит на тебя, меня, на меня глядит, заботливо, бдительно, чутко.

— Триста убитых! — прошептал. — Зверски умерщвленных беззащитных пленных из семьдесят третьего пехотного, умерщвленных, как животные, немецкими палачами.

Я сглотнул, довольно нервно. Достаточно, чтобы он запсиховал, а застрелить меня на месте уже готов.

— Приехали на бронетранспортерах, гусеницы лязгали о мазовецкую землю, — возглашал Хохол. — И дрались, побеждали и сдались наши парни, когда уже кончались у них патроны, они не подумали сохранить для себя последнюю пулю.

Коновод спрятал лицо в ладонях, мотая головой.

— Но победителям слово “рыцарство” было чуждо, и сорвали с наших храбрых, но одоленных солдат куртки, отсекали им подтяжки, чтобы исключить побег, и расстреляли их как бандитов, расстреляли из автоматического оружия и свалили тела в канаву, недалеко отсюда, в Домброве.

— У нашей пехоты нет подтяжек. Не было, значит, — сказал коновод тихо.

Хохол вдруг упал на седло, швырнул пистолет на землю, закрыл лицо рукой.

— Сейчас, — прошипела Дзидзя.

Я посмотрел на нее в испуге. Боялся потянуться к пистолету.

— Сделай это, черт возьми. Это сумасшедший.

И я дотянулся до кобуры. Коновод ловко откатился назад, за дерево. Я расстегнул, вытащил зауэр. Хохол плакал, не поднимая головы, так что я зарядил пистолет и застрелил Хохоло.

Подошел — он был мертв. Поднял ViS, вынул обойму — пустая.

— Пристрели еще того кретина, — приказала Дзидзя, словно речь шла о том, чтобы сорвать яблоко, и это впрямь одинаково, убить человека и сорвать яблоко.

Вопреки мнению многих, это крайне просто. Некоторые люди испытывают перед этим магический страх, будто убийство человека есть нечто иное, нежели бросание камня в реку, рубка дерева или пересыпание песка. Некоторым, хотя и немногим, кажется, что это запрещено Богом; но даже если какой-то Бог или боги парят над лучистым небесным сводом, то они создали человека так, чтобы он был не чем иным, как влекомым течением ручья камнем. Он и есть.

Другие считают, что раз они сами боятся смерти, то нельзя делать ближнему то, что самому немило; не понимают, дурни, что страх собственной смерти есть веский повод для убийства, ровно как и всякий другой либо отсутствие повода.

Третьи верят, что человек является ценностью; и он является в той же мере, что и деревья, ящерицы, галька горных рек. Смерть этой ценности не нарушит и не отнимет, даже когда последний человек на земле положит кончать с собой, а такой момент, без сомнения, наступит, и не расколются небеса, и ничего вообще не случится, лишь ветшать станут памятники нашего небытия, облупится краска с фасадов великих американских домов в предместьях Чикаго, и рассыплются глиняные дома банту, и шакал станет лаять на Испанской лестнице, и тигры разлягутся на Красной площади, а львы в затягивающем Марсель твердолиственном лесу, и книгу о нас на бересте напишут ежи или же не напишут, другие дела угнездятся в их ежовых бошках.

Так думают третьи. А я понимаю, что выстрел в человека означает пулю, роющую в теле каналы. Означает сердце, перестающее биться, и означает мозг, более не ощущаемый вами — лишь то и значит. Значит малую победу того, кто убил, старую, как человечество.

А чьи это мысли, мои ли это мысли, Константин? Ты, Константин, так не мыслишь, выходит, что это я мыслю, твоя безгласная прозрачная подруга, реющая над тобой, будто медуза в бездне? *Denke ich das Baldur ohne Gesicht? Und wo bin ich, jetzt?*

*Ich denke das*¹.

Я думаю это.

Я.

— Пристрели же его! — сказала Дзидзя.

— Не стой, светлая пани, — ответил коновод из-за дерева. — Я и так вроде уже мертв.

— Я и не думаю, — сказал я, потому что не застрелить человека равно легко, поэтому не застрелишь, ты сам сказал, любовь моя.

— Похорони его, — сказал я коноводу, у которого не было имени.

— Не для чего хоронить.

1. Это я думаю, Бальдур без лица? И где я, сейчас? Это я думаю (*нем.*).

— А как с теми убитыми пленными?..

— А никак, светлый пан. Убиты либо не убиты. Зарыты во рву возле Домбровской Порембы либо не зарыты. Сгнили уже либо даже не начали гнить. Либо так, либо сяк.

— Идем, — приказал я.

— Ладно, Константин, — согласилась Дзидзя очень мягко и вся смягчилась, она вдруг утратила воинственную чопорность амазонки, даже нос ее, обычно столь острый, сейчас казался мне округлым.

Я взял опорожненный автомат, и мы пошли обратно к машине.

Возле машины, на сдвинутом с дороги поваленном дереве сидел Ожондала, который уже вовсе не напоминал мне Бочагу. Бесполезные винтовки между ног. Сигареты их дымились. Кони щипали октябрьскую траву. Я прошел меж деревьями с пистолетом в руке, но ты не целился в них, Костичек, я не целился.

Увидев нас, поднялись тяжко. Продолжали жадно курить сигареты. Не тянулись к оружию, чего было им тянуться, коли ты пришел сюда победителем. Со мной женщина, которую они оскорбили, над которой хотели надругаться. О чем они думают?

Я посмотрел на Дзидзю. Вопрос поняла без слов. Взмахнула рукой, и в том жесте были все века ее аристократичной породы, были поколения нянек и гувернанток, муштрой терзавших маленьких Рохачевичей, и Дзидзя просто отпускала им любую кару, ибо могла.

Они же спустя минуту напряжения поняли, что прощены, как собакам прощаются их укусы.

— А как с теми убитыми пленными? — спросил ты.

Посмотрели друг на друга, не ответили, но и не спросили ни о чем, ни о выстрелах, которые должны были слышать, ни о чем-либо еще.

— Надо проверить, — сказал Дзидзе Константин. А я молчала. Меня это не касается.

— Для чего? — удивилась та.

— Для Инженера. Он может как-нибудь использовать, такое общение...

— Ну, так скажем ему, что расстреляли, — улыбнулась она.

— Но ведь нужно знать, как было!

Она посмотрела на меня, будто хотела разглядеть нечто странное, что она видит впервые и хочет разглядеть в мелочах.

— Было так, как должно было быть. Ничем не поможет тут разгребание песков, не приведи Господь, нашли бы мы там эти сгнившие трупы. Ты знаешь, Костичек, как они умудряются вонять?

Ключ еще торчал в замке зажигания, меня грела надежда, что аккумулятор не ослаб, что удастся запустить двигатель. В шевроле ведь нет даже ручки для ручного запуска. Но прежде чем Константин успел хорошенько поволноваться, мотор завелся.

— Наверное, мы все-таки обязаны проверить. Это важно. Триста пленнх... А Хохол сказал даже, что это за полк, то есть семьдесят третий пехотный... — сказал ты.

Дзидзя засмеялась и отмахнулась от меня рукой, как отмахиваются от завязатого фигляра. Или от надоедливой мухи.

Я вставил полный магазин в автомат. На всякий случай. Мы поехали как можно скорее, дорога вела нас полями и лугами, часом подболоченными, а то и каким-нибудь леском, и все время молчание Дзидзи и мое молчание и ровный звук мотора, и Голубовка, и вновь лесок, и Цукровка, и вновь поля и ветряк, и мы въехали в Липско.

Типичное местечко, деревянное, соломенное, говняное Липско. Грязное. Смердит навозной жижей и жидовским дыханием и ветрами от их цибуль и чулентов, и польско-пейзанским дыханием и пердежом от капусты. На улицах люд, и думаю про себя, что это за раса, когда крестьянство, то либо мелкое, несуразное, болезненное, к работе негодное, либо здоровое и сильное, но как-то пообезьяньи, руки длинные, тела бочкообразны, ноги короткие и, как правило, пообезьяньи кривы. В этих селеньях не найти мужчины высокого, атлетичного и стройного. Бывают девицы, стройные бывают и гибкие как циркачки, но потом исчезают, и среди зрелых женщин никакой расы уже не видно, вся их краса уходит с первым ребенком, расплываются в бедрах, грубеют лицами, тупеют взглядами, я много такого повидал, делая по Польше наши ралли с автоклубом, чем дальше на юг и на восток, тем хуже раса, насколько в Великой Польше народец топорен, настолько и здоров, если и некрасив, то опрятен и приятен. Силезцы карлы, и женщины, пожалуй, некрасивы, зато в соку, горцы породистые, красивые, женщины не слишком, но мужчины великолепны, хотя идиотов хватает, а все остальные, Господи прости, неужто тоже род людской? В городе немного иначе, он все-таки лучшей стихией всегда питался, и интеллигенция тоже чище породой, будто иного племени.

Так думал я про себя, и среди этих халупок, претендовавших на звание городских, я ехал медленно и посмотрел на часы — а тут едва-едва полдень. Синагога в Липско, черное пожарище, беспросветно черное. На стекле моем и на пепелище появилась снежинка. Она сперва и уже нету ее, затем пяток, а десятая задержалась. Очень холодно с утра.

Нажимаю, нажал, проезжаем через Липско, вон мельница на реке, вода вращает колесо, как великую чакру мира, я думаю про себя, и едем, и всё дальше.

— Нам надо определиться с планом, где мы пересечем границу и как... И где будем ночевать, — говорю куда-то вперед, в стекло. Щетки смахивают снег.

— Езжай, Константин. Просто езжай. Вперед. Не останавливайся.

Я еду. Ехал. Еду. Дорога ведет полями, которые в момент побелели. Крутой овраг, съехалось легко, на выезде грязь разъезженная, припорошена снегом, трижды пришлось сдать задом, прежде чем получилось вырвать шевроле из оврага, и вновь поехали, минуем слева внушительную усадьбу с парком.

— Данишев, — сказала Дзидзя, едва парк замаячил вдали.

Перед усадьбой немцы. Грузовики с красными крестами на белом поле, люди в белых халатах поверх серо-зеленых мундиров. Госпиталь. Не останавливаемся.

И дальше, дальше полями белыми, сперва дорога как стрела, а после головоломный съезд в долину Каменной, Чекажевицы, людей почти не видно, все по домам попрятались от этого октябрьского снега, дорога чуть ли не горная, мост, по счастью, невредим, так что дальше, долиной и снова вверх, еду очень быстро, опасно, но боюсь, что могу застрять и тогда уж финита, пришлось бы в деревню за лошадьми, не шибко охоч я бродить по снегу, оттого быстро, опасно, но уверенно веду, хорошо веду, и мы выскакиваем из долины реки Каменной, моя олимпия старенькая могла бы не справиться, а шевроле только взревел шестью цилиндрами, и мы выскакиваем из долины реки Каменной.

Меня зовут Константин Виллеман, я немного могу сказать о себе, кроме того, что ношу такую нарочитую маскировку, чучелко в поле, крысиная шерстка, воронье перо.

Белое поле, прямая дорога, мотор, топлива хватает. От Тарлова шоссе на Ожаров прямое, как стрела, и снег, снег, снег октябрьский, теплый, мокрый и липкий, дворники смахивают его со стекла, и мы едем медленно, делается все темнее, дотягиваем до сумерек на тридцати-сорока в час, не больше.

— Придется где-то остановиться, — говорит Константин, я говорю.

— Езжай, — отвечает Дзидзя окну. В стекло, не мне.

Какая она сейчас, холодная и равнодушная? Когда мы выезжали, не была такой. Заносится, что ли, по-прежнему или молчит по другой причине?

— Темнеет.

— У тебя впереди фары, нет разве?..

— Но в конце концов нам придется остановиться.

— В Будапеште.

— Хочешь, чтобы вел в такую погоду, по этим дорогам без отдыха аж до Будапешта?

Дзидзя поворачивается ко мне, не головой, но вся, на этом своем тощем задочке она обращается ко мне вся. Кошусь на нее краем глаза, ведь я веду ведь снег ведь несмотря на вентиляцию потеют стекла ведь скользко ведь темно, а она роет в сумочке, вытаскивает наконец флакон, маленький продолговатый флакон коричневого стекла.

— Возьми две.

— Что это?

— Изофан.

— То есть?.. — Я удивлен, никогда не слышал.

— Как первитин, только очищенный. Фирмы Knoll. Возьми. Я вздремну на диване сзади, и мы доедем. Возьми.

Я беру. Пока только флакон. В нем таблетки, плоские белые леденцы. Без этикетки.

— Бери, — говорит Дзидзя. — Возьми два.

Большим пальцем вытолкнул из него пластиковую пробку, наклонил, две таблетки соскальзывают в рот, соскользнули.

— Разгрызи. Как разгрызешь, глотай.

Разгрыз, горько, размалываю зубами и языком в крупную, влажную от слюны пыль, будто гипс разминаю во рту, и влажную тяжелую массу глотаю, проглотил.

— Иду спать, — говорит Дзидзя. — А ты езжай.

Неожиданно голос ее смягчает:

— Езжай, пожалуйста, Костичек, езжай.

— Но мы даже не определились, в какую сторону, где мы границу со Словакией пересечем, или сразу в Венгрию, в Подкарпатье, на Ужгород... Ни с чем не определились.

— Это неважно, Костичек. Езжай. Не промахнешься.

Дорога прямая белая черная ибо ночная белая ибо заснеженная черная белая дорога. Чую пальцы снега на резине моих шин, чую, как забивается мой протектор. Дорога прямая белая черная шоссейная на Ожаров.

— Я лягу, — говорит Дзидзя тепло, тепло, и переходит на задний диван, выгибая при этом переходе задочек, укрывается шинелью, я краем глаза вижу ее в зеркале заднего вида, еду, еду.

Ожаров.

Какое-то время ищу шоссе на Опатов, хочу дальше ехать на Опатов, нахожу шоссе на Опатов, полагаю, что это шоссе на Опатов.

Дзидзя спит. А я думаю о Юрчике: когда я впервые взял тебя на руки, тебе было уже несколько недель, раньше меня не допускали, Геля родила тебя еще у моей матери, на вилле, не было еще ни дома на Мадалиньского, ни каменицы старого Пешковского на Подвале, мы ютились у матери, а я сперва убежал от твоего большого живота, Геля, потому как с этим животом ты мне казалась кем-то совершенно чужим, а позже я убежал от этого свертка в твоих руках, ведь я же не хотел, я не знал, что с этим делать, разве ж не мог этот почин твоей маленькой жизни, сыночка мой, прервать мою бурлящую, искрящуюся, шампанскую жизнь, мои возвращения поутру в какие-то номера, не мной снятые, в отели, а ты со своей мамой, с Геленой, сыночка, такой маленький и сине-розовый, и беспокоился доктор, а я не мог, я только раз посмотрел на тебя издали и исполнил некие ритуалы, которые казались ритуалами гордого отца и родителя, и все время размышлял о слове “родил”: он родил, я родил сына, как будто данный акт рождения был актом сознательного мастерства, как будто человек должен был что-то знать, что-то выполнить, и не в том дело, что в мать новорожденного дитя было впущено семя, в этом нет мастерства, это умеет каждая зверушка, и тем не менее говорится об этом с гордостью, как будто построена ими машина из шестерней и цепей, и вот эта машина движется в ровном красивом ритме, и говорится: я родил сына, наследника, потомка, продолжаю свой род.

А ведь ничего они не продлевают, лишь свою жизнь пустую печальную, ничего от нас нет больше в этих детях, которых мы рожаем, питаем, растим и отправляем в мир, они ничуть не мы вовсе,

ведь что ж такое кровь, ведь если кто-то наставил нам рога за спиной нашей, и не свое дитя мы растим, тогда что, какая разница? Какая? Никакой.

Так что пил я в хрустальных палаццо с фарфоровыми принцессами, пил жидкие диаманты и белоснежные сорочки, крахмальные манжеты, запонок солнца золотые и пуговиц перламутр в оправе из золота, шампанское и водку, как белый елей, белая бабочка и фрак и музыка и лишь одно воскресенье, последнее, танго самоубийц, а потом все это замарывалось едой, соусами, красным вином и красной помадой на манишках и пальто, мы кутались в пальто и женщин закутывали в пальто, смеясь при этом так, что кишки едва не выплевывали, искали извозчика или такси и ехали куда-то, улицами Варшавы, но не туда, где Юрчик, ехали с женщинами либо одни с алкоголем, вечно пьяные, порой за кокаином, порой за опиумом к китайцам ехали, порой дрались с апапами, нож и кастет, и я ничего не боялся, смерть, с чего бы мне бояться смерти, разорванные разбитые рожи морды не наши, разок мы избили какого-то нувориса делового за один кривой взгляд, а ты, Юрчик, со своей мамой, с Геленой.

Дорога, мокрый снег, Дзидзя на диване.

Сперва я убежал от них, от Гели и от него, запеленатого в кружева и салфетки, как будто не было у него ни рук, ни ног, ни ручек, ни ножек, запеленатый белый червь с синим человеческим лицом, почти человеческим, а немного обезьяньим.

А после эту ипостась личинки распеленали, после он сделал первые шаги, и я внезапно влюбился в малыша, которого якобы породил, словно бы сложил его из себя, как машину или детекторный приемник. Я влюбился, ибо он обнимал меня за шею, ибо он звал меня “папуся”, ибо смеялся как безумный, как дитя, дети всегда безумны и жестоки, и я влюбился, в целости. Желал смотреть на него, голубить и целовать. Желал ему счастья, и желал слышать его голос и его шаги, и тогда Геля перестала бояться, что потеряет меня, ибо уже знала, что получила меня навсегда чрез этот плод чрева своего.

В нем я любил не себя нового, лучшего. Он не был мной. Его со мной ничего не роднило. Конечно: я был его отцом, у него были мои черты лица, мои серо-голубые глаза. Но что с того, он не был мной, и его со мной ничего не роднило, ничего.

Кого я в нем любил, что я в нем любил до безумия, в этом малом дурашливом человечке? Не знаю.

Горы. Это горы? Нет. Это Висла.

Висла?

Мы мчались, я сверялся с картой при свете фонарика: ее топонимика, вот Стопница, а наряду с буквами маленькие тусклые окна жиловских домишек. Вспоминается история полковника, встреченного мной у Лурса неделями двумя ранее.

Двумя неделями всего? Половине жизни равны эти две недели. А то и целой.

Но вспоминается история с немецким оркестром в автобусе, продырявленном как решето. Стоит там действительно этот автобус, немецкий военный автобус, действительно продырявленный, зачем они его еще не убрали, могли велеть жидам убрать, и не велели. Зачем?

Музыканты на войне. Среди солдатиков Костичка были бы уместны эти музыканты, с их бубнами и дудками, могли бы задавать ритм атаке, как барабанщики и флейтисты при Аустерлице или Бородино, но для чего музыканты на такой войне в темноте, в неведении, где мы, где враг, войне в прятки, танки ниоткуда, самолеты ниоткуда, прячемся по лесам, уланы глядят на меня, пан поручик, что с нами будет, этой войны нам не выиграть, пан поручик. Такие обходительные, хоть я и подпоручик. Надо отругать их за пораженчество, вздрючить, взгреть как бурю суку, обложить рыбьими хуями, курвинными детьми и пригрозить военным трибуналом за дефецизм, но вместо этого я говорю в козырек французского шлема: не выиграть, приятель, не выиграть, а над нами по стволам деревьев пять очереди немецких пулеметов.

А в автобусе немецкие музыканты продырявлены как решето, и не задуют больше их трубы, и не застучат барабаны, ведь продырявленное уже не строит.

Музыканты либо не музыканты. А если бы вместо труб имели карабины системы Маузера, вместо свирелей парабеллумы на бедре, вместо тамбуринов гранатометы, вместо гобоев пулеметы, вместо тарелок мины, и в таких-то наши стреляли? А может, автобус был пуст и никуда не ехал, а стоял, ведь если бы ехал, то должен был бы разбиться после обстрела, а не элегантно притормозить, может, полковник попросту анекдотец рассказать хотел? Какая разница. Как польские пленные в лесу, зарыты либо не зарыты. Музыканты застрелены либо нет.

А мы мчимся дальше, на карте капителю Паканов и его огонечки наперечет. Ах, беда с Козленком этим, пакановцы закричали, разбомбите его, дети, а иначе быть печали, — декламировал Юрчик.

Висла.

Взорванный мост, пост перед ним.

Часовой светит фонариком. В стекле. Видит мундир. Снег на его каске, на плечах и на грубом сукне шинели.

Откручиваю стекло.

— Guten Abend.

— Guten Abend, Herr Offizier, — вежливо отвечает солдат. — Darf ich Ihre Papiere sehen?..¹

Показываю диск GFP. Солдат отдает честь.

— Die Weichsel muss ich uberqueren?

— Die Polen haben die Brücke gesprengt. Aber gleich daneben ist unsere Pontonbrücke, eine provisorische Brücke. Die Straße entlang

1. Добрый вечер. — Добрый вечер, господин офицер... Позвольте взглянуть на ваши документы?.. (Нем.)

wie üblich, wie zu dieser gesprengten. Herr Offizier kommen durch. Aber ¹ погода ужасная, не так ли?

Что правда, то правда.

Снег в октябре!

Странный год.

Довольно странный, Herr Offizier. Gute Fahrt.

— Wo kann man hier tanken?

— Auf der Wache bei der Brücke haben sie Benzin, sie geben es Ihnen, wenn Sie es fordern.

— Danke².

Окно задвигаю закручиваю еду едем и мост действительно взорванный передо мной дорожный и железнодорожный покореженные погнутые рельсы в воздухе и в снегу, и надо ниже съехать и понтонный мост рядом караул мерзнет показываю диск, ist Benzin da? Es ist da. Tanken³. Колеблются, а что, если это какая-то провокация? Volltanken, aber sofort!⁴ И не колеблются более. Fertig, Herr Offizier⁵. Можно ехать, ехать, значит, еду.

Что несет Висла? Тонет снег в ее мраке. Еду. Чувствую, как вода несет мост, пустые плавучие опоры в черной бездне, а на них настил, а по настилу я мы еду едешь еду.

И уже? Уже Щуцин. Костел, всегда костел. Синагогу можно сжечь либо не сжечь, а костел есть всегда большой малый деревянный кирпичный издали виден либо нет, но есть.

Костел всегда.

Следующий. Домброва? На Тарнов.

Пуца. Дубы, грабы и вязы старше человека или моложе человека? Мы проникаем подлесок и толстые стволы, и я не знаю: это лес, который вырос до нас, или тот, что вырос после нас?

Дубрава. Тарновская.

С боковой дороги выезжает мотоцикл с коляской, на седле немец в прорезиненном плаще, каска, железная бляха жандарма на шее, надпись Feldgendarmarie желто-зелено светит. Леденцом жезла блестит, как полицейский, он и есть полицейский, ему нужны документы, а у меня волшебный диск GFP, этого хватит, и мы далее по шоссе на Тарнов.

Горы.

Горы перед нами, горы под нами.

Помню, когда я был маленьким, мы поехали в Закопане, и я впервые видел горы и думал тогда, что горы грозят Богу, что они

1. Я должен переправиться через Вислу? — Поляки мост взорвали. Но около него наш понтонный мост, временный мост. Так что по дороге, как обычно, как к тому взорванному. Господин офицер проедет. Однако... (Нем.)

2. ...Господин офицер. Счастливого пути. — Где тут можно заправиться? — На пропускном пункте у моста бензин есть, вам дадут, если вы потребуете. — Спасибо (нем.).

3. ...Бензин есть? Есть. Заправляй! (Нем.)

4. Полный бак, только живо! (Нем.)

5. Готово, господин офицер (нем.).

перечат Богу, что они жалят Бога. Мы поехали на машине к Морскому Оку, у мамы моей был могучий открытый кадиллак и шофер, в равной степени могучий.

Горцы глядели на нас исподлобья, у них были угрюмые лица дикарей.

— Я поеду, спи, — говорит Дзидзя с заднего дивана.

— Но я же принял изофан.

— Я тоже. Иди спать, иначе заснешь за баранкой, и будет авария.

А и ладно. Снежит, я встаю на обочине дороги, и я уже в курсе, что мы миновали Тарнов, проехали через Рынок, теперь я помню, ратуша на Рынке, армейские грузовики и машины и много военных, мы проезжали встревоженные, проехали.

Вышел. К рулю идет Дзидзя. Дзидзя, а секунду назад я был уверен, что это Ига, что это может быть Ига, с тем же успехом, как и Дзидзя, как Саломея, Гелена, все прокляты.

— Спи, — говорит она. — Разбужу тебя на словацкой границе.

Дзидзя трогается. Я закрываю глаза.

— Где Юрчик? — кричу.

Но я рот открываю беззвучно, слова не звучат, я немею во сне.

Юрчик стоит на краю дороги. Такой маленький, в коротких штанишках и чулочках шерстяных до колен, в пальтишке и шапочке с козырьком, такой как бы студенческой, только на маленького мальчика. Юрчик смотрит на тонущие в снежном хаосе задние фары шевроле. Юрчик один. В октябрьском снегу. Юрчик плачет. Юрчик пойдет по снегу, а потом споткнется, ему всего три года, четыре года, сколько лет Юрчику?

А то встретит плохих людей, поскольку других людей нет, встретит плохих людей, и они заберут его к себе, и будет жить жизнью найденыша.

Юрчик с Гелей в Варшаве, в квартире старого Пешковского на Подвале, сидит на коленях у дедуни, дедуня цедит ему в ухо свой яд, каплю за каплей, как слюну, в ухо моего Юрчика вцеживается яд Пешковского: ты земля святая предков, край достоинств и деяний, так в тебя впиталась крепко кровь сыновняя закланий. И недаром в твои зори, ты ж! отцов моих дорога! мы тебе молитвой вторим, ведь всего ты ближе Богу.

— Где живешь?

— Меж кровных братьев, — говорит Юрчик под действием яда.

— В их земле?

— В ее объятьях.

— Что за край?

— Отчизна нам.

— Что цена ей?

— Кровь и шрам.

— Кто ты ей?

— Она мне мать!

— Что ей должен?

— Жизнь отдать!

Жизнь отдать. Пешковский хочет отдать жизнь моего Юрчика и свою он тоже с радостью бы отдал и мою, и даже Гелину жизнь, почему нет.

Уж лучше в снегу, чем на коленях у Пешковского.

С рыночной площади в Тарнове выезжает грузовик Opel Blitz, в кузове сидят Panzerschützen, вторая Panzer-Division, второй стрелковый полк. Грузовик идет на юг, идя по стопам нашего шевроле, идет на Грабов по шоссе номер двенадцать, в Тухове въезжает в долину реки Бялой и идет, минуя Тухов, и Загороды, и Туховскую Дубраву, но места эти для Panzerschützen безымянны, они просто следуют по южной Польше, по бывшей южной Польше, по чему-то, что не имеет еще облика и названия, это уже не Польша, но и не что-либо еще, это оккупированная территория, так что едут, и в свете фар “Блитца” блицы на снегу, на обочине стоит мальчик: короткие штанишки, чулки шерстяные, голые колени, курточка, пуговицы в два ряда, одежда ребенка из зажиточной семьи горожан, грузовик тормозит, мальчик взят в кузов, его расспрашивают по-немецки, он не отвечает, но Хубе, ефрейтер, родом из Крайны, из Злотова, с детства помнит польско-кашубский говор, отец порой говорил так с бабкой, он спрашивает мальчика по-польски, как зовут, кто родители.

— Родители умерли, — говорит Юрчик. — Меня зовут Ежи Виллеман.

И с этой фразой, с его глазищами и немецкой фамилией, он делается сыном полка, получает малый немецкий мундирчик, сшитый по его мерке полковым портным, а после, когда маленький Георг Виллеман вырастет из этого мундирчика с розовой опушкой погон, и следующий.

Нет. Он сидит на коленях у Пешковского. Твой папуля мертв. Папуля твой ушел. Нет его более среди нас, поляков. Геля смотрит.

И, может, не допускает этого. Может, Пешковский не смеет ничего сказать, видя ее взгляд, он, может, и не лишен деликатности отца почти вдовой дочери, лишен или нет?

Я сплю, рулит женщина, а моя голова лежит на коленях у Яцека. Яцек гладит меня по волосам.

— Я всегда был твоим другом, — шепчет он, повторяя как мантру. — Всегда.

— Помнишь, Костичек, как мы познакомились, помнишь? Помнишь ту усадьбу, там мы встретили Игу, и она сперва была твоей первой, а потом я забрал ее себе, когда ты уже расхотел ее, а потом ты вновь взял ее, когда нашел на тебя такой каприз, помнишь?

Это не так, Яцек мой дорогой, не так ведь, хочу я закричать, но я онемел, мой рот открывается и закрывается, как у рыбы, я нем на твоих коленях.

Помнишь, как я познакомил тебя с Саломеей? Еще до того, как она стала моей любовницей. Я свел тебя с ней. Ты не захотел. Отчего не захотел Саломеи, не понравилась тебе Саломея, отчего?

Рука Яцека с волос моих перемещается к шее и сжимает кадык, мы цапаемся, и все сразу успокаивается, Яцек глядит в свое окно, я гляжу в свое окно.

— Спи, отдохнай, потом тебе придется вновь вести, я разбужу тебя на словацкой границе, — говорит Саломея.

Саломея?

— Отчего ты меня не захотел? — плачет.

Руль сжат ладонями в нитяных перчатках.

— Отчего ты с самого начала относился ко мне как к курве?

Да, я относился к ней с самого начала как к красивой, страстной, сногшибательной курве.

— Что я тебе сделала, Костичек, отчего? Могла не быть курвой, для тебя могла бы.

Саломея. С Игой. Возвращаются из Кобрина в Варшаву. Алеют полосы на их телах белых, на ляжках, ягодицах и плечах.

Я сплю. Нету меня. Юрчик?

Нету. На коленях. В снегу. Пешковский.

Яцек? В меланхолии. У меня под головой. Где вы?

— Константин?.. — спрашивает Дзидзя.

— Да?

— Ты кричишь во сне.

— Мне вовсе не спится, — отвечаю.

Не снится. Не спится. Я кричу наяву хлопьям снега, разгоняемых кузовом машины хлопьям, тающим на брезентовой крыше и текущим по стеклам, текущим вниз и назад.

Я кричу теням деревьев. Я кричу теням домов и холмов, ритму выбоин и мостков, урчанию мотора, ноющей спине и онемелым ягодицам и ляжкам, всему, что составляет и определяет меня и сейчас является мной. Кричу. Да.

— Спи, Константин. Прикройся моей шубой.

Нет пути, есть карта. Линия железной дороги, Богонёвицы, Ценжковицы, река Бяла. Юг. Холмы, за окном холмы почти не видны, вернее, невидимы. Едем. На пикник. Дальше.

Стыд. Огромный, удушающий, парализующий стыд.

За всё. Юрчик в снегу на коленях у Пешковского. Геля. Это ее вина, это ее вина, это ее огромная очень вина. Всё.

Ценжковицы, Зборовицы, снег и октябрь и ночь и мотор и я не умею спать, не та ситуация, не так-то просто, оттого то и дело встаю, тянусь к карте, подсвечиваю ручным фонариком, Ценжковицы, Зборовицы, снег. А потом уже не встаю и не подсвечиваю.

Дорогой стыда, дорогой позора!

Глава XII

Мрак рассеялся, его сменил розово-серый дневной свет из-под век, еще закрытых.

— Мы под Бардеёвом, — сказала Дзидзя.

Нет! А граница?

— А граница, — сказал я, не поднимая головы, не открывая глаз. Мотор рычал, машину бережно потряхивало; мы ехали. По левой стороне дороги.

— Они не должны были перейти на правостороннее? Я слышал, весной поменяли.

— Это в Протекторате. Тут независимая страна, они, говорят, в процессе, но пока что ездят слева. В Венгрии то же самое, — пояснила она.

— Странно.

— У нас в Кракове тоже так было. Мой папа до сих пор не приспособился и не хочет водить машину, когда он в Польше.

— Но как ты пересекла границу?..

— Было двое словаков. Дала сто долларов, они посмотрели на тебя, сказала, дескать, Herr Kapitän komplett betrunken ist und morgen in Budapest sein muss¹, они отдали честь, пожелали приятного путешествия, напомнили, что ехать надо слева, и мы поехали.

— Не может быть, — сказал я, садясь.

— Думай больше как немец, Константин.

— Я не знаю, как думают немцы.

Светало, светлело, светило дня вставало, освещая вербигерацию мозга абоминацию эскалацию. Справа лесистые вершины, горы, не слишком большие, но горы, слева голые макушки, поросшие травой, над ними солнце. Вставало, светлело.

Мазанки из глины и хвороста. Дорога туда-сюда. Мы едем, я прячусь обратно под шубу, но нет, вряд ли, нет, не знаю, как много проходит времени, минута или полчаса, и я сажусь на заднем диване, стираю с лица сон. Светает, но хмуро и серо, снег уже перестал.

А затем Бардеёв. Много костелов, я насчитал шесть, а затем еще один, две башни за городом, на холме.

У меня это странное ощущение, что мы не дома.

— Мы не у себя дома, — говорю я.

— В этом мундире ты везде у себя. Думай как немец, Костичек. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt².

Мы не у себя дома, у меня это странное чувство, странно даже, что оно у меня есть, с учетом ситуации, а есть, точно так же и точно такое, какое было у меня, когда мы ездили за границу перед войной, даже близко, хотя бы на побережье в Сопот.

Проезжаем Рынок, Старый город. Нищета аж вопиет, поэтому столько реликтовых зданий, никто здесь за триста лет ничего нового не построил. Еще пусто, солнце восходит. Молочник, пекарь открыты.

1. Господин капитан пьян в стельку, а завтра должен быть в Будапеште (нем.).

2. Сегодня мы владеем Германией, а завтра весь мир наш (нем.).

— Может, купим хлеба свежего?.. — спрашиваю. — Ничего не ели.

— Не надо есть, — отвечает Дзидзя, как бы отметая некую явную очевидность.

Итак, выезжаем из Бардеёва на юг, в Прешов, так карта говорит. С Бардиюва на Прешув, так карта наша говорит, в скобках.

— Однажды я влюбилась в одного венгра, но он меня не хотел, у него была жена, — начала Дзидзя.

Дорога была прямой, сухой и под гору, и Дзидзя говорила и одновременно все больше и больше открывала воздушную заслонку.

— Он был писатель, родом из Кашши, а жил в Будапеште. Любил меня, я нравилась ему, но он отверг меня после краткого флирта, отверг самым чутким образом; ненавидела его за это до мозга костей, за то, что вел себя как джентльмен, абсолютный джентльмен.

Мы летели.

— Я предложила ему себя, подала ему себя на подносе, без всяческих обязательств, я просто хотела быть его, хоть на одну ночь, а он отказал, хотя желал меня, это даже сквозь брюки просвечивало, жаждал меня сверх меры и сам в конце концов признал это, а отверг меня не из-за жены, хотя жену он любил, но был не всегда ей верен; он отверг меня из-за уважения, которое ко мне испытывал. Сказал, что я не из тех женщин, из каких делают любовниц. Никто никогда не ранил меня больше. И никто никогда не был по отношению ко мне более благородным.

— Зачем ты мне об этом рассказываешь? — спросил я, перелезая на переднее сиденье, изгибаясь при этом малость непристойно и уж точно не адекватно серьезному настрою, внезапно воцарившемся после слов Дзидзи. Но я боялся ее ускорения, я надеялся, что на переднем сиденье как-нибудь смогу сдержать ее, притормозить.

— Не знаю. Мы разговаривали по-немецки. Он говорил по-немецки как венец, как ты. Встретились всего несколько раз. В трактире, в кафе. Танцевали. Иногда я просила его говорить по-венгерски, и он говорил. Обожала его, когда он говорил по-венгерски. Он был влюблен в меня, желал меня, и все-таки не захотел, когда я ему себя предложила.

— Я не хочу это слушать. Зачем ты мне об этом рассказываешь? — запротестовал я, на этот раз резче.

— Не знаю. Люблю Будапешт.

— Почему?

— Как это: почему?

Дурацкий вопрос, что за общение, как пансионерка какая-то, “почему да почему”, словно бы я не способен к нормальному общению, только “почему, почему”.

Будапешт был мне безразличен, как и всякий другой город, Катовицы или Варшава. Как вообще можно любить города? Дома, улицы и мосты, что тут любить?

— А город на любовь отвечает какой-либо взаимностью?

— Нет, никогда, — серьезно ответила Дзидзя.

— Может, поменяемся?

— Нет, я хочу вести.

Некоторое время мы ехали молча.

— Ты помнишь дело капитана Павликовского? Пару лет назад, — спросила она вдруг.

— Помню. Это был знакомый Яцека.

— Чей?

— Моего друга Яцека, доктора.

Павликовский был капитаном, летчиком. Он застрелил на месте таксиста Стружика, потому как тот, будучи назван негодяем, ответил: “Сам негодяй”. Павликовский счел это оскорблением достоинства и чести мундира польского офицера, вытащил пистолет и на месте застрелил таксиста. Павликовского приговорили к трем годам, он отсидел и вышел.

— Раньше я была такая, как он.

— Ты застрелила таксиста?.. — засмеялся я, дурной, дурной, дурной.

— Не пришлось.

И вновь тишина, километры, тишина.

Смотрю на нее искоса, на ее длинный нос и светлые волосы. Шляпка и коричневый дорогой костюмчик, лацканы пиджака обшиты желтым атласом, ладони на руле, длинный нос. И глаза, впенные в дорогу.

Снега уже нет, дождя тоже, одни печальные облака, зато есть Словакия, странное дело, никто прежде о Словакии не слышал, а теперь есть Словакия, независимая страна, но, конечно, только якобы независимая. Странно, что страны рождаются и умирают, как люди, вот где нынче независимая Украина, а ведь была, была когда-то.

Нищета за Бардеёвым. Горстка словацких хижин, потом цыганский табор, грязные оборванные дети, грязные оборванные люди. Дети худые и голодные, поэтому Дзидзя, само собой, останавливается, откручивает стекло, дети сбегаются, как голодные псы на задний двор к мяснику, едва слышат звук отодвигаемой решетки.

— Слово мы через какую-нибудь Африку едем или Индию, — говорю я.

— Так ведь это индусы, — отвечает Дзидзя.

Дети молча толпятся перед окном Дзидзи в молчании, смуглая кожа, черные глаза и обноски в тусклом свете. Рук не протягивают, смотрят, ждут, Дзидзя тоже приглядывается.

— Это люди, — говорит она. — Верно, Константин?

— Безусловно, — пожимаю я плечами. — Определенно не козы и не цветы.

— Если они люди и мы люди и младенцы это люди и русские это люди и каннибалы какие-нибудь африканские тоже люди, Константин, то что это значит, “люди”?

Говорит, не глядя на меня, говорит, глядя на цыганских детей. Не знаю, глумится ли надо мной, оттого решаю, что я должен проверить, на кого я похож в серой гимнастерке и серой фуражке с черным козырьком. Наклонил зеркальце в солнцезащитном козырьке.

Похож на немца.

— Гитлер сажает их в лагеря. Как евреев, — говорит Дзидзя.

— Евреи, говорят, из Германии выезжают скорее в Палестину, — заметил я. — Или в Америку.

Цыганские дети вдруг вышли из выжидательного оцепенения, по курчавым головам прошла волна и вытолкнула одного ребенка вперед.

Ребенок как ребенок, худой и большеокий, вместо щеки большая сухая рана, от уха до основания носа, от глаза до края челюсти. Будто кто-то ножом вырезал ткань, а кровь слил, слои видны как в анатомическом разрезе: кожа, мышцы, красноватые кости и редкие кривые желтые зубы. А между ними язык живой, и все это тоже живое, пульсирующее, но не кровоточащее, разве что малые мазочки яркой крови, текущей из смятых десен.

— Выталкивают ее, потому что боятся, что мы хотим только смотреть, а денег не дадим, — толкует Дзидзя. — Порой я понимаю Гитлера. Любит животных, а людей не очень.

Она швырнула им пару монет. Цыганята жадно бросились к ним. Я вновь смотрел на себя в зеркало. Лицо чистое, мое. Увечное лицо, покрытое шрамами, отца моего, мое. Лицо израненное, вскрытое, лицо без лица, этого ребенка, мое. Дзидзя поспешала дальше, Хертник, Осиков, Раславицы Словенские, потом Угорские, шоссе в неплохом состоянии, мы ехали быстро, Дзидзя вела крепко, агрессивно.

— Что было с тем ребенком? — спросил я.

— Нома. Болезнь такая.

— Болезнь? Не рана?

— Болезнь.

— От чего?

— От недоедания и грязи.

Дорога вела узкой долиной между холмов, наполовину облесенных, а наполовину покрытых пастбищами. Смотрю на карту.

— Граница близко уже. От Прешова мы в километрах пятнадцати, от силы двадцати. И около сорока до Кошиц.

— Венгр, о котором я говорила, в которого я влюбилась, он был из Кашшы, но уехал после Трианона. Ненавидел чехов, их считал зачинщиками того грабежа, словаков считал народцем простецов, которых нельзя виноватить за их проступки.

— Зачем ты вновь о нем рассказываешь?

— Я просто размышляю, а люди ли чехи. А люди ли эти грязные цыганские дети. А люди ли мы. А люди ли евреи. А люди ли немцы. А есть ли вообще какие-нибудь люди.

Я молчал. Была много мудрее меня и намного старше, что ж я еще мог, стало быть, делать, кроме как молчать? По крайней мере,

скроил мину пресыщения, я всегда так делал, если беседа в компании выходила за мои рамки. Тем самым заслужил репутацию человека необычайно рассудительного и бывалого.

— Я думаю, что вообще людей нет. Придумали себе такой конструктор человечества, и некоторые даже живут так, как если бы он был реален, а он нереален, никто не дорастает до него, люди суть нелюди согласно определению, повсеместно принимаемому за удачное; согласно нему они лишь животные.

— Осторожно!!!

Дзидзя ударила по тормозам, шевроле врылся шинами в асфальт, и мы понеслись вперед, навстречу неминуемо надвигающейся отаре овец. И даже стукнули одну, но уже в конце торможения, не очень сильно, она кувырнулась и встала. Унылый пастух, извиняясь, снял шляпу и принялся спешно гнать своих овец с дороги, чтобы господа могли проехать.

Господа проехали.

— Давай поменяемся, — сказал я. — Ведешь опасно.

Я сказал это как-то иначе. Не знаю, как иначе, но я иначе сказал, я так сказал, что Дзидзя остановила автомобиль и без тени раздражения ждала, пока я обойду вокруг, чтобы она смогла передвинуться по дивану вправо. Эта женская привилегия не пошла ей на пользу, поскольку она порвала чулок о мушку пулемета.

Я сел за баранку. Выспавшийся и невыспавшийся разом, свежий и грязный, трезвый и в одури.

— Что делаем на границе?.. — спросил я. — Не обдумали этого еще.

— Скажи, что я твоя шлюшка, и пусть не портят обедню союзнику. Трофей победы. Маленькая полечка, которую ты везешь с войны, чтобы было что пердолить в Будапеште.

— Они посмотрят на тебя и не поверят, — тотчас ответил я, рассудительно и наивно одновременно, метко и неметко.

Дзидзя оценила, даже не ответ, а то, что я не возмутился вдруг, не начал валять дурака, что мне, наконец, оказывается, пальца в рот не клади, а могла бы.

Я тронулся. Приятно вновь вести машину. Лежать сзади на диване хуже. Хорошее шоссе, хороший двигатель. Я Константин Виллеман, люблю авто и не люблю лошадей. Я надел высокие сапоги со шпорами, шпоры немного мешают при вождении.

Ich bin Baldur von Strachwitz und habe eine Narbe anstelle eines Gesichts¹.

— У меня есть много хороших вещей, — сказала Дзидзя, открывая сумочку. — Разных. Выпей.

Подает баклажку. Выпил. Коньяк. Не люблю коньяк, но люблю алкоголь, так что почти половина содержимого фляжки меня заинтересовала, остальным пренебрег.

1. Я Бальдур фон Штрахвиц, и у меня шрам вместо лица (нем.).

Извиваясь среди раскидистых, не слишком высоких холмов, дорога вела прямо на цепь островков решительно и смело вздыбленной земли. На одном из них белели руины немалого замка.

Такие брали с бою мои рыцарственные предки. Черная кабанья башка на золотом, над шлемом с черно-золотыми наметами два страусовых пера: черное и золотое. Ich bin Strachwitz. Ich bin schlesischer Uradel¹. Прадревняя шляхта. Никакой я не Штрахвиц. Я Константин Виллеман. У меня нет предков рыцарей, мама зачала меня непорочно.

Черная кабанья башка.

Миную холм с замком, на карте именуемый Капушанским, и внезапно между гор мы вырываемся в просторные луга и поля, легко волнящиеся, из которых эта горная цепь возникла бы неожиданно, если ехать с юга на север, не так как мы.

Я выпил еще. Дзидзя улеглась под свою шубу на заднем диване. Не нравится мне в Словакии. В Чехословакии мне нравилось больше. Чехословакия была современным центром Европы, а Словакия какая-то балканская жупа.

Перед пышным рестораном бродяга присел отдохнуть у сточной канавы, наблюдает за компанией, которая как раз вываливается из ресторана, красивые дамы, бижутерию и платья, красивые господа, фраки и накидки, авто, лаковая обувь и цилиндры, прошу, простите, не правда ли, пожалуйста, а бродяга смотрит и жует хлеб, он никто, а как смотрит?

Я никто, но он никто иначе, нежели я. Он никто, потому что низко, он клубок рвани, тряпья, смрада, грязи и щетины, а они гладкие выбритые вылизанные вылощенные выполированные блестящие, их гибкие торсы белы белоснежны накрахмалены отпердолены и перламутр пуговиц в золотой оправе, а он никто, потому что низок, выклянченный хлеб он запивает холодной водой из фляжки, заткнутой тряпкой на сломанной палочке, так я, по крайней мере, сужу, ведь я его давно уже проехал, и нет его уже для меня, а они запивали блины с икрой хрустальной водкой.

Никого таксиста Стружика застрелил Павликовский, ибо никто сей оскорбил честь мундира офицера польского, а частным образом офицер не обидел бы мухи, зато таксист, кормилец некоей семьи, отец неких деток, а то и холостяк, отец ублюдков, или импотент даже, или муж некоей жены — за таких людей он лег бы собственной грудью, а тут стрелял в никого, ибо этот никто оскорбил честь, а дорожке нет чести ничего, оттого-то Хофмоэль-Островский устроил ему за эту стрельбу три года тюрьмы, и только, три года не шкода.

А я никто по-другому.

Я не низко; я высоко. У меня есть мундир, и такого никого бродягу или никого таксиста Стружика я мог бы застрелить, назови они меня негодяем. Сейчас я мог бы даже застрелить Павликовско-

1. Я Штрахвиц. Столбовое силезское дворянство (нем.).

го, но им, вероятно, уже занялся кто другой. У меня есть фрак. Не при себе, но в доме из шоколада у меня есть фрак. Не взял, потому что война, дурак берет фрак. Я взял лишь смокинг. Дзидзя сказала мне взять фрак?

Я должен остановиться, спрятать автомат. Оружие на поясе понятно, как символ автономии и агрессии, а вот перфорированный ствол пулемета есть нечто иное, это почти недостойно офицера, и я останавливаюсь, а Дзидзя не шевельнется, заталкиваю пулемет за наши кофры и чемоданы, прячу глубоко, ты не нужен нам, пулемет, временно не нужен.

Коньячок. Уже не обращаю внимания на пейзаж. Не трогает меня пейзаж. Вперед. На границу. В Венгрию.

Коньячок. Граница. Малая. Словацко-венгерская. Это не такая граница, что между собой установили немцы и русские, сойдясь посредине Польши. Нет. Это малая граница, венгерско-словацкая. И у них была их Малая война, счетом не на армии, а на батальоны, на роты, по небу погонялось несколько словацких авий и несколько венгерских фиатов, некоторые упали, в сумме дюжина трупов и подписание трудного мира, раздали несколько медалей и конец, герилья, войнушка, она и сдвинула эту малую границу аккурат сюда, к полосатому столбу, к свежему шлагбауму с прямоугольной эмблемой, будкой, табличкой с надписью Magyar Királyság и парой прекрасных жандармов, на жандармах черные шляпы, султаны и плащи с двумя рядами блестящих пуговиц и усы, а как же, помпоны и сабля одна всего и карабинчики, длинные багинеты на коротких карабинах.

— Jó reggelt. Magyar határellenőrzés. Láthatnám a papírjait, uram?¹ — произнес дурной жандарм, когда я остановился и опустил окно. Видит же: у шевроле польские номера, а внутри сидит немец.

— Guter Mann, sprichst du Deutsch?² — спросил я со всем презрением, какое солдат может питать к глине, даже при карабине и консервном ноже багинета, с сабелькой, помпоном и плюмажем.

Geheime Feldpolizei.

Ты сам глина, Костичек. Ты — Бальдур фон Штрахвиц, когда-то ты был уланом, мог нестись растянутым галопом с тяжелой саблей, а теперь у тебя нет ни хуя, ни лица, у тебя есть мундир Geheime Feldpolizei, которого настоящие солдаты боятся сильнее, чем врага, тебе не требуется никакое оружие, носишь один пистолет, семерку, оружие чиновников, оружие, чье назначение в том, чтобы рук не тянуть.

— Natürlich spreche ich Deutsch. Aber wir sind hier in Ungarn, ich bin ungarischer Gendarm und als ungarischer Gendarm bitte ich Sie um Ihre Papiere³.

1. Добрый день. Венгерский пограничный контроль. Могу видеть ваши документы? (Венг.)

2. Добрый человек, ты говоришь по-немецки? (Нем.)

3. Разумеется, я говорю по-немецки. Но здесь Венгрия, я венгерский жандарм и как венгерский жандарм прошу вас предъявить документы (нем.).

Я даю. Это Венгрия. Конечно. Дзидзя бровью не ведет на заднем диване, она спит, прикрытая мехом. А жандарм меня о ней и не спрашивает. Отдает документы, честь.

— Einen schönen Aufenthalt, Herr Offizier.

— Danke. Auf Wiedersehen¹.

Итак, еду далее. Едем. Отъехали километра два или пять, развилка, правый поворот на Hernádszentistván. Такое название, когда я дочитываю его до конца, то забываю, с какой буквы оно начиналось. Прямо указателя нет.

— Я ни капли не спала, — внезапно говорит за моей спиной голос Дзидзи. — А сейчас я хочу спать.

Я аж вздрогнул, зачем ты вздрогнул? Я вздрогнул на словах врасплох, ниоткуда, вроде “гоп!” из-за угла, жутких. Но менее жутких, чем “спать”. Дамы так не говорят. А Дзидзя способна, Дзидзя может себе такое позволить. Дзидзе не стыдно, Дзидзе ничего не нужно стыдиться, Дзидзя выше стыда.

Тормозишь, торможу метрах в двухстах за развилкой. Довольно тепло, намного теплее, чем у нас. Карпаты остановили холод. Дзидзя вылезла со стороны пассажира, неловко протиснувшись с заднего сиденья, отошла на два шага от машины, большими пальцами залезла под юбку и спустила трусики.

Смотрел ли я? Я не смотрел, но видел, зыркнул украдкой, как вор, немного смотрел. Украдкой.

Спустила трусики до колен, подоткнула высоко юбку, присев, поссала, подтерлась чем-то, выуженным из кармана, трусики вверх, юбку вниз и вернулась к авто.

— Вот: атлас Венгрии, уже с новыми границами. Езжай, не останавливайся, пока не припаркуешься перед отелем Gellért, — наставляет, втискиваясь обратно на задний диван.

— Как же я найду этот чертов Gellért?.. — безнадежно спросил я и сразу устыдился, что так спросил, безнадежно тревожно печально отчаянно. В этом весь я.

— Обыкновенно. Езжай, пока не упруешься в Дунай. Затем поедешь по набережной вниз, там будет мост Франца Иосифа. Ferencz József híd по-венгерски. Если сначала будет мост Хорти, значит, ты заехал далеко, разворачивайся. Переедешь через мост и выедешь прямо к отелю Gellért. Тогда разбудишь меня.

И укрылась мехом.

А я, вместо того чтобы обеспокоиться дорогой, снова начал думать об этом ее ссанье. Зачем она это сделала, могла ведь сделать иначе. Но могла сделать и так.

Сначала была Кашша. Уже. Кошицы. Уже не хотел смотреть, не хочу смотреть на Кошицы, не интересны мне Кошицы, я же не турист. Уже Кошицы. Каменицы и костелы.

1. Приятного пребывания, господин офицер. — Благодарю. До свидания (нем.).

Ich bin Baldur von Strachwitz und flüchte gerade aus Warschau¹.

От кого? Для чего? Как это бегу, зачем бегу, что со мной происходит, где моя жизнь?

В полях Фландрии, как раз там, где мой хуй и мое лицо, как раз там, и я даже думаю по-польски, даже не по-вассерпольски, а по-вассерпольски думать мог бы, ведь я выучил этот странный хриплый волапук от няньки, которая за мной ходила, потому что моя мама вообще не ходила за мной, нянька же говорила по-вассерпольски.

В Кашше не было и следа от Кошиц. Вместо участливо понятного языка чешско-словацкого одно недоступное венгерское бульканье из другой вселенной. Каким чудом эти косоглазые степные дикари с таким языком тысячу лет назад стали европейцами?

Косоглазым дикарям удалось раствориться в славянском и валашском субстрате без остатка, как капля вина растворяется в море, степная культура пропала без вести, бросив войлочные юрты, они построили себе замки, а когда монголы вторглись к ним триста лет спустя после Nonfoglalás, эти потомки воинов степи уже не имели понятия, как сражаться с коня легким оружием, они проиграли монголам весьма по-рыцарски и по-европейски, с копьями на тяжелых шайрах, разом со всеми моими дедами, давшими монголам убить себя под Легницей, лишь один не дал, и от него Штрахвицы.

Итак, дикари растворились разом со степной культурой сабель и стрел; но зачем уцелел язык, зачем уцелели степные легенды и степная, азиатская музыка среди крестьян, зачем? Зачем что-то происходит именно так? Зачем в Крыму не сохранилось и следа от готов, а мадьяры остались? Зачем в Силезии не сохранилось и следа от кельтов, а мадьяры остались?

— Когда я гляжу на твой светлый цвет лица, волосы белокурые, но рыжеватые все еще, и щетину рыжеватую, и светлую кожу в веснушках, то думаю, что ты кельт, дорогой мой, — говорила моя мать, Белая Орлица. — Ты кельт, хочешь ты того или нет.

Я петлял по улочкам Кашши, такой же центрально-европейский городок, как любой другой, оттого так непохож на азиатскую Варшаву, другой, другие каменицы, другие костелы, Дзидзя спит, а я в итоге нахожу указатель на Мишкольц, на Будапешт.

Лицо отца моего. Едем по шоссе на Мишкольц, и пейзаж несколько не меняется, горы медленно сходят на нет, мы пересекли Карпаты. Барца. Ханиска. Чудные названия.

Пересечь Карпаты, уже нечто. Abaújszina. Черная, мрачная топонимия. Не многие справились, не пересекли Карпат, полегли на заснеженных перевалах, но это было давно, а я справился. И я еду. Hidasnémeti. Еду рядом с тяжелой, запряженной волами телегой на цельных ободах, на возу спит женщина, сопутница моя. Fogró. На козлах возница, кнехт, человек-никто, о таких не думают, человек без имени. А я сбоку, на малом конике, в седле с высокими луками,

1. Я Бальдур фон Штрахвиц и я как раз бегу из Варшавы (нем.).

на мне расшитый золотом наряд, на голове шапка волчьего меха, у меня длинная светлая борода, светлые усы, волосы заплетены в косицы. Csabád.

Было по-прежнему ясно, когда я добрался до ответственной развилки: влево дорога похуже уходила на Ниредьгазу, то есть в сторону Пушты. Альфёльд.

Остров евразийской степи, архипелагом Трансильвании отделенный от зеленого океана. Когда мадьяры пересекли жуткие горы Семиградья, должны были почувствовать себя как дома. Как дома. Может, потому и остались, несмотря на свои хищные вылазки от Дании до Пиренеев?

Зачем, зачем я об этом думаю, сворачивая вправо, на Мишколец, Мишколец уже близко, километров пятнадцать, клин поля, клин леса, ландшафт без какой-либо экзотики, трава у дороги такая же, деревья такие же, небо такое же пасмурное, а снег не идет, нет октябрьских снежинок. Едем.

Я бы тебе сказала, лишь бы ты дал мне голос, Костичек, мой любимый мой дорогой мой милый мой единственный прекрасный мальчик жизнь моя сердце мое любовь моя.

Лишь бы ты на миг заткнулся, Константин, если ты прервешь ту логорею, которую вызывает в тебе эта маленькая пакостная шлюха, что спит сейчас на заднем сиденье, она отоссалась бесстыдно, отоссалась, чтобы унижить тебя, дуралей, чтобы показать тебе, что ты равно слуга, при котором можно срать, срать, ебстись с кем-то третьим, ведь у тебя нет глаз, в тебе нет человека, она тебя унизила, дурная шлюха, ненавижу ее, если ты прервешь этот словесный понос, мой милый, то я скажу тебе, отчего.

А я так и так скажу, мой прекрасный мальчик.

Ты думаешь о кельтах славянах аварах колонизации языках изоглоссах этимологиях индоевропейских финно-угорских субстратах не затем, что этим заразила тебя твоя мать, думаешь, поддавшись иллюзии, что постигаешь какой-то смысл и порядок, ты дураковат и не знаешь, что постичь его ты бы не мог, даже будь он там, а его нет, и тем более ты его не постигнешь, даже прогляди ты глаза над этими книгами, мой милый, ничего не найдешь.

Но ты жаждешь этого порядка, милый мой, как мало чего; ведь найдись он, и твое существование равно могло бы иметь тот же смысл, вопреки трещинам и пустоте, которые ты носишь в себе.

Смотрю на тебя сейчас, мой милый: как ведешь ты вальжное американское авто хорошим шоссе сквозь не тронутую войной Венгрию; в вальжном немецком мундире. У тебя крепкие ладони и длинные пальцы, милый мой, ими сжат руль твоего авто, носком сапога включены фары дальнего света, разбивают серый сумрак.

Смотрю на тебя и думаю, как легко мог бы кто-нибудь обмануться, даже такой кто-нибудь, кто знал бы все: о твоих водках кристальных шампанских морфине кокаине о женщинах о Саломее Иге Дзидзе о машинах и о конях о польском мундире о гражданской одежде о выскобленном глазе львовского батяра, о сранье в подво-

ротне, о жутких твоих варшавских эскападах тех и довоенных всяческих, о мундире немецком о матери об отце без лица, обо всем, такой, кто знал бы, как легко мог бы обмануться, не зная ничего о тебе, а я знаю, Костичек, я знаю, я все знаю.

Тут и знать-то нечего.

Тебя нет; ты пуст, пуст изнутри, полый человек, ты как взгляд под оболочку статуи, открытые окна глазниц, рта, пустой, полый Костек одет в немецкий мундир, сжимает руль шевроле и только что проехал Мишкольц. А смотрит этот Костек на указатель уровня топлива, хватит ли? Хватит. На спидометр тоже смотришь, но по-другому, и едешь, мой пустой, полый, порожний Костек, ни разу не нашедший в этих доисторических байках ни порядка, ни смысла, ни оправдания, ибо ничто не оправдывается и ничто не имеет смысла.

И едешь дальше, мой милый, едешь. А она спит, хотя приняла свой изофан. Был ли это изофан? Я знаю, знаю, я знаю, но не могу сказать тебе, родной, ведь ты меня больше не слышишь, не слушаешь, не востребуешь, не хочешь, верно, милый мой? Ты не хочешь.

Проезжаешь через Мишкольц, мосты и виадуки, булыжник, кошачьи головы, потом асфальт, вновь асфальт, авто все едут всё время по не той стороне, в городах сложнее.

Смерклось, и вновь бледные, квелые огни деревень, но не наши, они здоровее, бойчее, электрические огни городов, крепкие огни городов, здесь нет войны.

Хорошее шоссе, хорошее покрытие, лучше, чем у нас, за окнами ночь, сельские фонари не такие квелые, как у нас. Езжай себе, восемьдесят, девяносто, до ста даже пару раз разгонись, и вот тогда хорошо, исчезает то, что при дороге, есть лишь ночь, дорога, рев мотора и снопы лучей на асфальте, правая нога на акселераторе, левая на переключателе дальнего света, но движение слабое, его почти нет, на светофоре знак: *Narsány*.

А после внезапно Будапешт, и сразу все иначе.

И даже не внезапно, но иначе: не внезапно, потому что сначала поля, а среди полей предместья, вокзал, вновь предместья, сельские домики, а после чуть более городские, видно не ахти как, лишь то, что в свете придорожных фонарей, то есть не ахти, а после внезапно появляется город.

По правой стороне улицы Пешт, XIV район, ничего о нем не знаю, ни разу не был в Будапеште, с чего бы мне бывать в Будапеште, в Вене да, в Вене само собой, в Берлине в Париже Риме Лондоне, а Будапешт окраина таки, всё с ним в порядке, но таки нет. Не был и все, нет нужды объяснять, хотя вот вырос вдруг справа XIV район Пешта и пригородная железная дорога *H.É.V.*, так пишут на станциях, то есть как наша *EKD, Gödöllő H.É.V.*, а за ней каменицы и так светло, всюду фонари, и горят те фонари, а почему каменицы больше, чем в Варшаве? Больше потому что больше, потому что это столица империи, которой уже нет, но столица по-прежнему имперская, а что же моя Варшава, ничего же моя Варшава, провинци-

альная, жидовская, русская, внезапно объявляется столицей, неведомо с чего, большая потому что? Может, и большая, но Будапешт больше и каменицы выше на ярус или больше, улицы шире и красивее, это Пешт, Пешт, Буда на другой стороне, а тут Пешт.

А и без того все иначе, все не так; потому что ночь, и ночь рабочего дня, потому что со вторника на среду, а светло.

Нет затемнения, нет фонарей, размолотых бомбами, а есть гладкие мостовые, на мостовых машины, машины и трамваи другие, не как наши, и автобусы другие. Навыкате буркала, и жгут они меня этими буркалами, а меж буркал, там, где должна быть решетка радиатора, там на округлом капоте пучок блестящих хромированных стержней расходится лирой или тесно утянутым снопом. И трамваи набиты. Людьюми. И такси, а в такси смеются дамы, обычные и профессионалки, которые сами дают таксисту адрес, я полагаю — на венгерском. Из винной лавки навеселе вываливаются под латерны, ведь зимы еще нет, до зимы есть еще время, и до Адвента, еще октябрь, хороший для вина месяц, лучший месяц, чтобы пить вино, а я еду, небыстро, разглядываю таблички с названиями улиц, а на что, для чего?

А у нас в Варшаве чернь и мрак, если так ночью выйти, и если идешь, то либо патруль немецкий, либо тать жидовский, если не польский тать или еще какой, и ничего уже нет, ни ночных трамваев, ни погребков, из которых навеселе вываливались бы люди, а коли уже открыли какие, то из них выскальзывают украдкой, а не вываливаются навеселе, как вываливались мы с Яцеком, с дорогим Яцеком вываливались мы отовсюду, откуда только можно было вывалиться в Варшаве, но уже не вываливаемся, я стал сначала одним солдатом, а после другим, а Яцек застрял в Варшаве и в сухом, лишенном всего отчаянии, Иге его из этого отчаяния не вырвать, не сумеет, не смочь, значит, наверняка лежит вновь Яцек, лежит в постели, глядя в черный потолок, а днем сидит, сидит вновь Яцек, глядя в белое окно, на улицу глядя, а там не то, что он хотел бы видеть, и даже когда превозможет наконец, умоется, побреется, оденется и пойдет в госпиталь, то что ж, ничего ж, ничего ж, поглядит на всех тех, кому хотел бы, кому должен помочь, и не поможет, и что ж потом?

Еще глоток коньяка. Keresesi út, то есть, догадываюсь я, улица имени Keresesi, что бы это ни значило, справа венгерская ЕKD и каменицы, слева какие-то поля, для скачек что ли, затем вновь ЕKD, но перпендикулярно дороге, ведет меня к Baross tér, невеликой площади, а на площади оной огромный вокзал, Keleti pu., больше, чем Варшавский, я еду дальше, как мне кажется — вниз, вниз, по улице Ракоци, как я умело перетолмачил Rákóczi út.

Город, настоящий живой город, столица империи. Повозки. Такси. Свет. Неоновые вывески. Улица Ракоци широка, красива. Трамваи. Blaha Lujza tér, на ней здание большое, величавое, Nemzeti Színház, похоже на театр и перед варшавским то преимущество имеет, что не сгорело. Движение, конечно, левостороннее, привыкнуть сложно, на шоссе проще, в большом городе трудно, поэтому осторожен. Огни, фонари, неон.

Жизнь, которую у меня отняли. Я позволил ее отнять. Позволил. Мне нравилась эта жизнь. Желаю им, чтобы и этот город заклеен был крест-накрест и выжжен дотла, ибо не мой он, мой же город сожжен и изнасилован, его мостовые взорваны, а фонари не светят.

На мосту, который мост Елизаветы, мне хочется разбудить Дзидзю, пусть смотрит: вот сотни латерн отражаются в Дунае, баржи и буксиры пришвартованы у набережной, и никакой, никакой войны, словно война здесь никогда не гостила и словно никогда уже не соберется. Однако не бужу, она же знает Будапешт, видела это тысячу раз, это только я не знаю, я не видел.

За мостом поворот очень крутой, не ожидал, аж шины взвизгнули, но я сворачиваю налево и еду по набережной, у подножья холма, о котором догадываюсь по реющим надо мной огням, и еду, а по другую сторону реки тоже едут, снопы лучей от фар, светящиеся окна кафе и ресторанов. А на моей стороне реки бани, наверное турецкие, судя по куполу, турецкие бани. Rudas fürdő.

Как я изжаждался по городу, по живому городу, лишь бы не ютиться в мясе трупы, каким стала Варшава.

— Это здесь, — говорит Дзидзя.

Я вздрагиваю, она меня напугала, я забыл о ней. Зеркало.

— Что? — спрашиваю.

— Это здесь. Отель Геллерт. Паркуйся.

— Очень светло тут везде, верно? — спрашиваю.

Дзидзя пожимает плечами.

А отель ярко освещен, как и всё здесь, высокий цоколь и четыре этажа, декор не то исторический, не то растительный, вьющийся над входом в купол, ни дать ни взять острия пронзающих землю ростков, в целом, стало быть, фаллический вполне.

Я выхожу, хочу открыть дверь Дзидзе, но подбегает бой и открывает ее, так что я подаю Дзидзе ее шубу, а затем накидываю на плечи свою шинель, не перестегивая наружу ремня с гимнастерки.

Пару мгновений разглядываю багаж, но вспоминаю настоящую жизнь и знаю: сами позаботятся о багаже.

Швейцар в цилиндре открывает нам дверь, внутри мрамор и золото, как легко от этого отвыкнуть, но вспоминаю: вот твой антураж, Константин, не грязь, не холодная вода и не заклеенные крестами окна.

Я слегка пьян и слегка неустойчив и вдобавок слегка несвеж, но у портье сотня лет опыта, и он смотрит на меня совершенно вежливым взглядом, в совершенстве не замечая того, что не положено замечать.

— Guten Abend. Haben Sie freie Zimmer? Von Horn mein Name; das ist meine Ehefrau¹.

1. Добрый вечер. У вас есть свободные номера? Меня зовут фон Хорн; это моя супруга (нем.).

Он меряет меня взглядом, в котором читается ясный, кроткий упрек: кто приезжает в отель без брони? Это длится секунду, эта секунда ожидания есть кара, надо понимать, кара для меня за то, что я не проследил, чтобы вещи делались, как должны делаться.

— Aber natürlich¹, — отвечает в итоге. Никакого листания гроссбухов, никаких сверок, никаких звонков. В конце концов, у меня мундир, немецкий офицерский мундир, значит, у меня есть деньги, наверняка у меня есть деньги, безопаснее предположить, что у меня есть деньги, тем более что я с женщиной.

Подчеркиваю, что желаю апартаменты с двумя отдельными спальнями; разумеется. Подавать ужин? Я голоден, голоден чертовски, голодом, подогретым алкоголем натошак к тому же, однако Дзидзя протестует.

Значит, поедим в городе, раз она так сказала, то поедим в городе, мальчик принесет багаж, конечно, я тревожусь немного за пулемет в багажнике. Идем, значит, в номер, в апартаменты, нас провожает человечек в ливрее, лучшие апартаменты, третий этаж, я даю человечку доллар, окна апартаментов выходят на Дунай и мост Франца Иосифа.

Дверь за нами замыкается бесшумно, внутри дюжая безвкусная мебель, огромные окна, тяжкие шторы, пушистые ковры и высокие потолки и двери спален и электрическая люстра с множеством хрустальных слезок, и ни на одной нет и тени пыли. Вот это отель.

Дзидзя бросилась на диван, не раздеваясь и в обуви. Кто-то постучал в номер, я открыл — мальчик принес наши кофры и сумки. Я дал ему доллар, он мило поблагодарил по-немецки и исчез.

— Освежусь, переоденусь, и мы можем выйти, — сказал я несмело.

— Иди, иди... — Дзидзя махнула рукой.

Так что я пошел. Позвонил консьержу, распорядился, чтобы кто-то отгладил мой смокинг и рубашку, заодно вычистил обувь, лакей прибежал за вещами через три минуты, а я в ванную и в ванне заснул.

— Ну же, давай, вылезь, побрейся и оденься, хочу выйти еще сегодня, а уже десять, — сказала Дзидзя, а я думал, что это сон, но я не спал. Она была у меня в ванной в одном исподнем, я встал в воде, прикрыв пах. Она засмеялась и ушла. Я вылез из ванны. Голова у меня болела; заглянув в шкаф за зеркалом, я нашел там неизбежный аспирин, проглотил пару и запил водой из-под крана.

Душ, холодный, чтобы проснуться, теплый, чтобы согреться. Бритье, милостивый Боже, в теплой ванной, в теплой воде, в ярком свете, все как надо, горячая вода, масло, пена, медленно по росту, еще раз пена, против роста, холодная вода, бальзам. Одежда, уже готовая, на постели в моей спальне, итак, свежее белье, белая рубашка с жесткой манишкой, жемчужные пуговички бижусь, смокинг. Повязать бабочку. Одеколон. Зеркало: да, это я. Вот он я.

1. Ну конечно (нем.).

Выхожу в гостиную. Дзидзя уже ждет, элегантна, скромна, прекрасна и уродлива одновременно, без возраста, сколько ей лет, двадцать пять или сорок два? В платье ниже колен очень темного бургундского. Нет войны, никакой войны, какой войны.

— А ты в этом хорош, Константин, — с одобрением говорит она, глядя на меня. — Как будто уже родился одетым.

Выходим. Я не беру пальто, плащ, что я упаковал с собой, не подходит к смокингу, так что прошу портье вызвать такси и спрашиваю у Дзидзи адрес, а после неумело пробую повторить его таксисту, таксист смиренно соглашается, и мы едем недолго, вокруг холма Геллерта, к замку будайскому на будайском холме мы едем, видим его хорошо, потому что и он подсвечен, войны нет, вовсе никакой войны нет, мне уже обменяли в отеле несколько долларов, так что я плачу в peng^o, высаживаемся.

— Это здесь, — говорит Дзидзя.

Маленькая вывеска, Vozozó, зеленая дверь. Внутри интерьер не для смокинга, тем не менее такой, в каком смокинг не удивляет. Я могу быть в смокинге, хотя рядом сидят рабочие, ясновласые усахи, опорожняют очередной стакан белого, без слова, молча. Рядом сидят несколько прилично одетых интеллектуалов, некоторые выглядят как евреи, так что, может, и евреи, тоже пьют, едят свой паштет, далее рабочие или возчики, в этом роде, а еще дальше двое мужчин во фраках подкрепляются тонко нарезанным салом и попивают прозрачный напиток из маленьких стопок, не знаю венгерских обычаев, а впрочем знаю, что делают, сам часто так делал, в месте попроще харчуются весело, чтобы после податься куда похрустальнее, позеркальнее, к значеным порогам, ведь так лучше, полезнее, веселее.

Садимся за длинный тяжелый стол, за стол из толстого дуба.

Я очень устал, теперь осознаю это. Не спал, грыз странные таблетки, пил коньячок, почти целую фляжечку, как оказалось, а еще и очень голоден, и внезапно кружится у меня голова, но Дзидзя уже заказывает учтивому официанту с навощенными усами и волосами вошными и в фартуке, Дзидзя заказывает: паштет из печенок, сало с паприкой и солью, хлеб со смальцем и красное вино. Никто не обращает на нас особого внимания, замечено было, что вошли, что сели, что заказали и все, более ничего, а чего ж более, и все-таки дивно, и изобилие дивное и лепое; итак, наливают, накладывают и приносят.

Такая лепая россыпь толстых ломтей хлеба с салом, покрытого кольцами лука и напудренного паприкой. Такой лепый кусок сала на тарелке с острым ножом, два ломтика срезаны для поднятия духа, сало тонкое, и в желтой белизне жира едва маячит тоненький розовый слой, что за лепое сало!

У серо-коричневого паштета запах печенки и петрушки, к нему хлеб белый, ломти, и вино в бокалах.

— Здесь разливают децилитрами. У нас по одному, но одним не кончится, верно, Константин?

Не кончится, но вино позже; сейчас поесть, как же я голоден! Размазываю паштет по хлебу, откусываю и как же хорошо, ливер, алкоголь чувствуется, заправлен добрым чем-то, ореховой, он и сам ореховый, и закушу и выпью и пласт сала и хлеб со смальцем.

И Дзидзя не отстает от меня, игнорируя совет поэта Байрона, мол, женщина не должна есть вообще, разве что креветки и бокал шампанского; нет, Дзидзя ест за двоих, и, когда луковое кольцо, надкушенное, но не перекушенное, подпрыгивая, осыпает красной пудрой нос и губы, чихнув в мгновенно извлеченный носовой платок, смеется, ест далее, стирает паштет с уголков рта, и мы заказываем очередное красное, не колеблясь, мы не оцениваем букета, мы просто пьем деци за деци, зажевывая, потом курим, потягивая, сыты, полны, счастливы, общительность притуплена, заказываем очередные деци, пьем и еще капельку, ломоть уже не лезет, так что по кусочку хлеба, мажем паштетом и далее, еще деци, на здоровье, prost! Egészségedre – учит меня Дзидзя, кельнер слышит, смеется, поправляет произношение, и уже учим вместе “на здоровье” венгерское. Egészségedre.

А потом в будапештский кабачок вваливается пьяная Варшава. Двое офицеров, аж не верится. Пьяные. Садятся. Пьют. У них есть деньги, пьют на широкую ногу. Мундиры. А мы шокированы, потрясены, как?..

Официант ловит наши взгляды. На миг задается вопросом, с кем имеет дело.

– Wir sind aus Wien, – объясняет Дзидзя с адекватным акцентом. – Wir hassen den Hitler. Wo kommen hier diese armen Polen her?¹

Официант кивает, он согласен на венцев, ненавидящих Гитлера, почему бы и нет.

Die Polen gibt es hier überall sehr viele. Angeblich gibt es in Budapest ein paar tausend polnische Offiziere, vielleicht mehr als zehn, sagen sie. Man kann sie hier überall sehen², – с этим объяснением уходит, через некоторое время возвращается и приносит нам стакан сливовой палинки, за счет заведения. Как бы в благодарность за то, что не любим Гитлера. Убирая со стола, он бормочет себе под нос, бровями и носом указывая на польских офицеров.

– Und so seit drei Wochen. Das Vaterland haben sie verloren und amüsieren und erholen sich trotzdem³.

Польские офицеры не получают палинки за счет заведения. Ох, как хорошо я знаю эту гадливость, херов официант, я знаю таких.

1. Мы венцы... Мы ненавидим Гитлера. Откуда эти несчастные поляки? (Нем.)

2. Поляков полно здесь повсюду. В Будапеште предположительно несколько тысяч польских офицеров, возможно, больше десятка, говорят. Их встречаешь повсюду (искаж. нем.).

3. И так уже три недели. Они потеряли родину, а развлекаются и гуляют себе несмотря на это (искаж. нем.).

Не знаю, чему ты, венгр, кадишь в своих венгерских часовенках, но знаю таких, как ты, я знал вас, знавал определенно с избытком. И я сразу начинаю любить этих офицеров сильнее, чем они того заслуживают. Садятся в угол, странным образом менее искушенные в этой харчевне, чем мы, заказывают палинку, получают палинку, заказывают гуляш, получают не то, что ожидали, потому как, вероятно, ожидали серого месива с кусочками мяса и хрящей, какое у нас наименее привередливой клиентуре подают в говенных закусокных. Между тем получили прозрачный острый суп с лакомыми кусками говядины; знаю, ибо сидящий рядом с нами желтоволосый смерд ест такой же, утирая рот и усы тыльной стороной волосатой ладони.

Мы едим и пьем, в основном молча, если обменяемся вполголоса каким-нибудь замечанием, то будет оно на немецком, не хотим, чтобы в нас признали поляков.

Польский капитан и майор напились очень быстро, капитан пересел к майору на другую сторону стола, к стене, и теперь пьют далее, нежно обнявшись.

Я мог бы быть с ними сейчас. Еще мог бы? В гражданской одежде обнять их, напиться с ними, вместе найти какой-то путь, туда или сюда, во Францию, и там опять в армии, хотя, наверное, уже без лошадей, опять мундиры, приказы на каждый день и особо, рапорты, команды, анкеты и в сумме, быть может, какая-нибудь война, а что на войне? Годы гниения в окопах, с одной стороны немцы, с другой мы, бункеры, пушки и колючая проволока, грязь и рок моего отца, без лица и без елды, а может, что-то новое, быстрая война вроде нашей, метания по пересеченной местности, связь перерезана, никто не знает, где фронт, фронта нет, механизированные и бронетанковые дивизии перемешались, мечась друг за другом, фланги обнажены, засады и отходы, и мы в Берлине или Берлин в нас.

На что это мне, для чего это мне, как выглядел бы я среди этого всего, зачем бы мне это вообще делать?

Я Константин Виллеман, и у женщин люблю, когда попка ладно отклячена, мясиста и упруга, как у венгерской кухарочки, что время от времени выходит из кухни. Не люблю ни армию, ни коней, ни мундиров, ни карабинов, люблю носить пистолет, джентльмену пристало, лучше всего малую плоскую семерку, вроде зауэра моего отца, который я вынул из кобуры и на всякий случай заткнул сзади в брюки, боялся, что сломает линию пиджака, но я чутка похудел, и все пристойно, джентльмену подобает иметь что-либо в брюках.

Пью палинку, теплую в застывшем стакане. Я пьян. Дзидзя улыбается, ест и пьет столько же, сколько и я, столько же, сколько голодный, усталый мужчина, много.

— Я не знаю, кто я, — говорю по-польски и потихоньку, по-польски надо тихо, так что говорю тихо, все еще чувствуя в горле жгучий алкоголь.

Я пьян. Очень пьян. Я центр мироздания, я ось его, винарня, люди, потолок и стол вращаются вокруг меня.

— Мы встречались здесь, в этом bogozó, знаешь? — тоже по-польски шепчет пьяная Дзидзя.

Я не ответил, потому что как бы я мог ответить? Промолчал. А она, пьяная, начала шептать, мне и даже больше себе, она не искала моих глаз, ей было все равно, слушаю ли я, но я слушал, а она шептала, тихо и почти не прерываясь:

— Здесь мы сидели, за этим столом. Пили вино и ели, разговаривали по-немецки или по-французски, а иногда, когда мы были уже пьяны, то говорили друг с другом на своих языках, при этом я по-венгерски не понимала ничего, а он польский немножко, он вырос в Верхней Венгрии и оттого понимал немного по-словацки, а значит, и по-польски немного, отдельные слова. Мы виделись девять раз. Не всегда здесь, здесь несколько, пять, может, а он не боялся встречаться здесь со мной, хотя жил поблизости, на этой улице. Наверняка до сих пор живет. Он звонил мне первого сентября, международный еще работал, выражал солидарность, сочувствие и сожаление по поводу войны. И в то же время я слышала, как дрожал от радости его голос, и не знала почему, и пришла в ярость и швырнула трубку, а он понял, перезвонил снова и извинился, прежде чем я успела извиниться, и объяснить: у него только что родился сын. Первого сентября как раз. Однако же помнил обо мне и о нас, о Польше, позвонил мне. Я поздравила его, я помню его жену, я видела его жену, высокую эфемерную еврейку с породистым длинным лицом и узкими ладонями. Когда я ее увидела, решила, что та никогда не родит ему ребенка, такие у нее узкие бедра. Однако родила. Я сказала ему, пускай не тревожится, мы побьем Гитлера и станем поить коней в Шпрее. Я знала, что мы проиграем, я не дура, но сказала так, чтобы его успокоить.

Вдруг она замолчала. И я понял, что это важно. Важнее, чем Польша, Германия, венгры и евреи вместе взятые. Важнее войны. Важнее, чем наше подполье, окончательная победа или окончательное поражение, важнее, чем мой путь боевой, Крест Храбрых и Железный и немецкий мундир и польский смокинг, которые я ношу. Ровно вот это, Дзидзя и ее венгр, который ее не хотел. Нет ничего важнее, ничего больше.

— Свидишься с ним сейчас? — спросил я так же тихо, как она говорила.

— Нет. На что?

— Идем отсюда.

Дзидзя слегка отсутствующе кивает головой, согласна. Счет, пожалуйста. Польские офицеры вываливаются, заплатили, оставив щедрые чаевые. Щедрость чаевых не радует усатого кельнера, как же так, господа офицеры транжирят, не любят, что ль, отчизну свою? Ты мне не нравишься, усатый официант. И все равно оставляю хорошие чаевые, уходим. Ночь прохладна, но мы идем пешком.

Мы шатаемся, обнимаем друг друга и шатаемся вместе, а Дзидзя останавливается внезапно и начинает плакать.

— Что, милая, что...? — бормочу я.

Она указывает на парк, заросший молодыми деревьями.

— Tabán здесь был, так его называли, такой кварталчик гнусный и очень ладный, домики, кнайпы, бордели, цыгане пели... Еще помню, как была здесь впервые, лет десять назад, такая благовоспитанная паненка, а убежала и пошла посмотреть, цыганка гадала мне и нагадала, что убьют меня когда-нибудь сербы, что буду я несчастна, но у меня будет бурная жизнь, какую и дюжине человек не прожить, дурная цыганка. А они снесли.

Дзидзя плачет, я притискиваю ее еще крепче, знаю ведь, что не из-за этого Табана она плачет, а из-за своей любви, из-за своего венгра, который ее не хотел и которому жена родила сына, хотя бедра у нее были узкими.

Спускаемся к реке, к мосту Елизаветы, идем бульваром среди огней, нормальные люди среди нормальных людей, пьяный мужчина в смокинге с пьяной элегантной женщиной, нет войны, у нас уже тоже нет войны, но по-другому, нежели здесь, здесь нет немцев, один мой немецкий мундир, один Baldur von Strachwitz, я отдал его в чистку, так что, наверное, его сейчас продувают паром, отца моего Бальдура, и скребут, и вешают в моем шкафу, серо-зеленый, хорошо подогнанный к моему телу, с орденами, в шкаф.

Гостиница, лифт, комната. Дзидзя больше не плачет. Я бы поцеловал ее, ее губы ищут моих губ или не ищут моих губ? Но не так; так не хочу, я так не хочу, трезвой она брезгует мной, а пьяной станет моей, так не хочу, поэтому усаживаю ее в кресло и тянусь к буфету, наливаю коньяк в два бокала, на ход ноги, на завершение ночи и дня и ночи, пути, счастливого пути, поскольку я забыл уже про Хохола и про выстрелы, и Дзидзя тоже забыла, словно их и не было, поэтому усаживаю, тянусь к буфету, наливаю, подаю и сам сажусь в кресло напротив.

— Наше здоровье, дорогая попутчица.

Дзидзя глядит в бокал недоумевающим взором, потом вызывающе глядит на меня, не знаю, на что она меня вызывает, потом залпом выпивает весь коньяк и сразу падает на кресло, чтобы тотчас сорваться с него, и, прикрывая рот, бежать в сторону уборной. Я знаю, что это нельзя, но бегу за ней, придерживаю ей волосы, когда ее рвет в унитаз, даю воды в стакане для чистки зубов, она полощет рот, видит в зеркале себя, видит в зеркале меня, отворачивается, внезапно протрезвев или словно протрезвев.

— Выйди, пожалуйста. Но не ложись пока спать.

Итак, выхожу, сажусь в кресло. Не тянусь больше за коньяком, пить нету сил, пить не хочу больше. Дорога, пилюли счастья, все еще не знаю какого, коньячок из баклажки, вино, палинка, вновь коньяк, довольно.

Подхожу к окну. За окном мост, его подсвеченные параболы между пролетами, там где-то сереет заря, под-над Дунаем мгла, и в этой мгле распылены световые шары латерн и цепи лампочек на мосту, тоже распыленные. Фары автомобилей. Трамвай.

— Хочешь меня, Константин?

Оборачиваюсь. Дзидзя стоит в дверях, в белье, в чулках.

— Хочу. Но не так... — отвечаю и сам удивляюсь своим словам, и внезапно боюсь, что ранил ее, но смотрю на нее и вижу, что я не ранил.

Она подходит ко мне, обнимает меня, ее худые руки вокруг моей шеи. Знаю: это не поощрение, она не отдается мне в этом объятье. И в то же время это не сестринский жест, есть в этом объятии какая-то эротика или обещание чего-то эротического.

— Спасибо. Ты потрясающий, — шепчет она мне в ухо и целует в щеку.

И отпускает. И уходит к себе, а я остаюсь, и мир вдруг переворачивается, чувствую, что должен лечь спать немедленно, так что едва успеваю снять пиджак, падаю на постель и не засыпаю, но погружаюсь в безотчетность, словно тону в болоте. Уже не думаю ни о Дзидзе, ни о матери, ни об отце.

Светлый прямоугольник окна, лепной потолок, люстра, все кружит надо мной, пока наконец не плавится в душную тяжелую черноту.

Глава XIII

Меня мутит, у меня головная боль, спазмы желудка, и мне немедленно нужно в туалет, но перспектива стоячего положения кажется мне пугающей, и так лежу в полусне с закрытыми глазами, занят единственно тем, что хочется блевать и что мозг мой лопается. Потом вспоминаю про аспирин в ванной, так что в конце концов встаю, смотрю на часы: одиннадцать. Я спал до одиннадцати. Глотаю этот аспирин, запиваю водой прямо из-под крана и под душ. После душа немного лучше. Бреюсь. Щетка и порошок, надраиваю зубы. Завертываюсь в банный халат и иду в гостиную.

Дзидзя уже здесь, сидит за кофе, белым хлебом и яйцами вкрутую.

— Доброе утро, — говорю несмело и неуверенно: в себе самом, в том, что вчера, не уверен в своей и ее памяти, но когда вижу ее, понимаю: нет, ничего не случилось, я даже не поцеловал ее, это хорошо или плохо, а я знаю?

— Доброе утро, Константин, — отвечает лучезарно, будто она в самом деле рада меня видеть. Может, в самом деле рада меня видеть. — Позавтракай со мной, пожалуйста.

Она в самом деле рада меня видеть. Она сидит в элегантном, слегка старомодном пеньюаре, мажет медом кусок хлеба и улыбается мне. В самом деле? Думаю, в самом деле. В самом деле.

— Доброе утро, Дзидзя.

И до тебя вдруг доходит, Константин. Доходит?

Это конец. Думаю, больше не встретимся, мой милый, до тебя дошло ведь. Вдруг дошло.

Она перекроила тебя, дурак. Она: ее дух и ее сила. В ней все то, чем бы я не хотела, чтобы ты был. Отобрала тебя у меня. Глядя на

нее, ты разглядел человека. Глядя на нее, ты разглядел кого-то выше того, что казалось тебе человеческим. Та, кого не трогают чужие взгляды. Та, что не боится. Та, что любит, ибо любить хочет, вожделеет, ибо вожделеть хочет, а не затем, что хочет быть любимой и вожделенной. Как ты.

Ничего не понимаю. Сажусь завтракать.

— Не ешь слишком много, на ланч мы пойдем в *Central Kávéház*. Это как Земьянская, только больше и изысканнее, и писатели у них там лучше.

Я усмехнулся себе под нос. Никогда не любил наших писателей. Я нуждался в их славе, в ореоле других художников, но не любил. У них было нечто, чего нет у меня, и не могу даже точно определить что, но ощущаю, точнее, ощущал нехватку этого.

— Главное, что существует, — добавил я.

— Прости?

— Существует. А Земьянской больше нет. То есть место есть, я даже был недавно, открыто, но Земьянской больше нет, кому туда сейчас ходить и ради чего?

— Это печально, — задумалась Дзидзя.

— Вовсе нет, — быстро ответил я. — Вовсе не печально. Мне не жаль. Была, а теперь нету. И, вероятно, уже не будет. И что с того?

Покивала головой. Кто-то постучал в дверь. Я открыл — коридорный с сообщением. Я взял листок, дал один пенгё, закрыл дверь.

— Штайфер, определенно, — сказала Дзидзя.

— Кто ж еще, — согласился я.

Распечатал письмо, садясь за стол.

“Herr von Horn wird gebeten, am Mittag in die Hoteltherme zu kommen. M. S.”¹

Передал листок Дзидзе. Она прочитала.

— Это поможет тебе от похмелья, — усмехнулась она.

У мира другой оттенок. Я не понимаю, но принимаю.

Я разрезал яйцо пополам, желток еще мягкий, добавил кусочек масла и щепотку соли, съел, и это было очень славное яйцо. Выпил кофе. Дзидзя молчала, лишь улыбалась мне. Я потянулся за газетами: немецкие, французские и английские, но читать неохота, чего тут читать, если и так все ясно.

Еще кофе.

— Ты ему позвонишь? — неожиданно спросил я.

Дзидзя не ответила сразу. Ее не задел вопрос, она просто обдумывала ответ.

— Не знаю, — сказала наконец. — Скорее всего, позвоню. Или pošлю телеграмму.

— Чем займешься, пока я в этих банях буду встречаться со Штайфером? — спросил я с интимностью, которой еще вчера между нами не было.

1. “Господина фон Хорна просят в полдень пожаловать в термы отеля. М. С.” (Нем.)

— Стану смотреть в окно, караулить, не идет ли он мимо, и плакать, — ответила она без иронии. — Ты как-нибудь влюблялся, Константин, так, чтобы по-настоящему?

Влюблялся ли я как-нибудь, чтобы по-настоящему? Удавалось ли мне когда-нибудь в таком раскладе не влюбиться? Было ли это когда-нибудь по-настоящему? Влюбился ли я в Игу? Влюбился ли я в Гелю? Считая тех, в кого я влюблялся каким-то образом невинно и чисто. Влюбился ли я в Саломею? Нет, в Саломею я никогда не влюблялся, лишь желал ее, но желал ее хуем, не сердцем, а это большая разница. Не очень изящно, но именно так.

Влюблялся ли я как-нибудь? Это важно и не важно одновременно. Важно. Именно это есть материя жизни. Из этого жизнь и состоит, из порывов сердца и вибраций чресл. И неважно, ведь жизнь неважна, в целом.

— Да, — отвечаю просто.

Дзидзя кивает: да-да-да, именно так, что я мог сказать. И мы сидим в молчании, а за окном Будапешт, а в номере жизнь, нормальная жизнь, нормальная еда, нормальное отопление, все нормально, и я наслаждаюсь этим и покину это без сожалений, хотя начни я думать об этом, кажется, что должен сожалеть, однако без сожалений.

В итоге Дзидзя взглядывает на часы.

— Ступай.

— Как я его там узнаю?

— Он тебя узнает.

— Одеться или идти в халате?.. — Я нерешителен.

— В халате. Здесь так принято.

Итак, завернувшись в мягкий ворс и взяв сигареты, я выхожу, спускаюсь на лифте и иду к термальным ваннам, а своды в них высокие и чистый модерн, я спрашиваю, сколько стоит, для гостей отеля термы бесплатно, и то ладно. Иду дальше, гардероб.

В раздевалке за стойкой великолепный массажист, гаргантюа с обвисшими глазами бассета и уголками рта, опущенными равно гравитацией и спокойным презрением к таким, как я: чего ты лопочешь мне по-немецки, заграничный идиот, как тебе вообще в голову пришло? Я лопочу по-немецки. Что занесло тебя сюда, фальшивый человек, чего ради ты явился сюда в своем гостиничном халате и с дурацкой рожей самодовольного идиота, а? А я, идиот, улыбаюсь ему улыбкой для продавщиц и что-то мелю о полотенцах и шлафроках, а этот великолепный двухсоткилограммовый человек, лысый и волосатый во всех прочих местах, глядит на меня, полотенце под большим брюхом, мокрая шерсть, веки стянуты вниз щеками, глядит на меня, с жирным терпением равнодушно ждет, когда я буду готов, и подает мне толстую охалпку полотенце, говоря нечто очень презрительное. Представляю себе, что он может сказать, я знаю, что он таки прав, чего ради я явился сюда, разве для меня эти термы, или я вообразил, что за свои пенгё могу купить право быть здесь, как я купил право на вход? Могу войти, пусть их входят, но

быть? Как быть — если меня здесь вообще нет. Я знаю, что он прав; я согласен с его нерасположением, я разделяю его отвращение к такому, как я, я бы извинился за то, что пришел, если бы только умел, но я не умею, так что послушно иду далее, следуя указаниям угрюмых и бдительных банщиков, велют раздеться, и я раздеваюсь, догола, я догола, вхожу в бассейн с водой с более низкой температурой, затем в бассейн с более высокой температурой и жду, жду, пока не найдет меня Мариан Штайфер, который должен меня найти.

Итак, вишу в воде с температурой человеческого тела, затем в паровую баню, затем снова 36 градусов, затем снова парная, затем ванна с кипятком, в ней закуриваю сигарету, покуда голова не закружится.

Я больше не жду, пускай приходит когда хочет. Хожу и сижу здесь, голый как все, и думаю о женщинах, о моих женщинах.

Перекроили меня: думаю о них без вины и стыда. Зачем? Не знаю. В конце концов, телесная, чувственная грязь нашей с Саломеей связи не стала чище — остается грязной, как и была. А в то же время вижу себя самого по-другому, сверху, издали, как если бы я завис под стеклянным сводом бани и смотрел на себя, погруженного в эту минерализованную горячую воду, в которой я вишу, точнее, парю, невесомый. Не сижу.

А окружен я голыми старцами в фартучках, прикрывающих промежности, и даже знай я, где берут такие фартуки, не надевал бы, поскольку кажутся они мне чем-то именно старческим, чем-то, чему скрыть должно эти концы, ни для чего, кроме ссання, не годные, концы сморщенные, несуразные, мертвые — обнажив притом нагие старые ягодицы.

И были эти старцы немощны, еле шаркающие, были это старики с белыми телами, с дрожью в руках, памяткой обо всех тех излишествах, каким предавались они в течение жизни. Медленно, осторожно вступали в теплую воду, что за рай, когда вода держит и наконец вздымает их старые тела, уже не желающие выпрямляться, старцы погружены в воду по самые дрожачие челюсти, на зеленой воде круги от их дрожи.

Были там и не столь старые старики, однако уstraшенные предстоящей старостью, молодцевато пружинящие вялую грудь и втягивающие дряблые, несмотря на регулярную гимнастику, брюшка, и когда я смотрел на их тела, то был их братом, хотя они были венграми или кем-то еще, я слышал немецкий язык и все голые здесь были мне братья.

Была там и молодежь, мужчины среднего возраста, мужчины пожилые и, наконец, мужчины без печати возраста на телах, им вполне могло быть как хорошо за тридцать, так и пятьдесят. Итак, были мужчины с красивыми телами воинов, груди вылеплены арками мощных ребер, бывшие спортсмены с гибкими, быстрыми спортивными телами, были юноши с паучьими конечностями и впалой грудью, были толстые, жирные и тучные, были старики, помнящие свою былую красоту, и старцы, счастливые в эгалитарном уродстве старости. И все были спокойны, обнажены, тихи и сосредоточены на себе, на

собственном теле в теплой воде и паре, даже если в компании, все реют в теплой воде торжественными медузами, созерцая пальцы собственных ног.

И было мое тело, стройное, не слишком красивое, так как не слишком спортивное, с нормальным для тридцатилетнего животом, аккурат так, чтобы костюм сидел, без мышц, волосы редки и светлы, пенис ни большой, ни маленький, обычный. Я долго стеснялся своего бесцветного тела, еще долго после Иги, я пробовал работать с отягощениями, чтобы нарастить какие-то бицепсы, ел много, чтобы заматереть, даже хотел заняться спортом, но ничего не менялось, так что в итоге я решил, что и так хорошо, раз не полнею избыточно.

— День добрый, — сказал кто-то за моей спиной, не чинясь.

Я замахал руками и повернулся в воде всем своим обнаженным телом.

Стоит надо мной на краю бассейна невысокий, стройный мужчина лет пятидесяти. Внушительный толстый член в клубке черных лобковых волос. Волосы на голове тоже черные, усы офицерские, волосы на груди, равно обильные, поседели, что перестало бросаться в глаза, когда он нырнул и омочил грудь.

— Конспирация конспирацией, а манеры манерами, — объявил он. — Я Штайфер. Нет, нет, нет, минутку, пусть пан не представляется, сейчас вспомню, знаю пана... — сказал он, взглядываясь в меня.

Я смешался, ответить тем же самым не мог, заметив это, Штайфер засмеялся и тут же объяснил:

— Ах, нет, не лично. Из досье.

— Из досье? — удивился я, чуть вздрогнув.

Что во мне дрогнуло? Может, то же самое, что дрожало, когда поручик Жабиньский говорил: я вас знаю, Виллеман, — и действительно, он знал и мог понять, предсказать все и увидеть меня насквозь, навывлет, на прострел.

Ровно то самое во мне дрогнуло, но насколько ж слабее.

А Штайфер думал. Думал минуту. Почесал подбородок, чисто выбритый.

— Знаю! Виллеман, Константин. Подпоручик запаса, девятый уланский! Я хорошо помню, верно?

— Хорошо... — соглашаюсь, неуверенный, напуганный, нагой. Подаю ему руку, и он жмет ладонь крепко, лихо и неколебимо. Мне не по душе, не по душе, ненавижу лихость.

— Ну, работает-таки память, несмотря на полсотни за плечами. Но пан был особым случаем, мы интересовались паном с того момента, как пан отправился в Грудзёндз. Ведь чисто немецкое происхождение, верно?

Я пожимаю плечами.

— Я поляк.

— О, пан! Пан! Неужто пан увидел во мне фалангиста? У меня фамилия Штайфер.

— А у Мосдорфа фамилия Мосдорф, и что?

— Ну хорошо, хорошо. То, что пан поляк, логично, но неважно. Мы интересуемся паном давно, жаль, что пан не захотел стать кадровым. Тоже способ жизни. Хотя не такой, как выбрал себе пан.

— Полковник Штайфер... — начал было, но он перебивает.

— Ох, да простит меня пан. Важно, что пан оказался тем, кто нужен, там, где нужно, хотя, по видимости, случайно, верно? Не могу вообразить лучшей для пана ситуации.

— Я тоже рад, — отвечаю едко.

— Еще кое-что должен спросить, и сразу перейдем к делу. Отец пана, Бальдур фон Штрахвиц...

— Он в Варшаве, — отвечаю я и, пока произношу это, понимаю, что лгу. Я хотел бы даже объясниться, но Штайфер не позволяет.

— А, так пан знает, что он жив?.. Ведь мать, кажется, скрывала это от пана?

Насколько это ложь, настолько же лживо и мной сказанное, в Варшаве отец мой.

Бальдур фон Штрахвиц в Варшаве. Фельдполицайкомиссар Бальдур фон Штрахвиц в Варшаве. Разве он не в Варшаве?.. Где же Бальдур фон Штрахвиц?

Ты знаешь, Костичек. А я должна молчать, хотя молчать о нем тяжело. Бальдур фон Штрахвиц на полях Фландрии, он там остался и оттуда ему не уйти. Остальное ты знаешь.

Я лгать не должна.

— Я нахожусь здесь как Бальдур фон Штрахвиц. У меня его мундир и документы. Спецы Инженера немного поколдовали, клеили мое фото, подправили особые приметы...

— Приметы... ах, ну да, — вспомнил Штайфер.

— А отец... Ну, я не знаю, что с ним сейчас происходит. Он отдал мне все. Свою личность, мундир, потому что аккурат подошел, оружие, все.

— Пан считает, он...

— Я не знаю.

Штайфер покивал головой.

— Пан Константин, пан для нас манна небесная. С неба. Пойдем-ка в баню, беседе пар на руку.

И мы пошли, сели в белой, раскаленной дымке, сели рядом, подстелив под задницы полотенца.

— Не было, как говорится, счастья, но пан случайно наткнулся на Инженера, а я сбежал от большевиков с этапа на Козельск, и вот сейчас мы сидим в бане в Будапеште. Думал ли я в том вагоне — а это был скотский такой вагон, вообрази, пан — думал ли я в нем, что через неделю буду сидеть в бане в Будапеште? Не думал. А я сижу и пригожусь еще.

Все, чего он ждет, так это поддакивания, знаю.

— Расскажу пану анекдот. Баня хороша для анекдотов. Сбежал я, значит, из этого эшелона, верно?

— Да.

— Чтобы быть точным, я обезвредил охранника. А если еще точнее, то убил. Вбил тому в живот его собственный штык, взял винтовку и убежал.

— Сие есть акт великого мужества. — Мне интересно, примет ли он это за сарказм.

— Скорее рефлекс. Аккурат был шанс. Стало быть, убежал, прокрался, перебрался, голодный, через Горганы, вылез наконец в Кенигсфельде, а там сцапали меня когуты.

— Жандармы, да?

— Жандармы. Ну, те велят мне сдать оружие и хотят меня интернировать, верно. А я им, мол, ни за что, требую, чтобы мне разрешили позвонить. Мы полаялись немного, они говорят, и не без оснований, что несет от меня, как от козла, что войну просрал и ничего не могу требовать. И я им, мол, требую. И так далее. В итоге согласились, звоню.

— Куда же пан звонил?

— Прошу внимания. Я поговорил, передаю трубку жандарму, что меня охраняет, тот в лице меняется немного, но хорошо. Объявляет, что оружие сдавать я не должен и что мы ждем. Ну, я отправляюсь себе спать. В камере, а как же, но открытой. Просыпаюсь утром, мы еще ждем, но недолго. И вообразит пан, как меняются когуты в лице, когда к заставе подъезжает колонна машин и из одной из них выходит сам Барта... — он понизил голос, рассчитывая на мой удивленный возглас.

Я замешкался. Но нет, минутку, какой-то проблиск.

— Барта... Министр...?

Штайфер вздохнул с облегчением.

— Именно так! Карой Барта де Дальнокфалва. И знает пан? Он выходит из машины, встает передо мной и отдает честь мне, такому грязному, козлиному, обтерханному, отдает долго, в молчании. А знает пан, отчего?

— Почтил героизм польского солдата? — спросил я с легкой иронией.

Штайфер благодарно улыбнулся.

— Хорошо! Но нет. Он крепко прогерманский, пан знает?

— Так отчего же?

— Оттого, что мой товарищ по армии! — рассмеялся. — Мы вместе воевали в Альпах. Я был сапером. Спас его раненого под огнем, вынес, далеко вниз. Сразу отвезли меня в Будапешт. Итак, пан разумеет, я пригожусь тут, с такими связями.

Разумею.

— Вот. Тут назначен такой полномочный представитель военного министерства, оно называется точно министерством гонведов. Дембиньский назначен.

— Генерал Дембиньский?

— Нет, капрал Дембиньский из Нижних Лазиск. Конечно же, генерал Дембиньский. А я уж устрою так, чтобы самому стать этим уполномоченным. И все сложится. А как вы добирались? — сменил он внезапно тему.

— На машине.

— О! Идеально. Машину эту вы оставите мне, она мне будет нужна тут. Лагеря для интернированных раскиданы по всей Венгрии, а их придется все объехать. Что за машина?

— Шевроле мастер. Кабриолет, — отвечаю на грани ожесточения, как будто это моя машина. Мою машину, мою олимпиаду у меня уже забрали, такие, как он. А теперь опять забирают. Но это нечто иное. Это то же самое. Только я сам уже иной.

— Отлично. Жаль, что кабриолет, зима близко. Крыша-то уплотненная?

— Уплотненная. Но как мы вернемся?

— Ну, видит пан, дело такое. Сегодня вечером специальный немецкий поезд, прямо на Варшаву. Узнал случайно. Гражданский, потому что военные венгры не пропускают, но в вагонах в основном армия. Раз у пана есть крепкие документы, то проедете легко. А мне машина нужна.

— Понятно, — согласился я.

— Хорошо. Знает пан, давно мы уж тут сидим. А можно было бы сходить поесть.

— Да. Я здесь с, ну... Как бы это... — Я не знал, что сказать.

— Пан с женщиной тут.

— Нет-нет... То есть да, с женщиной, но это не... То есть она помощница Инженера, а не одна из моих... Ну, пан понимает.

— А-а. Понятно. Ее зовут...?

— Так ведь конспирация...

— Упокойся, пан.

— Дзидзя Рохацевич.

— Ах, панна Рохацевич. Ну, и все логично.

Хотел бы взглянуть на него вопросительно, но как сделать это в бане, сидим рядом, друг друга почти не видя, такой туман. Поэтому не смотрю на него вопросительно.

Штайфер встал.

— Ну, пан Виллеман, я, пожалуй, пойду.

— Панна Рохацевич хотела сходить на завтрак в Centrál Kávéház.

— Возможно. Часика через два, — ответил он и ушел.

А я, что мне делать?

Я сидел еще немного, взял холодный душ, еще раз ненадолго окунулся в бассейн с горячей водой, чтобы не встречаться со Штайфером в раздевалке, затем завернулся в свой халат и вышел в тамбур.

Пухлый банщик на ломаном немецком предложил массаж, когда я прошел мимо его закутка.

Мне мерзят прикосновения. Женщине я позволяю касаться меня в постели, но не люблю неэротичную нежность, повседневные ласки. Так поступала Гелена, однако я знал, что ей это даже сильнее нужно, чем сексуальная жизнь, потому ей позволял взьерошить мне волосы или погладить меня по шее, проходя мимо, но не любил этого. А если бы меня стал трогать мужчина?... Улечься голым,

одни ягодицы прикрыв полотенцем, а этот гигант с глазами бассейта начнет массировать меня масляными руками? Мерзость.

Я согласился.

Проследовал за жирным гаргантюа, лег на кушетку, которую он указал, завернув в полотенце зад, а массажист намастил ладони и начал массировать спину. В этом не было ничего мерзкого; мало того, это было даже приятно.

Я Константин Виллеман, и неважно, что я люблю, а что нет. Важно, что я есть.

На лифте я поднялся обратно в номер.

Дзидзя сидела у окна, сплетя руки на коленях. Обратилась ко мне, когда я вошел.

— У тебя есть сигареты?

Глаза не были заплаканными, разве что чуть покраснели.

Сходил в комнату, принес пачку, угостил Дзидзю и сам тоже закурил. Крепкие, французские, других не имел.

— Я позвонила. Ответила жена. Я повесила трубку.

Лишь кивнул, что я мог еще сказать?

Мы курили молча, затем потушили сигареты.

— Штайфер хочет нашу машину. Трудно отказать ему. Уверяет, что по всей Венгрии раскиданы лагеря для интернированных, и он их должен объехать. Мы вернемся поездом, сегодня вечером в Варшаву идет специальный немецкий состав, меня должны впустить.

— Я не еду, Константин.

— Прости?..

— Останусь здесь.

— Как это?

— На время, не навсегда. Неделю, может, чуть дольше.

— Но как ты вернешься? У тебя только польские документы.

— Через зеленую границу.

— Зима близко.

— Справлюсь. Знаю горы, хожу на лыжах. Я вернусь, не бойся.

Должна вернуться...

Я встал, налил себе холодного кофе.

— Не должна. Можешь остаться здесь или пробраться во Францию или в Лондон.

— Я знаю. Но...

— Да-да, Инженер. Родина. Служба, — съязвил дурно, излишне, тем не менее съязвил.

— Нет. Ты.

Я застыл с чашкой на полпути ко рту.

— Что?

— Хочу тебя... увидеть. Снова. Я должна остаться здесь на чуть-чуть, я думала, что останемся вместе, но выхода нет, ты должен вернуться, а я должна остаться. Я знаю, что война, родина, разведка, конспирация, но...

— Не объясняй, я понимаю. У меня есть жена, Дзидзя, — сказал я тихо, очень тихо.

Пожала плечами.

— А я не ищу мужа.

Я лишь кивнул головой и не знаю сам: кивнул, что понимаю, кивнул, что услышал, или кивнул, что согласен?

— Я договорился о встрече со Штайфером в том твоём кафе. Это далеко?

— Нет. Пойдем пешком, погода прекрасная.

— Пойду оденусь.

— Мне говорили, что ты морфинист.

— Кто?

— Люди.

— Определенно.

— Не определено. Я знаю морфинистов. Ты не принимал морфий дня четыре как минимум. Морфинист дрожал бы осинкой, выказывая чудеса предприимчивости, лишь бы разжиться хоть крупицей.

Я развел руками. В смысле: не знаю, морфинист ли я. Или, скорее: ну, раз люди так говорят? Или: думай как хочешь, какая разница.

И пошел в свою спальню.

Вывязывая галстук, я смотрел на себя в зеркало.

Я.

Я Константин Виллеман или я являюсь Константином Виллеманом? Я Константин Виллеман значит, что Константин Виллеман полностью исчерпывает мое бытие, а являюсь Константином Виллеманом значит, что это роль, которую играет мое “я”, имеющее равно такие области или аспекты, которые не являются Константином Виллеманом.

Я застегнул жилет, надел пиджак. Еще раз посмотрел на себя в зеркало. Мне пора к парикмахеру, я давно не был у парикмахера. В последний раз я стригся еще в мундире, перед капитуляцией, почти месяц назад. Надо постричься. Схожу здесь, в Будапеште, в настоящую парикмахерскую в настоящем городе, не хочу стричься в Варшаве, в прошлый раз, когда я стригся в Варшаве, она еще жила, она еще сопротивлялась, а в проигранной, изнасилованной Варшаве я не хочу стричься.

Гляжу в зеркало. Я Константин Виллеман, не морфинист. Я Константин Виллеман, моя мать не управляет мной. Я Константин Виллеман, мой отец или дух его, призрак, что нависал над моим детством и юностью, не управляет мной. Я поправляю узел галстука, чутка подтягиваю его вверх, чтобы красиво держался, расправляю складку. Я Константин Виллеман, ни одна женщина мной не управляет. Я Константин Виллеман, не нахожусь ни у кого на службе. Я Константин Виллеман, я не служу Польше, я не служу Германии, я не служу ни Богу, ни дьяволу, я не служу никому. Я Константин Виллеман, я не солдат, я не офицер, я Константин Виллеман. Я не добрый. Я не злой. Я Константин Виллеман.

Я выхожу к Дзидзе, мы выходим из отеля, двадцать пятое октября, но тепло, так что плащ висит на моей левой руке, на мне твидо-

вый костюм, коричневая федора набекрень, правую руку я подал Дзидзе, в кармане у меня пистолет, а в другом деньги, мы выходим из отеля Геллерт и прогулочным шагом проходим по мосту Франца Иосифа, октябрьское солнце светит, а я счастлив и спокоен. Я хотел бы сегодня поужинать на улице, набросив на колени одеяло, потягивать вино и есть жирную утку, глядя на Дунай.

Я счастлив. Я живу.

С моста сворачиваем налево, Veres Pálné utca и гуляем по Пешту, мимо проехал уже второй автомобиль с польскими номерами, проходят люди, разные, богатые и бедные, а магазины и кафе открыты, и мы идем, красиво одеты, рука об руку, а люди смотрят на нас и думают про себя: что ж за породистая, ладная пара, этот стройный, высокий мужчина в коричневой федоре и эта изящная женщина в шляпке, так идут под руку, не как супруги, но как люди, которые друг другу близки.

Доходим до улицы Ираньи, и на углу кафе, в которое мы шли, и мы располагаемся в нем, и внутри просторно и традиционно, совсем не так, как в Земянской, высокие потолки и art nouveau, и блестящий зеркальный бар и галерея с более укромными столиками, и все, что должно быть в кафе, газеты на деревянных вешалках.

Итак, мы располагаемся, прямо у застекленной витрины, улица течет сразу перед нами, а Штайфера еще нет, так что располагаемся и спрашиваем по-немецки: капуцинер, яичницу, хлеб, белое вино, воду, кладем салфетки на колени и едим, попиваем кофе и вино, не говорим ни о чем, нет войны, нет разбитых сердец, нет несбыточной любви, нет убитых людей, нет убитых городов, нет осиротелых детей, нет маленьких цыганят, чьи лица пожраны болезнью, нет моего отца, чье лицо и мужество пожраны войной, нет моей матери, безумной и одинокой, нет людей напуганных, отчаявшихся, нет людей злых и нет тех, что еще хуже, людей добрых.

Есть только мы, Дзидзя и я, женщина и мужчина, мы не спали друг с другом, хотя могли бы друг с другом спать, мы едим яичницу с перцем, луком и ломтиками салами, зажевываем белым хлебом и запиваем кофе, капуцинер оставляет на губах усы молочной пены, мы утираем губы и пьем белый вельтлинер, пока легкий утренний рауш не зашумит в головах, мы улыбаемся друг другу и мы вместе, хотя скоро расстанемся.

Все съедено, поэтому мы закуриваем, заказываем еще вина и сидим друг против друга, и нам хорошо, нам попросту хорошо, я счастлив и спокоен.

Я Константин Виллеман.

А затем входит полковник Штайфер в светлом тренче поверх богатого двубортного костюма и садится к нам за столик, постукивая сигаретой по портсигару, заказывает вино, и мы курим и пьем вместе, обмениваясь лишь краткими замечаниями о погоде, она очень прекрасна, и солнце озаряет наш столик сквозь кристальные окна кафе. Сижу, курю и пью, и лишь через некоторое время понимаю, что Штайфер уже давно твердит:

— ...ибо, как я уже сказал, целое консульство гнет, очевидно, свое, отправляя их во Францию и куда надо и стараясь обеспечить некие условия, чтобы там, но мы не об этом.

— А о чем? — рассеянно спросил я, но Штайфер не слушал, потому как вежливое, но насмешливое замечание Дзидзи принял за искренний интерес, возможно, даже к самому себе, а не к тому лишь, что намеревался поведать.

— Итак, не это мы имеем в виду, конечно, важно то, что делает Эмисарский, и очень хорошо, что он делает, а сейчас в министерстве гонведов Дембинский, и он тоже старый и. и к. офицер, считается, что в силу той старой истории боевой поладит с гонведами, но я тоже старый и. и к. офицер, он старше, ясно, но я его оттуда без проблем вышибу, ведь то, что я был поручиком, а он майором, это одно, а то, что я с Бартой дружен, совсем другое, и немцам он крепко не по вкусу, а я с Бартой мило устрою, что на место его заступлю, хотя они, тупицы, даже не знают, что я уже в Будапеште, и не ради служить им, ведь они теперь радикально жаждут крови, со всем Сикорским и прочими, так что дадим им гнуть свое, а я стану гнуть свое, им меня и пальцем не тронуть, ибо, конечно, Рыдз такой, какой есть, но другого нет, придется ставить на него. И на немцев.

— Что пан имеет в виду? — спросила Дзидзя. Мне на миг показалось, что вопрос был задан голосом Терезы Лубеньской, вопрос, предполагавший, что в случае ненадлежащего ответа будет произнесено страшное слово “предательство”. Но понял тотчас: Дзидзя таким образом не спрашивала бы.

— Дорогая пани. Это же логично. С ними нужно поладить. Пани думает, французы за нас двинут на Берлин? Никуда не двинут. А в Польше чему-то надо возникнуть, новой формации какой-то. Не может быть великая черная дыра. Тридцать миллионов поляков не превратить же запросто в немцев или даже в граждан Рейха. Не те времена. С этим нужно как-то жить. Какая-то Польша должна быть. Или хотя бы какое-то Княжество Варшавское.

— Сто двадцать лет было ни Польши, ни Княжества, — замечаю скучно.

— Но что однажды возникло, так запросто не исчезнет. Что-то тут приключилось за последние двадцать лет, не кажется ли пану?

— Кажется. Но знаю также, что приключилось за последние два месяца.

— Хорошо. В любом случае это такие стратегические соображения, они важны, но в данном моменте не суть важнейшие. Верно?

Я согласился и снова перестал слушать. Курил. Даже отвернулся к витрине, глядя на улицу, на пешеходов, на машины и на велосипедистов. Штайфер продолжал, но я не слушал. Он меня утомил. Дзидзя пнула меня под столом.

— Ну, словом, тут полный регламент нашей курьерской связи, — говорит Штайфер, протягивая мне кусок мыла для бритья марки Trüeffit & Hill, моя, кстати, любимая марка, но это не кажется мне причиной, по которой он вручает мне упомянутое мыло.

— Я написал этот доклад и сфотографировал его на микрофильм.

— Я так понимаю, что Инженер будет знать, что с этим сделать, так? — спрашиваю.

— Пан вообще слушал меня? — вдруг вскипает он.

— Разумеется, полковник.

— Будет знать. Это, как я уже говорил, регламент полной коммуникации. Маршруты курьеров, расписания переходов, контактные пункты и пункты распределения в Кракове, Жилине и на Подгалье, в Новом Тарге, Балигроде и Саноке, радикально независимы от тех маршрутов и курьеров, что в ведении сикорчиков, поскольку независимость эта даже тут для нас важнее надежности, верно?

— Верно, — поддакнул я с большим убеждением, понятия не имея зачем.

— Остается вопрос денег, но, кажется мне, это в ведении Инженера.

— Обязательно, — заверила Штайфера Дзидзя.

— Кроме того, я убежден, что пан, пан Константин, так и так устроит основной трансферт средств, людей и информации между штаб-квартирой в Варшаве и Будапештом, верно? В принципе, все то, что мне тут удалось за эти несколько дней на основе довоенной сети еще, в свете положения пана приобретает, мне кажется, кондицию, скажем, запасного, резервного сообщения, если мы друг друга понимаем.

— Естественно, полковник, — сказал я, снова глядя в окно. Естественно.

— А знает пан, как нас именуют в Париже?

— Как?

— Нетопыри! — он взревел и начал смеяться, очень громко, а я даже не очень знал, кого он имеет в виду под “нами”. Но без разницы. Если хотят, то буду кататься. Будапешт город яркий, свободный, я могу скататься в Будапешт, ведь не рехнусь же я от того, что они называют службой. Я Константин Виллеман, если хотят, то могу кататься, отчего нет.

— Мне понадобятся ключи и все бумаги на машину. Я все равно постараюсь его тут зарегистрировать, чтобы не бросаться в глаза, но без польских бумаг будет сложнее.

— Пани Рохаевич остается в Будапеште, — отвечаю я. — Передаст пану все. У меня в багажнике пулемет, пусть пан делает с ним, что пану угодно, в поезд я его брать, пожалуй, не стану.

Штайферу, однако, не до пулемета моего отца. Он пригладил усы, перегнулся через стол, прикусил на мгновение губу.

— Ох, стало быть пан Константин один возвращается в Варшаву, один... А пани остается здесь, так?.. Одна, радикально одна?.. — сказал наполовину нам, наполовину себе, занятый задумчивым изучением обоев на стене.

Мой взгляд и Дзидзин сошлись над столом, и ее едва заметная мимолетная улыбка, еле тронувшая уголки рта, устроила меня в

качестве успокоения, объяснения, унижения Штайфера, к которому я, впрочем, не питал отвращения, устроила во всех качествах.

И дошло: увидимся в Варшаве, и приключится между нами что-то, характер чего мне пока не известен, но несомненный эротический магнетизм будет иметь значение, не повседневный, однако ж, роман, подобный тем, что я заваживал раньше, ведь я тоже уже иной человек, радикально иной человек. Итак, приключится; а я вернусь к Гелене, которая меня вовсе не любит, но нет в этом ничего плохого, не любить меня, потому как я не дал ей поводов любить меня, я вернусь к Юрчику и, может быть, когда-нибудь сумею стать ему отцом.

А после вернется Дзидзя, и что-то приключится и ничего не приключится, значит, я могу спокойно бросить ее с полковником Штайфером, с его черными, а может, черными усами, ведь я бросаю его на верное унижение и верную неудачу, я возвращаюсь в Варшаву вождем победоносной битвы, которому не стоит уже ни преследовать врага, ни добивать.

Я кладу мыло для бритвы Trueffit & Hill в карман плаща. Плаща, ведь в пиджаке оно нарушит силуэт костюма. Потому в плащ.

Штайфер посидел еще недолго, смотрел то на Дзидзю, то на меня, не уверенный в ситуации. Как же прекрасен мой триумф.

Ибо, конечно же, он был кем-то несравненно большим, нежели я. Крепче, лучше, мудрее. Частью, но очень малой, оттого, что был он старше, как старый лев превосходит молодого, но только частью, меньше некуда, ибо прежде всего превзошел меня в том, что сделал, достиг: полковник, кадровый офицер настоящей разведки, а некогда еще офицер и. и к., Барта и все остальное, рядом с таким мужчиной кем я был, кто я есть?

Я Константин Виллеман, и это нечто, но по-прежнему маловато, чтобы померяться силами с таким полковником Штайфером.

Я не был никем рядом с ним. С кем-то, кто есть никто, Штайфер не сидел бы ни за столом, ни в бане, я был кем-то, но кем-то меньшим, ибо он полковник Штайфер и может многое, к примеру, требовать мою машину, а я подпоручик запаса Виллеман и могу с этим требованием лишь покорно соглашаться, больше ничего не могу.

Ничего страшного, ничего жуткого, отнюдь не бездна унижения. Ничего ранившего. Почти не случается, сидя с кем-то за столиком, сидеть полностью на равных. Случается меж друзьями, и только близких, да и то редко. Так что ничего страшного.

Я Константин Виллеман и только, не более. В иерархии стада я далеко отстою от полковника Мариана Штайфера.

Тем слаще мой малый триумф над ним, здесь и сейчас, за этим столиком, где сидит он и Дзидзя, и я, и он об этом триумфе не знает, мы же знаем, моя малая тайная победа.

Но я вижу, что он чувствует, что-то не в порядке. Нечто неадекватное тому, что, согласно невидимой матрице межличностного бытия, быть должно.

— Засим позволю себе попрощаться, — выкидывает Штайфер белый флаг.

Засим прощаемся. Встали. Мы жмем друг другу руки. Дзидзе, само собой, Штайфер руку целует. До свидания, непременно, до свидания, увидимся еще много раз, не правда ли?

— Ах, само собой: паньство мои гости, — очухивается он на прощание, набрасывает тренч на плечи, у стойки закрывает счет и, кланяясь еще раз, уходит.

А мы с Дзидзей улыбаемся друг другу, не нужно слов, не нужно объяснений, ведь все и так ясно.

— Сюда я с ним не приходила, — говорит Дзидзя. — Сюда я приходила на него посмотреть. Иногда он меня даже не замечал. Сидел здесь со своими друзьями, кое-кого я вижу даже, там, за тобой, но не оглядывайся сейчас, кто-нибудь может узнать меня, тогда поймут, что мы говорим о них, после посмотришь. И так, сидел здесь, сиживал со своими друзьями, они пили, спорили, ругались, и он не запрещал мне приходить сюда и смотреть на него, когда меня замечал, то, бывало, лишь раз поприветствует меня, подняв стакан, и все, никогда не подходил, не заговаривал, обычно я уходила первой, но когда уходили его друзья, то не оставался, а уходил с ними, небрежно кланяясь мне от дверей. Я думала, он будет здесь сегодня. Всегда приходил в это время. Но его нет.

Я заказал еще вина, предложил Дзидзе сигарету, мы закурили.

Я знал, я знал сейчас, я знал сейчас уже, я знал хорошо очень, что не ради того, чтоб вызвать у меня ревность, говорит это, и не ревновал вовсе, не ревновал ни капли, этот ее венгр принадлежал другому миру, миру без меня; я был отдельным миром.

— Пойдем пройдемся, — предложил я.

Потому как чем еще заняться? Шпионский долг был исполнен в момент передачи Штайфером инструкций, запаянных в мыло для бритвы. Поезд отправлялся вечером. Я взглянул на часы: четыре пополудни. В самый раз для прогулки, чтобы после поужинать, вернуться в гостиницу и собраться на вокзал.

Мы вышли. Дзидзя вела меня, а я позволял себя вести, и так, по Пешту к базилике Св. Стефана, потом на метро под улицей Андраши до Hitler Adolf tér, то есть площади А. Гитлера, очень, надо сказать, красивой, где мы видели четырех польских офицеров, трое из них были абсолютно пьяны и очень веселы, а один был серьезен и печален, поэтому мы ничего не говорили по-польски, ведь наша прогулка принадлежала другому миру, наша прогулка была просто прогулкой по просто городу, а не бегством после катастрофы. Здесь мы были, как был бы всякий европеец из любого города Европы, от Риги до Палермо, мы даже решили в случае чего представляться венцами, дабы не висело над нами жуткое, черное бесчестье поражения.

С площади Гитлера мы прошагали на площадь Героев, которые, высясь и зеленея благородной патиной, взяли в тесный всадничий круг архангела (как объяснила Дзидзя) Гавриила на стеле — то был

Арпад с его вождями, а вокруг широким полукругом встали пешие герои, герои мадьярской истории, от св. Стефана до Франца Иосифа.

А я знал, что не принадлежу к этому миру героев, конных и пеших, хотя и сражался верхом. Они служили: по меньшей мере то, что от них оставалось в коллективной памяти венгров, служило: роду, племени, королю, отчизне, когда те уже изобрели себе отчизну. Я не служу. Я Константин Виллеман, что значит ровно, что я Константин Виллеман. Ничего более. Нет во мне ни малейшего “почему я” или “зачем я”. Я как роза: роза цветет, ибо цветет, без “зачем”. Я Константин Виллеман, ибо я Константин Виллеман, это определяет меня целиком и целиком описывает. В мире этом я присутствую единственно ради того, чтобы присутствовать. Выполняя задания Инженера, никому не служу, ни ему, ни Польше, ни организации; мое бытие служит моему бытию.

Мы вернулись на метро да самой площади Вёрёшмарти и продолжали идти пешком по набережной, сначала под руку, а после обнявшись, миновали Цепной мост и дошли аж до острова Маргит, где в остатках октябрьского солнца уселись на скамью.

— Хочу с тобой целоваться, — сказала Дзидзя, и я поцеловал ее, плюя на гневные мины двух матрон, чьи платья наверняка были сшиты еще при Франце Иосифе.

Я поцеловал Дзидзю, и было это вне “зачем” и “в целях”, я целовал Дзидзю, чтобы ее целовать.

А потом встали со скамьи и из закругления пешеходной дорожки вышли прямо к ресторации с террасой, откуда открывался вид на Дунай и мосты над Дунаем, и не было в ней ни одного польского офицера, что мы сочли за преимущество, ибо не хотели, чтобы нам напоминали о мимолетности этого вечера и о моем неизбежном возвращении в утонувшую в себе изнасилованную Варшаву, к ее холодным сырým жилищам, к первому снегу, окнам, заклеенным крестами, угасшим фонарям и мостовым, искореженным так, будто улицы внезапно взволновались, всколыхнулись.

Варшава была далека, так далека, словно ее вообще не было. Мы попросили пледы и меню, укрыли колени, сделали заказы и начали пировать. Мы оба ели одно и то же, так казалось нам более интимно и правильно.

На аперитив палинка, для разгону крем из липтовской брынзы с черным хлебом: такой с мелко нарубленным луком, с анчоусами, каперсами, тмином и каплей пива. Затем густой, насыщенный рыбный суп с пшеничной булкой, и быстро осушили с ним десять деци олашрислинга, который, поучала меня Дзидзя, не имел отношения к чахлomu эльзасцу, известному под схожим названием, мы пили это вино из массивных стаканов зеленого стекла, потом ели отварное мясо по-венски, прекрасный толстый тафельшпиц с хреном и зеленой фасолью, и пили с ним красный сентлёринц из Эгера, а после мяса, как водится, рыба, судак с решетки с печеным картофелем и кислой капустой, и напоследок ломтик цитроненвуршта и эгерский кекфранкош, литровый графин, а после заказали кофе, крепкий кофе и по куску торта Захер, затем еще по сливовой палинке

для пищеварения и курили французские крепкие сигареты, и пресыщенные, согретье алкоголем и застольем, мы не чувствовали холода, что напоминал о предстоящем даже здесь ноябре.

Город перекроил нас, наново сотворил из нас людей, мы ели и пили, были взаимно женщиной и мужчиной, куда-то испарилась та ирония Дзидзи, за которой она пряталась, ей больше не нужно было прятаться предо мной, мы наново были людьми.

Чуть ниже Дунай гнул свое, то есть тек лениво в Черное море, время приближалось к концу всех времен, а мы, пьяные, но не слишком крепко, лениво приближались к смерти, я закрыл счет в размере двенадцати пенгё и тридцати филлеров, оставил щедрые чаевые — округлил до двадцати, попросил кельнера вызвать такси, им оказался роскошный бьюик, и по будайской стороне мы двинулись в направлении отеля.

— Когда ты вернешься в Варшаву? — спросил я, еще в машине.

— Не знаю. Но вернусь, — сказала она с неколебимой уверенностью.

Будто знала, сколько еще отделяет ее от жуткой, но дарующей облегчение смерти в сербском лесу. Будто знала, что успеет вернуться, прежде чем умрет. Но, Костичек, она не знала, разве что чуяла что-то где-то чуть пониже сознания. Но ты уже глух, любовь моя.

Я брошу тебя скоро.

Дзидзя сидела подле меня, мы держались за руки, и я думал о ней, глядя на освещенные мосты Маргит, Эржебет и Ференца Йожефа, и знал: я влюбляюсь в нее, прямо сейчас, прямо сейчас постепенно, минуту за минутой я влюбляюсь в Дзидзю, Константин Виллеман влюбляется в Дзидзю, а Дзидзя влюбляется в Константина Виллемана, у которого есть жена и сын, но это неважно.

Еще я думал о том, пойдём ли мы сейчас, прежде чем я уеду, в постель, и счел, что лучше не идти. Наверное, если судьба даст шанс, это приключится между нами поздно или рано, уже наверняка, это как-то взросло между нами за последние несколько дней, стало, прежде чем мы заметили это, но куда рано. Это было бы наспех, а мы ведь не хотели бы наспех, нам, быть может, дано будет сблизиться один только раз? Кроме того, мы слишком много съели и слишком много выпили, и, без сомнения, ни Дзидзя, ни я не были в настроении, нас предостерегали от близости набитые животы и интенсивно работающие желудки и кишечники. Довольно и того, что мы держались за руки.

Когда мы вернулись в отель, я просто собрал свой чемодан и переоделся в мундир. Дзидзя ждала в гостиной, она читала. Я вновь посмотрел на себя в зеркало. Я видел моего отца, видел Бальдура фон Штрахвица в себе, но это был я, а он во мне, но все-таки я, Константин Виллеман. В немецком мундире. Я застегнул ремень с кобурой и пристегнул портупею. Вышел в гостиную, уже в шинели, с чемоданом в руке.

Положила книгу, встала, подошла ко мне, поцеловала в щеку, потом в губы.

— До свидания, Константин. Оставь сообщение у Лубеньской, как тебя искать. До свидания в Варшаве.

— Да. До свидания, Дзидзя.

Я погладил ее по волосам, вышел и сразу вернулся.

— Оставлю тебе денег.

Сунул ей пачку долларов, оставив себе сотню. Она кивнула, улыбнулась. Я вышел навсегда. Такси уже ждало. Поехали на Келети, мост Франца Иосифа, проспект Ракоци и прямо, прямо. Я заплатил и вышел, искать на вокзале специальный состав на Варшаву. Спросил встречного путейца — поезд ждал на втором перроне. Вагоны закрыты, у первого, считая от локомотива, стоял немецкий жандарм в свите из двух равнодушных венгерских когутов со штыками на карабинчиках, а перед ним короткая очередь офицеров в немецкой форме. Я скромно встал в конец хвоста. Вензель GFP у меня на погонах возбуждал плохо скрываемый интерес среди офицеров, стоявших передо мной, но они быстро вернулись к жандармам и к предъявлению документов, между которыми я заметил некий повторяющийся образчик, какого у меня, естественно, не было. Без сомнений, разило от меня алкоголем, что офицера могло скорее дисквалифицировать, но только не глину, что лишь притворяется солдатом, не армейского гестаповца, которым я был, а, скорее, чей мундир я носил, а был им мой отец, глинам все позволено.

Иногда я больше понимаю и знаю больше, чем, казалось бы, обязан знать с учетом того, что узнать бы мог. Словно бы, надевая мундир своего отца, я внезапно проникся его понятием позиции и ситуации функционера, словно обрел подсознательное понимание, кем именно творит меня этот мундир в глазах офицеров и солдат, а ведь сам по себе я не могу этого понять, нужно долго отражаться в глазах других, чтобы в самом деле понять это.

Вместо того чтобы предъявить какие-либо бумаги, я предъявил диск GFP, жандарм спросил только:

— Nach Wien, Prag oder Warschau, Herr Kommissar?¹

Я ответил, что в Варшаву, тот отсалютовал, извинился перед парой офицеров, уже успевших встать в очередь позади меня, что вряд ли вызвало прилив их симпатии ко мне, и отвел меня вглубь поезда, в пульмановский вагон, который определенно шел до Варшавы, показал мне спальное купе с одной кроватью, отсалютовал и ушел.

Я не хотел раздеваться, пока не тронется состав, Бог знает отчего, но не хотел, так что я сел на кровать, даже не сняв шинели, и ждал, потягивая коньяк, и поезд наконец двинулся, двинулся на север, а я снял несколько слоев габардина, снял рубашку и в одном белье зарылся в свежие накрахмаленные немецкие простыни и одеяла. Я подумал, что ведь мог бы делать покупки, что мог бы привезти столько вещей, которых недостает сейчас в Варшаве, самых простых, а я ничего не купил, а потом подумал, что это хорошо, что ни-

1. В Вену, в Прагу или в Варшаву, господин комиссар? (Нем.)

чего не купил, что не хлопотал, что не усердствовал, что не надрылся. Благодаря этому я жил. А раз жил, то и живу.

— Я Константин Виллеман, — вышептал под одеяло. Пьяный, я заснул прежде, чем за окном угадали огни Будапешта. Я видел сны.

Я видел рыцарей с черными кабаньими головами при огромных клыках, с перьями страуса, растущими из этих голов, видел, как они бьются против позеленелого от патины Арпада, прорывающегося со своими вождями во главе через Верецкий перевал. Под лбами вепрей таились изуродованные лица.

Я видел, как из леса за ними наблюдают женщины, голубящие детей, среди них Геля с Юрчиком, Ига и Саломея, голубящие чернокудрых детишек, мне незнакомых.

Я проснулся, когда поезд встал. Глянув в окно, заметил надпись: Братислава. Рывки и стуки свидетельствовали о том, что здесь расцепляют состав. Я дернул коньяка, крепко.

Через четверть часа мы тронулись, я плотно зашторил окно и уснул наново, только на этот раз без снов, я спал как убитый, и впрямь недалек был от смерти, когда вот так вот спал, настолько обеспамятев, словно будучи мертвым.

Тонущего в черни, голубила тебя в объятьях, любимый мой, но скоро я брошу тебя.

Глава XIV

Проснувшись, я взглянул на часы. Стрелки слабо тлели в темноте, сообщая однако, что уже почти десять. Отрясая с себя сон, я не понимал, в чем дело, но потом вспомнил.

Когда в Братиславе я лег спать, то закрыл окно плотной шторкой. Я встал. Поезд шел, не слишком быстро, но шел, я открыл окно и увидел за ним ненавистную мазовецкую равнину.

Через какое-то время я даже сообразил, где нахожусь: недавно проехали Жирардув, теперь мы где-то на уровне Тучной Писи. Скоро будет Гродзиск, затем Брвинув, Юзефув, Италия и — Варшава.

А я по-прежнему ощущаю — теперь горько-кислый, мерзкий — вкус будапештской палинки, ощущаю жизнь.

Так что продолжаю жить.

Туалет, наспех: порошок, щетка, зубы. Крем, мыло (только не ошибись), помазок, жиллет, ополоснуть, бальзам. Под мышками вымыть. Рубаху свежую. Минуту размышляю я о том, не выйти ли мне в мундире, и решаю, что да, так лучше, увереннее, мундир таки. Когда я затыгиваю на шинели ремень с кобурой, поезд минует Италию.

Складываю мелочи в чемодан. На месте ли мыло Штайффера, проверяю. На месте.

Не знаю еще, что стану делать сегодня. Не знаю, что станет дальше с моей жизнью. Не знаю, что вообще стану делать. Не знаю, кто я, за исключением того, что я Константин Виллеман, а это значит ровно то, что я это я, и понадобилась целая жизнь, чтобы понять

это, это перечеркнуло мои старые страхи и хотения, не отменяя и не сводя на нет мои поступки и мои внутренние тревоги, из которых складывалась моя прежняя жизнь.

А пока что схожу на Центральном. Жандарм отдает честь, я отвечаю тем же. К счастью, военные этикетки схожи, и на базовом уровне в целом одни и те же.

Вокзал лежит в руинах; чудо, что им тут вообще удастся принимать поезда. Выхожу на Иерусалимские, прямо на отель Центрум.

Варшава.

Иерусалимские здесь не так чтобы особо пострадали, и война не так бросалась бы в глаза, когда бы не полное отсутствие такси.

Окна заклеены крест-накрест. Записки. Белецкий Юзеф ищет брата Анджея, без вести пропавшего 23 IX с. г.

Варшава и моросит.

Я двинулся налево, возле Полонии стояли одинокие дрожки, так что я сел и без малейших раздумий, к немалому своему удивлению, ведь ехать я собирался на Спасителя, к Лубеньской, просто сказал, даже не притворяясь немцем:

— На Добрую, пятьдесят два.

Я забился под крышу дрожек, затаился под козырьком фуражки, зажался в стоячий ворот шинели, но таился я не от стыда или страха, что кто-то увидит меня в немецком мундире. Я знал, в общем-то, что все, на чье мнение мне не было плевать, уже не первый день держат меня за предателя и ренегата. Такие слухи расходятся даже быстрее новостей о чьей-либо преждевременной кончине.

Я забивался и таился не затем, чтобы Варшава меня не видела, я таился, чтобы не видеть Варшавы. Я думал о Гелене, о том, что наш брак был фарсом и пустым местом, интенсивно думал о Дзидзе, ибо колосился во мне этот дикий, дурной настрой, от которого пора продавать таблетки в табачных лавках наравне с аспирином.

Я заплатил пять долларов, у меня не было банкнот мельче, чем эта с Линкольном, а было это настолько много, что гужеед хотел даже отсыпать немцу сдачи, я махнул рукой, усач буркнул “данке”, словно отхаркался, и уехал, и я подумал, что мог бы пристрелить его, вот только совершенно не имел охоты. Однако мог бы, коли до войны мог, максимум риска три года не шло, то и после войны бы мог. Но охоты нет.

Я взошел по лестнице, знакомой лестнице, но всходя по ней уже как некто иной, не тот, что обычно всходил сюда, так часто цеплявшийся за гнилые перила.

Я встал перед знакомой, доброй дверью. Полсекунды поколебался, затем нажал на ручку — дверь была открыта, хотя и заперта на цепочку. Я подергал: держит.

— Was ist da los, zum Teufel!¹ — крикнул из квартиры мужской голос, и я услышал тотчас шаги, и вдруг вблизи увидел лицо, мне уже

1. Что тут происходит, черт возьми! (Нем.)

известное, лицо немца с водянистыми глазами, я видел его у Саломеи две недели назад, когда впервые встретил Тумановича, а теперь он как раз у Саломеи, именно он.

И когда он видит меня в униформе, он первые несколько секунд удивляется этому, потом удивляется еще больше, поскольку узнает меня, а потом я показываю ему диск Geheime Feldpolizei, а он при виде диска млеет, теряет сознание и падает на пол.

За ним возникает Саломея.

Моя Саломея. Неделю не видел ее, а совсем другая. Не знаю, моя ли она или только выглядящая моей, но совсем другая.

Она замечает меня через дверь, открытую на ширину ладони.

— Боже, ты что ему сделал?

— Ничего. Сомлел. Наверное, от страха.

Саломея сбрасывает цепочку, выпускает меня внутрь. И мерит всего меня, а точнее, мой мундир, глазами.

— Это что вообще?.. — спрашивает, показывая на меня.

— Маскарад, — говорю ей правду.

Правду? Разве мундир моего отца маскараден? Разве я актер в маске комиссара Geheime Feldpolizei Бальдура фон Штрахвица? Шпоры на его кавалерийских сапогах кого маскируют?

— Это мундир моего отца. Он мне его дал, — разъясняю дальше, без надобности пусть, но по какой-то причине разъясняю.

— Что мне теперь с ним делать? — высказывает претензию Саломея, словно это я виноват в том, что ее хахаль грохнулся в обморок.

— Почему он испугался меня? Потому что увидел, что на мне форма тайной полевой полиции?

Саломея вдруг вглядывается в меня пристальнее.

— Тайной полевой полиции?.. А шта эта?

— Армейское гестапо.

— Твой папаша армейский гестаповец и дал тебе свою форму?

— Был, во всяком случае.

— Ага. Но ясно тогда, чего этот испугался.

— Но почему?..

— Потому что он яврей. Пошел в армию, чтобы не пойти в лагерь. А как увидел, что здесь полиция, то подумал, что за ним.

Я взглянул на него. Я видел больше, чем в тот, в первый раз. В тот раз я видел лишь немца с водянистыми глазами, а теперь, когда на мне мундир моего отца, я вижу глазами своего отца: Leutnant. Пехота.

— Приведи его в чувство, пусть проваливает и больше сюда не возвращается.

— Как мне его привести, как? — заламывает руки Саломея.

Иду, стало быть, на кухню, беру жестяную кружку, набираю в нее холодной воды, возвращаюсь и выхлестываю пану лейтенанту в лицо.

Очухивается тотчас, глядит на меня этими глазами, мне тогда показалось, что они бледны, велики, теплы, влажны и полны угро-

зы, он тогда глядел на меня, будто давая понять, что для него не проблема убить меня, вблизи, сразу. Так мне тогда казалось.

А теперь смотрят на меня всё те же большие водянистые бледно-голубые глаза, как серна смотрит в черные очи двустволки Геринга. Страшится, теперь страшится он страхом безнадежным, лишенным надежды.

— Verschwinde, — говорю я. — Und komm nie wieder¹.

А он собирается без слова, встает, собирает быстро вещи, шинель, пояс с кобурой, шапку и был таков из квартиры, без слова. Фьють. И духу здесь не было. Я остаюсь один с Саломеей.

Снимаю фуражку, плащ, сажусь за кухонный стол.

— Морфий у меня есть, — говорит она, садясь напротив.

— Это хорошо.

— Чего ты хочешь, Костя? Кто ты?

— Я ничего не хочу. Я Константин Виллеман.

— Чаю хочешь?

— Сделай.

Она сняла чугунную конфорку, поставила чайник на плиту, подбросила в печь два полена потолще и села обратно за стол, напротив меня.

Я смотрел на нее. Казалась мне прекрасной, как никогда прежде, хоть и в домашнем платье под теплым свитером, без грима, волосы собраны в тугой пучок на затылке.

Я никогда не задавал ей никаких вопросов. Никогда не спрашивал, откуда она, кто она такая, зачем живет здесь.

— Ты тоже еврейка, Сая?

— Наполовину, — ответила она, не колеблясь ни секунды. — Родилась в Одессе. Мать русская, батько яврей, они убежали из Одессы, как я пяти была, за недолго большевики пришедши, они убежали во Львов, и там мы жили.

— А в Варшаве откуда?..

— А забеременела я. Батюшка, как сбежал из Одессы, то крестился и очень верный был православный. А как я забеременела, то он меня с дому погнал. Я, мол, блядь, а бляди он терпеть не станет. Правый был, что я блядь.

Я смотрел на нее, не решаясь задать вопрос. Она поняла сама.

— Не вычистила. Курва я, но крови невинной на руках нет. В еврейском приюте она. В Люблине, на Гродской. Там ей неплохо.

Она встала, кинула взгляд под крышку чайника, подбросила два полена в огонь.

— Я хотела потом забрать, сама вырастить, не дали. Письма пишу. Но наверняка они ей не читают. У нас в доме мы говорили только по-руску, батько хотел быть русский, не яврей, ждал толь-

1. Убирайся отсюда... И не вздумай вернуться! (Нем.)

ко, что царь вернется. В церковь все время ходил. А царь не вернулся.

— Саля, ведь ты, когда хочешь, говоришь абсолютно чисто польски.

— Прямо как ты, Костя. Когда ты хочешь, абсолютно чисто польски гаваришь. А я ни хачу. Хочу мешать польский с руским, потому знаю тогда, кто я. Я Саля Зильберман, и, как мешаю польский с руским, то знаю, кто я. Панимаешь?

— Понимаю. Кипит.

Она встала, залила в чайничке заварку, поставила на стол разом с чашками.

— Морфия хочешь?

— Хочу, но позже.

— А полюбиться не хочешь? И кокаин тоже есть.

— Сейчас я хочу выпить чая.

— Уже наливаю. Руска я. Пусть и Зильберман. Ты тоже паляк; пусть и Виллеман. Но какая из меня жидовка, Костя? Пизды наизнанку не имею.

— Не имеешь. Сахару дай.

Дала. Я сделал три глотка. Чай нехорош, зато сладок и горяч.

— Каждый живет как может, Костя.

— Верно. Я останусь у тебя на ночь.

— Останься, Костя, останься. Полюбимся. Только у меня есть нечего.

— Денег дам. Сходишь купить?

— Схожу.

Чай согревает меня и успокаивает.

— Я так себе думаю, что евреям теперь нелегко придется, правда, Костя?

— Не знаю.

— Но я ничего. Я не еврейка. Пизды наизнанку не имею. А дочка моя — отец поляк. Офицер, как ты, только не улан, а летчик. Поэтому она наполовину полька, на четверть русская и всего на четверть еврейка. Лишь фамилия у нее моя, нехорошая фамилия, своей он не дал. Да ведь детей-то немцы не станут преследовать, верно, Костя? Верно?

— Верно.

— Да. Хорошо ей там, в этом в Люблине, на Гродской. Хорошо, что я ее не крестила, крещеную они бы не приняли. Потому что это еврейский приют. Лучше ей там, нежели со мной было бы. Вот как денег скоплю, так поеду, проведу. Может, помнит еще.

Я вижу ее впервые. Впервые вижу Салю Зильберман. Это не Саломя.

— Ступай уже за едой.

— Я пойду в Халю Мировскую, она поближе, а Керцеляк как есть разбит, никто не торгует почти.

— У меня одни доллары.

— Доллар хорошо, лучше, чем золотый. Давай.

Я дал.

— Хлеб по золотый семьдесят за кило, где это видано. Фунт масла семь золотых.

Я дал еще пять. Она надела пальто и шляпку и пошла.

Я остался один.

А она пошла, Костичек, в холодную Варшаву, шла по Обозной, по Траугутта и по Кредитной, кутаясь в шерстяной платок. У мелкого газетчика купила “Новый курьер” и на первой полосе вычитала, что на двадцать восьмое октября, то есть на послезавтра, объявлена перепись еврейского населения в городе, и решила, что не запишется, ведь еврейка-то она по отцу, а это не в счет. Только эта фамилия, чертова эта фамилия, ну что бы ей не зваться, к примеру, Зелиньской.

А вокруг, среди прохожих, кружили вестники смерти. Было их немного, в карманах они несли выписанные симпатическими чернилами бумаги, в головах планы, в портфелях, рискуя быть расстрелянными, несли пистолет, назначенный чьей-то руке, однако не той, что несет его сейчас.

Я заварил еще чаю, сидел за столом, долго сидел. Не думая ни о чем, попросту сидел, в самом деле не думая ни о чем, попросту был. Долго.

Затем я вспомнил о папке, в которую Саломея складывала мои рисунки. Я вынул ее, открыл, вывалил наброски на пол.

Я не умею рисовать. Рисовальщик из меня никакой. У меня нет и крупицы таланта. С большим трудом я освоил технические законы, как показать перспективу, точки схода, как выстроить скелет, окружить формами, наложить цвет и текстуру.

Зад Саломеи. На следующем грудь растеклась, потому что она легла на спину, ноги раздвинуты, вульва. Это не она. Зад. Талия. Спина. Вымя. Брюхо. Складки, если она сидит, наклонившись вперед, лицо скрыто под волосами. Тело ее, но это не она.

Я собрал все свои халтуры, беспардонно их комкая, отнес на кухню и начал одну за другой впихивать в огонь. Без спешки.

Саля вернулась. Вошла в кухню.

— Хлеба взяла, картошки, масла полфунта, колбасы хорошей, водки, шоколада и свежую курицу, постную, правда, и овощей немного. Сварю куриный бульон и мясо будет, на ужин сварю. Всё на вес золота. Ты рисунки сжигаешь. Жаль.

— Не шедевры.

— Нет. Но я обожала, чтобы ты меня рисовал.

— Я плохо рисую.

— Неважно. Но коли хочешь сжечь, то сожги.

Я сжег все. Сидел за столом, Саля дала мне водки в стакане, хлеба с колбасой, и я выпил, закусил и смотрел, как она суетится, потрошит курицу и кипятит воду для бульона.

Когда все уже было готово, накрытая кастрюля тихо фыркала на медленном огне, Саля спросила:

- Полюбимся теперь? Дашь мне еще денег?
- Я и без полюбиться дал бы.
- Я тебя всегда обожала, Костя, и полюбиться с тобой обожаю.

А морфия хочешь?

- Давай.

И дала. Мы легли, Сала набрала в златогардый шприц раствор из бутылочки без особых примет, затянула жгут на моем предплечье, охлопала вену, ввела.

Я почувствовал знакомое тепло, но словно бы издали. Словно раствор был чересчур разбавлен, слабая тень недавних, но уже чуждых ощущений.

Саломея раздевала меня мягко, как раздевают ребенка. Куртку я повесил сам, так что теперь она какое-то время боролась с кавалерийскими сапогами, пока не сняла, после расстегнула мне брюки и рубашку, мягко совлекая их с меня, после развернула некий пакетик, видимо, кокаин, и, втянув его ноздрями, разделась сама, я видел ее тело: полные бедра и живот, очень красивые и тяжелые груди, все белое, как молоко или как смерть.

После она целовала меня долго, хотя поначалу я не мог отвечать поставленной задаче, но затем, когда я уже медленно отплывал в бессознательное, тело внезапно повело себя как должно, так что мы коротко полюбились, я был лишь частично в сознании, а после я заснул, а после она разбудила меня новыми поцелуями.

- Я обожаю тебя и хер твой обожаю, Константин.

- Ты не обязана лгать.

— Я не лгу. Нравишься мне. Ты сейчас какой-то другой; прежде я тоже обожала, ты был как дикое, раненое животное. Мятущееся. А сейчас уже нет, и сейчас ты нравишься мне еще больше. Дашь мне еще денег?

- Да. Давай съедим эту курицу.

И мы ели курицу, сваренную в бульоне, дверь была закрыта, в квартире Сали было тепло, сыро и затхло, на стенах, как обычно, цвела плесень, а потом мы вместе легли спать и я спал с ней, мне недоставало сна под одной периной с теплым, нежным женским телом, а утром я проснулся раньше нее и хотел улизнуть молчком.

На кухне я надел гражданский костюм, с намерением, впрочем, остаться Бальдуrom фон Штрахвицем, и именно эти документы и магический диск я сунул в карман, вложил за пояс зауэр, засунув мундир, экипировку и армейские сапоги в чемодан.

Деньги для Сали, для Сали Зильберман. Кладу на стол тридцать долларов.

Когда я был уже в дверях, Саля в одеяле вышла ко мне, нагая под этим одеялом.

- Ты больше не вернешься ко мне, Костя, верно?
- Не вернусь.
- Денег мне оставил?
- На столе. Береги себя, Саломея.

— Да. Пойду еще посплю немного.

— Ладно.

Я вышел. Было рано, солнце едва взошло и было холодно, а я не хотел идти домой, я не хотел идти в дом из шоколада, ибо боялся привидений.

Я пошел в сторону Старого города, но свернул на Карову, откос Вислы, лесенка, я поднялся, запыхавшись немного.

Над городом серые тучи, но снег, по крайней мере, не падает. Не знаю, что дальше, но впервые в жизни мне это вовсе не мешает, поскольку я вдруг знаю, не знаю уж откуда, но знаю, что достаточно отпустить вожжи, чтобы колеса крутились.

На здании Польского Общества Гигиены два подростка расклеивали желтые извещения. Один держал полотно, другой водил по нему макловицей, прижали к стене и следующее, они как раз клеили третье, а я подошел к первому.

Создание Генерал-губернаторства на занятых территориях Польши объявляет некий Ганс Франк. Штайфер не ошибся; что-то здесь будет. Вопрос в том, чем оно окажется.

Я пошел дальше, по Краковскому, по Трембацкой, до самой Фредро. Все больше и больше мостовых прихорашивается, причесывается, дороги прямеют, а город по-прежнему тонет в грязи. На Фредро трое старых жидов в халатах раскапывали могилу.

— Что вы, люди, делаете? — спросил я, недоумеваю.

— Назначили повсеместную эксгумацию, копаем там, где велят.

Яма была уже глубока, я заглянул внутрь. Виднелось тело, женское тело — в платье. Его окапывали лопатами. Платье грязное, но на нем различались дробные белые цветочки. Розочки. Всегда любил летние платья в розочках.

— Бросьте вы эти лопаты, вытаскивайте уже, — приказал я.

Они смотрели на меня враждебно.

— Если пан такой умный, то сам ее пан и вытаскивай, — гавкнул один.

— Nicht frech werden, Jude. Du sprichst zu einem Deutschen¹, — пролаял я.

Зачем я это сделал? Я сделал это без “зачем”. Я сделал это, ибо не хотел, чтобы они штыками лопат вредили уже убитому телу, а не хотел я этого, ибо я не хотел.

Они поглядели друг на друга и на меня, больше страха, чем вражды. Отложили лопаты, руками начали откапывать труп, откопали до конца и вытащили наружу. Запахло.

Я приказал еще накрыть его, и, прежде чем они накрыли, взгляделся: труп как труп, ничего интересного. Платье в розочках. Возраста не определишь, тело измазано в земле. Жид накрыл труп брезентом.

1. Не наглей, еврей. Ты с немцем говоришь (нем.).

Караульный перед Немецким Клубом меня узнал, бумаги Виллемана выгребать не пришлось, а здесь я все ж таки опасался рекомендоваться Бальдуром.

Вхожу. Иду к ней в офис, люди обтекают меня, а я никого не обтекаю, я никого не вижу. Вхожу без стука. Я знал, что она уже будет у себя, и она уже у себя, в мундире, волосы собраны, за столиком рядом секретарша в мундире стучит на машинке, а моя мать поднимает взгляд над документом, взъяренная тем, что кто-то вошел, не спрашиваясь, но ярость тут же исчезает при виде меня.

— Константин! — радуется она и, не прерывая ликования, рычит секретарше: — *Hau ab, Hilda. Aber sofort!*¹

Секретарша уносится как метеор, даже лица ее я не заметил, взгляд вбит в пол или вообще куда-нибудь еще.

— Доброе утро, мама, — говорю я.

— Доброе утро, Константин. Садись.

Я сажусь в кресло для клиентов, но отнюдь не как клиент.

— Выпьешь чаю, Константин? — спрашивает.

А я уже понимаю. Вижу в ее глазах все. Всю меру своего самообольщения вижу.

— Я не хочу чаю.

— Хорошо-хорошо. Как ты, сынок? Я звонила тебе на Мадалиньского, никто не взял трубку.

— Я был в Будапеште, — отвечаю машинально.

Она смотрит на меня пронзительно, что это значит: смотреть пронзительно? Вовсе не пронзительно она смотрит; пристально смотрит, но взгляд ее не пронзает меня, сейчас я понимаю. Когда-то мне казалось, что она может видеть меня насквозь, что и внутренности мои она видит, сейчас я понимаю: это не так. Я стал другим.

Стал ли я кем-то другим?

Я изменился. Дзидзя меня изменила.

В самом деле?

Не знаю. Но, по крайней мере, вижу я четче.

Я же вот вижу ее сейчас: бедная безумная старуха, всю жизнь которой составляет ее единственный сын. Я. Константин Виллеман. Безумная старуха острого ума, что видит и понимает, как моя жизнь течет и уплывает скверной, понимает, что ничего из моей жизни не следует, и знает, что это ее вина. Не моя, ее. Она дала мне все, а это слишком. Все, что имел и имею — получил. Покой, благополучие, даже жену от нее получил, если вдуматься. Только курвы, водка, наркотики, дебоши, только это было мое, только этого я добился сам. Ведь не были моими ни Грудзёндз, ни моя полковая официя, уланы, каэмы, трассирующие пули, все это дала мне она, без нее кем бы я был?

А она без меня — кем?

1. Проваливай, Хильда! Только живо! (Нем.)

Оттого глядит на меня и убивается, просто, как мать. Зачем в Будапеште? Почему в Будапеште? Неужто в самом деле в Будапеште?

И зачем она надела этот мундир, теперь я, дурак, понимаю. Само собой. Трудно мне это принять, ибо уже понимаю.

— В Будапеште был? Почему? — спрашивает наконец.

— Ах, по делам. По разным. Пойду, пожалуй.

— Постой, Константин, ты ничего не говоришь, что с тобой...

Но я встаю. Но я отвращаюсь. Дурень. Дурень. Всю жизнь, тридцать лет, дурень.

— Посиди еще, Константин! Не нужно ли чего?

Хотела бы дать мне денег. Но я уже открыл дверь.

— До свидания, мама, — говорю я.

— Постой! — Она даже вскакивает из-за стола.

Но я ухожу. Почти выбегаю, несмотря на чемодан. Бегу, чемодан лупит меня по ногам, дурень, дурной дурень.

Куда я бегу? К Лурсу? Нет. Лурс есть ложь. Дыхания в легких нет больше, люди глядят странно, парень с чемоданом бежит, а ведь не на вокзал, не на поезд, так что темп я сбавляю, иду, но иду как заведенный и даже всплакнул немного, все ложь, дурной дурень, дурной, вся жизнь ложь. Вербная ложь. Сенаторская ложь.

Я Константин Виллеман ложь. Люблю автомобили ложь. Не люблю лошадей ложь.

Улица Подвале ложь. Ступеньки ложь. Двери ложь. Стучу ложь. Дышу ложь.

Геля приоткрыла дверь. У них уже новая цепочка.

— Зайди, отца нет, — без затей говорит она, открывая. Я вхожу. Не знаю, что сказать, ничего не говорю.

Только:

— Юрек?..

Геля зовет:

— Юрчик!

И он выходит. Испуганный.

— Юрчик, поздоровайся с папочкой.

— Доброе утро, папочка.

— Доброе утро, Юрчик.

Ложь.

Подбегаю к нему, а он пятится, я ничего не привез ему из Будапешта, даже куска шоколада не привез, ничего.

Он пятится, но я обхватываю его руками, голублю, Юрек, Юрчик мой, как мог я тебя бросить, оставить, забыть, не быть с тобой, не защищать тебя, не кормить, не делать тебя ради, малого такого, мир чуть уступчивее, ведь ты вовсе не маленький иной меньший я, а кто-то совершенно другой.

— Пусти, папочка, пусти, — кричит Юрчик.

Отпускаю. Он убегает в комнату.

— Ты не можешь вот так сюда приходиться, — говорит Геля.

— Я люблю тебя, Гелена, — отвечаю, повернувшись к ней.

— Ты лучше не шути этим, Костек, не шути. Ступай домой.
— Я не могу так. Не вынесу этого фарса, этого притворства, я хочу быть с тобой и с Юрчиком.

Ложь.

— Все ближе к правде, чем если бы мы не притворялись, Константин.

Встаю. Юрчик играет с грузовиком, ездит им по ковру.

Какова эта Гелена, я не ведаю, ведь я так ее и не узнал, ничего о ней не ведаю, была ли она мне интересна когда-либо, могу ли я еще исправить это, могу ли я еще исправить что-либо?

— Могу ли я еще исправить это, Гелена? Могу ли я еще исправить что-либо?

— Сейчас ты должен идти, отца хватит удар, если он тебя тут увидит. Иди уже, Константин, иди. Я позвоню тебе на квартиру, встретимся где-нибудь в парке, поиграешь с Юрчиком. А сейчас иди. Ступай домой, откуда бы ты ни возник с этим чемоданом.

— Дам тебе денег, — лепечу я, выуживая из кармана последнюю пятидесятку, чужую.

— Мне не надо.

— Возьми, для Юрчика.

— Ему тоже не надо. Забирай свои доллары и иди уже, Константин.

— Пойду, если возьмешь.

— Ладно.

Взяла. Довела меня до дверей. Я вышел на лестничную клетку, она осталась внутри, накинула цепочку и глядела на меня сквозь приоткрытую дверь, а я ждал, что же скажет.

— Ига опять пропала, — прошептала спустя мгновение.

— Как это: пропала?

— Из-за тебя.

— Геля...

Она лишь пожала плечами и закрыла дверь.

Я пошел.

Домой. Я долго искал дрожки, чтобы не идти пешком, нашел дрожки только на Замковой площади. Возле замка клубилось множество немцев.

Поехали, гужеед поставил кибитку, я затаился, забился, закрыл глаза, лишь бы не смотреть на Варшаву, лишь бы не видеть ничего, всё ложь.

Мы ехали долго, мы ехали целый век, круглая сторбленная спина, круглая шапка гужееда, заплатка на пальто, унылая ветвь кнута, вонь лошажья, не люблю лошадей.

Э. Ведель. Шоколад.

Расплачиваюсь. Анечем. Прошу гужееда подождать, бегу в квартиру, в квартиру к себе по лестнице, ключи ключи где ключи нет ключей, Инженер оставался, когда мы вышли, но ведь я брал ключи, есть. В чемодане. Одежда по коридору разбросана.

Отпираю, бросаю чемодан, он открывается и вываливаются из него вещи, мундир, сапоги, но это неважно. Смотрю в окно, гужеед ждет.

На кресле в гостиной сидит Яцек и спит. Храпит. На коленях он держит пистолет. Рядом водочная бутылка. Я ищу денег, Яцеком займусь позже, дам ему поспать, сейчас мне нужно заплатить гужееду, так что ищу деньги.

— Не шевелись!

Проснулся. Не вставая, вытягивает руку с пистолетом в мою сторону.

— Яцек. Мне нужно за дрожки заплатить. Я скоро вернусь, вот только за дрожки заплачу. Понимаешь?

— Не двигайся, — говорит он и встает.

— Яцек, ты выгляни в окно. Извозчик там ждет, пока я не спущусь и не заплачу ему, я потерял кошелек и должен был ему заплатить, а нечем было. Есть у тебя десять злотых?

Зачем лгу?

Он смотрит в окно. Он пьян, его рука дрожит, я мог бы прыгнуть на него и выбить оружие из его пальцев, я мог бы достать свой пистолет и застрелить его, застрелить Яцека, мой пистолет пистолет отца моего я бы смог.

Не смог бы.

Его рука дрожит.

— Яцек. Это не так было с Игой, как тебе кажется. Яцек. В самом деле, — говорю, пытаюсь говорить тоном мирной переговоров, пытаюсь. — Спущусь, заплачу, вернусь к тебе, поговорим.

— Сядь, — отвечает он, и что-то в его голосе велит мне сесть.

Он идет запереть дверь.

— Яцек, он явится сюда ко мне, за деньгами. Он будет здесь, понимаешь? Стыд-то какой. Мне нужно спуститься и заплатить ему.

Он натывается на мои вещи, на мундир мой мундир отца, мундир немецкий. Он изучает мундир. Долго, пистолет опущен, на меня и не взглянет, на мундир таращится.

Я смог бы. Но нет.

Он запирает дверь.

Обратно к креслу. Садится.

— Второй день жду.

— Откуда у тебя ключ?

— Сам мне дал когда-то, не помнишь? Ты был моим другом, заказал для меня ключ и дал на всякий случай, не помнишь?

— Ну да, было что-то такое. — Я помню или не помню?

— Она ушла. Из-за тебя.

— Яцек, я с ней не спал. Я не спал с ней, понимаешь? Мы уже разстрелялись по дурости, по моей дурости, может, хватит?

— Что ты за дурень, Константин, — бормочет Яцек. — Что за дурень, что за дурень. А она в одном платье ушла. Из-за тебя. В твоём любимом, рыбий хуй, в твоём.

— Не целься в меня, Яцек, пожалуйста. Я дурень, но ты в меня не целься. Я с ней не спал.

— Без разницы, Костек. Тебе вынесен приговор. Вырок смерти. За измену. Немчура ты.

— Нужно пойти заплатить гужееду, Яцек.

— Вырок смерти тебе, Константин, не понимаешь?

— Кто его вынес?

— Служба Победе Польши.

— Польша побеждена.

— Из-за такой болтовни именно. Как ты мог меня предать?

— Дрожки ждут, мне нужно заплатить, Яцек.

Левой рукой он тянется к водке, в бутылке что-то есть еще, зубами он вытаскивает пробку, делает большой глоток.

— Как ты мог так меня предать? Мундир этот...

— Это моего отца, — пытаюсь я перебить его, но он не слушает. За поясом у меня пистолет. Моего отца. Смог бы я?

— Этот мундир, всё. А я тебя так защищал, Константин. От них всех. Держал их за дураков, за примитивных филистеров, когда они так говорили. Защищал тебя, всегда.

— Я знаю. Яцек, мне нужно идти заплатить извозчику. Человек там ждет, сколько он может ждать?..

— Заткнись, Костек. Вырок тебе есть. Вынесен. Как мог ты прийти к Пешковскому с немцами, как ты мог, немчура? Как ты мог мою Игу?..

Я молчу. Раз уж он велел мне заткнуться, то помолчу.

— Вырок тебе вынесен, понимаешь? Приговор. Служба Победе Польши. Первый вырок. Полевой суд. Самый первый вырок. И я вызвался, понимаешь? Они сказали, что я не справлюсь, а я вызвался.

— Ты пьян, — отвечаю я, хотя мне полагалось молчать.

— Ты по целой жизни пьяным прошел, Константин. Как ты мог меня предать?

— Это не так, Яцек. Я не могу много говорить об этом, я никогда об этой Службе Победе Польши не слышал, но я служу во всамделишной, понимаешь?.. Разведка. Я тебя должен завербовать, такой приказ имею.

Слушает, не слушает? На меня не смотрит. Закрыв глаза, заслоняет левой рукой, пистолет, ладонь с пистолетом на коленях. Я смог бы многое.

— Вернулся из Будапешта. В качестве курьера. Привез регламент курьерской связи, Дзидзя осталась, я был там с Дзидзей Рохачевич, оттого мундир, маскарад, понимаешь?

Не слушает.

— Мне нужно идти заплатить гужееду, Яцек. Сразу вернусь, и мы поговорим, ладно? Встаю.

— Как ты мог меня предать, Константин? Один я любил тебя, один я в самом деле любил тебя, а ты меня предал.

— Я же объясняю тебе...

Выстрелил. Жутким пестом в пузо. Я на полу. Яцек в слезах.

— Как ты мог, она была... Тебе приспичило взять ее себе, прихоть такая, да? Именно ее приспичило?

Потолок. Регламент курьерской связи Штайфера. Кто отнесет его на площадь Спасителя? Мне нужно заплатить извозчику. Кто заплатит? Он ждет. Горячо. Яцек садится подле меня, кладет мою голову к себе на колени.

Яцек гладит меня по волосам.

Я любила тебя, Константин, а теперь полюблю его, ибо мне нужно кого-то любить, так что стану любить его, опустошенного и исполненного отчаяния. Он станет кружить вокруг опунции, когда ты отправишься во второе царство смерти, а я стану кружить с ним.

— Зачем, Константин, зачем? — плачет Яцек.

Я молчу. Все еще дышу. Нет никакого “зачем”. Нет ничего затем, все только лишь есть. Лишь темная черная пульсирующая материя, скрытая под тонкой кожей этого мира, и лишь снаружи, наверху, ищут ответа на вопрос “зачем”.

Нет ничего затем.

Мне нужно заплатить извозчику.

BOOK INSTITUTE



© POLAND

Публикация выходит при поддержке программы перевода © POLAND

АБДУЛРАЗАК ГУРНА



Нобелевская премия
2021 года

[213]

ИЛ 12/2021

Провожатый

Рассказ

Перевод с английского Анастасии Бородачевой

ДУМАЮ, он видел, что я приближаюсь, но не подал виду. Я остановился у открытой задней двери и ждал, пока он поднимет глаза. Он сложил газету и выскользнул из машины, бросив на меня взгляд, полный неприязни. Я замер, по телу пробежала дрожь. Возможно, в его взгляде была не неприязнь, а всего лишь раздражение или усталость, или горькое разочарование в жизни. Но больше это походило на неприязнь. Он слегка вскинул подбородок, словно предлагал перейти к делу. Когда я назвал гостиницу, он кивнул – плевое дело! – будто ожидал услышать название места, несуществующего на карте. Я сел рядом с ним. Я не хотел дразнить зверя, но не смог придумать ничего лучше – надеялся, что так он сможет рассмотреть меня и поймет, что я не заслуживаю неприязни.

Зеленое сиденье было неровным и жестким, обивка потрескалась от старости, на спинке образовались жесткие складки – когда мы повернули, выезжая с парковки, я ощутил дискомфорт даже через рубашку. На приборной панели отсутствовали прикуриватель, радио и бардачок – вместо них торчали спутанные провода. Помимо этого,

Abdulrazak Gurnah (1996) 'Escort', Wasafiri, 11:23, 44-48, DOI: 10.1080/02690059608589487; <https://doi.org/10.1080/02690059608589487>.
Permission by Taylor & Francis, Rightslink®

© АНАСТАСИЯ БОРОДАЧЕВА. Перевод, 2021

повсюду валялись клочки бумаги, сушилась старая, посеревшая от пыли тряпка.

Когда мы встали в пробку, он взглянул на портфель, лежащий у меня на коленях, поднял глаза и посмотрел на меня; я притворился, что не заметил.

— Откуда ты? — спросил он, стараясь не быть резким, однако я уловил в его голосе нотки негодования и раздражения. Он задал вопрос так, будто был уверен, что имеет право его задать и что я это право признаю. *Unatoka wari?*¹ Мы снова тронулись, он откинулся на спинку сиденья и высунул локоть в открытое окно. Его тело было худым и напряженным, лицо будто застыло в ожидании пренебрежительного ответа — или же мне так показалось. Глядя на его мрачное и вместе с тем измученное лицо, я подумал, что в жизни этого человека было немало бед и что он нередко скрывает за жестокостью боль. Я почувствовал страх и досаду из-за своего любопытства, я хотел поскорее выйти из машины. Надо было бежать сразу, как поймал его озлобленный взгляд. Он снова взглянул на мой портфель, и я заметил издевательскую ухмылку, промелькнувшую на его лице, — кажется, он посчитал портфель предметом моей гордости. Я не думал, что эта вещица — простая дешевка с крепкой, потертой ручкой и хлипкой молнией — может привлечь столько внимания.

— Откуда? — спросил он, кивая на портфель.

— *Uingereza*², — сказал я. *Англия*. Я говорил тихо и рассеянно, давая понять, что не заинтересован в беседе.

— Студент? — спросил он и тихо фыркнул.

Он имел в виду, был ли я одним из тех, кто уехал в надежде добиться успеха и в конце концов вернулся с кучкой небылиц и дешевым портфелем. Был ли я одним из тех неудачников, жалких лакеев, которые рассказывали сказки об учебе и хитрых планах, ведущих напрямик к богатству и благоденствию? Он злобно ухмылялся в ожидании моего нескладного ответа. Мне показалось, что сейчас он начнет рассказывать о том, что ему пришлось остаться здесь с большим родственником и смотреть, как все бегут отсюда прочь, и это несмотря на большие надежды, которые учителя возлагали на него в юности. Я сказал, что преподаю, и он снова фыркнул, на этот раз громче. И это весь рассказ?

Был разгар дня, люди спешили по делам и время от времени перебежали дорогу, водители нехотя притормаживали. Таксист негодовал от этой дерзости и вдавливал клаксон всякий раз, когда машина останавливалась перед нами, пропуская очередного пешехода. Группка индийских школьников пробегала между машинами, задорно смеясь, чем навлекла на себя протяжный гудок, за которым последовал поток ругательств: “Чертовы собиратели дерьма! Какого хрена они делают?!” У почты движение стало еще хуже. Толпы людей

1. Откуда ты? (*Суахили*). (Здесь и далее — прим. перев.)

2. Великобритания (*суахили*).

шли по тротуару: пока одни мужчины в рубашках и галстуках торопились — дела-дела-дела, — другие не спеша прогуливались, останавливаясь взглянуть на дрянные безделушки уличных торговцев.

— Uingereza, — произнес он нараспев и повернул налево к домам, где находилась гостиница. — Uingereza, — повторил он, — страна роскоши.

— Вы там были? — спросил я и услышал в своем голосе нотки удивления и недоверия. Он? После долгой и успешной борьбы с этой развращающей и одурманивающей культурой случайно услышать об этом гнусном месте такое! Страна роскоши!

Таксист яростно вдавил клаксон, надеясь заставить убраться с дороги водовоза, который тащился перед нами. Он выкрикивал ругательства, размахивая руками, будто само существование водовоза глубоко оскорбляло его, и он готов был выскочить из машины, чтобы перевернуть телегу. Рабочие покупали обед в придорожных киосках и ждали воду, беспечно смеясь и махая таксисту. Тот вывернул руль, обгоняя телегу, и издал протяжный гудок.

— У тебя родственники в Англии? — Мне не верилось, что человек с таким дурным характером, едущий на этой жалкой машине, мог заработать хотя бы на ночь в ветхой гостинице с дрянным завтраком в так называемой стране роскоши.

— Я жил там когда-то, — сказал он, посмотрев на меня с ухмылкой. Мы уже свернули с главной дороги и проезжали мимо складов и товарных вагонов — гостиница была недалеко. Он сосредоточился на ухабистой дороге с похожими на раскрытую пасть выбоинами и высокой железнодорожной насыпью, протянувшейся вдоль нее. Он начал было говорить, но покачал головой, не желая портить рассказ, — дорога была слишком плоха. Что за безумие — строить гостиницу в такой глуши: повсюду заброшенные машины, запчасти, рабочий мусор. Вероятно, она появилась до того, как все в окрестностях превратилось в руины и дорога пришла в запустение.

— Была у меня малайка, одна из этих европейских шлюх. Это она меня туда привезла. Мы были во Франции и даже в Австралии. Да где мы только не были! Она платила за все. Люди думают, что все это ложь, нелепые мечты о богатых европейских шлюхах. Я и сам так думал, пока не встретил мою малайку. — Он остановился у отеля, включил нейтральную передачу, машина содрогнулась. — Слим. Так она звала меня, — сказал он, беря деньги с улыбкой на лице и затуманенным взглядом. — Меня зовут Салим. Я стою у почты. Приходи в любое время.

Я выбрал эту гостиницу случайно. Иммиграционный офицер объяснил, что не сможет выдать мне разрешение на въезд, если я не укажу адрес проживания. Он был приветлив. Увидев мое место рождения в паспорте, он улыбнулся и сказал, что в Занзибаре у него живут родственники. Он показал мне список гостиниц: «Выбирайте любую. Вам необязательно ее снимать. Простая формальность». Я и выбрал именно эту гостиницу, а когда нашел такси, ее название само пришло в голову. Ее изолированность и тишина в нерабочее время были мне даже

на руку — это отпугивало ненужных гостей, которые могли бы нагрянуть, остановись я в одном из блестящих дворцов с казино и бассейном в другой части города.

Поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда на следующий день позвонил портье и сказал, что меня ждуг внизу. Конечно, это был Салим. Мне не приходило в голову, что он может явиться, но теперь, когда он был здесь, я будто заранее знал, что так случится. Он был в шелковистой зеленой рубашке с короткими рукавами, с замысловатым узором из белых цветов и синих каное, из нагрудного кармана торчали солнцезащитные очки, джинсы были ему велики, и широкий ремень с пряжкой собирал крупные складки ткани на талии. Он настоял на том, чтобы купить мне выпивку, а заодно и бармену. Кроме нас в баре находилась только бельгийская супружеская пара — владельцы отеля — и их подруга. “Ces gens sont impossible”, — громко и раздраженно сказала стройная, ухоженная, богато одетая, самоуверенная дама лет сорока. Эти люди невыносимы. Салим посмотрел на европейцев так, будто понял смысл сказанного, но они не обратили на него внимания.

— Это мне малайка купила, — сказал Салим, нежно водя пальцами по блестящей рубашке и синим джинсам, осторожно собирая ткань в складки. На этот раз он мягко улыбался, и был не против, чтобы его историю услышал и бармен. — Хотите знать, как мы встретились? — Он подождал, пока мы кивнем. — Хорошо, тогда слушайте. Она стояла у отеля “Тумбили”, на северном побережье, знаете его? У входа, под деревом, будто кого-то ждала, хотя обычно они выходят только после того, как портье сообщит, что такси подано. Видели, во что одеты эти бабуины?! Их привозят с холмов и заставляют носить костюм с желтым нагрудником и черным галстуком-бабочкой, да еще и платить за него! Уж я-то знаю.

На бармене была белая рубашка с черной бабочкой, вокруг пояса повязан желтый фартук — вероятно, и ему пришлось заплатить за свой костюм, однако он старался не выглядеть смущенным.

— В общем, — продолжил Салим, — она наверняка кого-то ждала, но я все равно решил заговорить. Она была немолода, но и не старая. Я предложил ей экскурсию по стандартной цене, обычная чепуха, и она недолго думая села в машину. Я возил ее целый день по Малинди, Вайтаму, Такаунгу и рассказывал все, что знаю об этих местах; когда она задавала сложные вопросы — сочинял. Вечером, по пути в отель, она сказала свернуть на берег, там все и случилось. На песке, у всех на виду, — как собаки! Это повторялось снова и снова, изо дня в день. Я заезжал утром, возил ее по разным местам, рассказывал небылицы, а когда темнело, сворачивал на пляж. Через несколько дней она предложила поехать с ней в Улау¹. Она все устроила. Билеты, паспорт. И все оплатила.

— Надо думать, ты был великолепен на пляже, — сказал я нехотя, лишь бы что-то сказать. Я не верил, что женщина так просто

1. Европа (*суахили*).

могла сесть к Салиму в машину, не испугавшись, да и не хотелось мне слушать байки о похотливой дамочке из Европы, истосковавшей по африканскому самцу. Бармен беззвучно рассмеялся. Салим с обидой посмотрел на меня, затем на него.

— Она звала меня Слим, — сказал он, после чего осушил стакан и подтолкнул его ко мне. — Не такие уж это большие деньги в их валюте. Вы же знаете. В любом случае денег у нее хватало.

Я заплатил за выпивку и услышал продолжение истории о его малайке. Ее брак распался, она забрала свою долю денег и решила путешествовать. Первым делом она отвезла Салима в Ливерпуль, где родилась и откуда ребенком переехала с родителями в Австралию. Было ли с ней сложно ему? Он пожал плечами. Она заботилась обо всем, везде брала его с собой, но эта сучка постоянно хотела секса, каждый день, по несколько раз! Нет, ему не было сложно. В Ливерпуле они пробыли несколько недель. У него появилась пара приятелей, живших неподалеку, оба мусульмане, один из Сомали, другой — с Маврикия. Они научили его, как получить пособие по безработице, и они зажили на всю катушку. В английском правительстве полно идиотов: Ливерпуль кишит черными, грязными ублюдками, которые делают что им вздумается, и эти идиоты дают им деньги! Между прочим, англичанки часто трогали его, гладили волосы, прижимались и покупали ему выпивку. Вскоре я попрощался и ушел. Я сказал, что мне нужно написать несколько писем.

Он вернулся на следующий день, вечером, снова в рубашке с замысловатым узором. Я попросил портье сказать, что меня нет, но тот по какой-то причине не выполнил мою просьбу. Я хотел перекинуться с ним парой слов, когда проходил мимо стойки, но дежурил другой молодой человек.

— Я купил ее в Австралии, — сказал Салим, водя кончиками пальцев по рубашке. — Мы пробыли несколько дней во Франции и поехали туда. Бетти. Так ее звали. Бетани — какое-то религиозное имя, но она просила звать ее Бетти. Пойдем завтра вечером в клуб? Ты ведь уезжаешь послезавтра? Славное место, в другой части Маженго, без туристического мусора. Да, съездим туда завтра. Знаешь, австралийские женщины постоянно хотят секса, их мужчины не способны такое выдержать. Малышки просто сходят с ума от нетерпения. Горячие штучки! Моя малайка не возражала, когда я с ними уходил.

И он продолжал подробно рассказывать, на что шли эти женщины ради встречи с ним, об их бесстыдстве и развязности.

— Почему ты вернулся? — спросил я, намереваясь положить конец всем этим рассказам.

— Приходит время, когда нужно выйти из игры, — сказал он надменно, — и вернуться к своему народу. Вдали от дома, в конце концов, превращаешься в клоуна.

Это был подходящий момент для прощания, но Салим хотел продолжения. Он схватил меня за запястье и крепко держал, зака-

зывая выпивку, разумеется, за мой счет. Бармен принес напитки и отступил, делая вид, что не замечает хватки Салима. Мы были последними посетителями. Как только напитки оказались перед нами, он усмехнулся и отпустил мою руку, оставив белый след на похолодевшем запястье. Я встал.

— А твоя выпивка? Хотя знаешь, не переживай, я разберусь. До завтра. Не забудь про клуб, — сказал он.

Весь следующий день я пытался не думать о предстоящей встрече. Как назло, мне нужно было записать интервью, которое я взял на прошлой неделе, — можно ли придумать занятие хуже перед грядущим визитом Салима? В этом деле не было ничего волнительного и занимательного, того, что могло бы отвлечь меня, — требовалось лишь пристальное внимание к событиям давно минувших дней. К вечеру я убедил себя, что так переживать просто глупо. Я приехал побольше узнать о Панду Касиме, малоизвестном поэте, который жил здесь на рубеже веков, — хотелось попробовать написать о нем книгу. Разумеется, ночной клуб в другой части Маженго не имел к моей работе никакого отношения, но я убедил себя, что это не причинит мне вреда, а может, даже пойдет на пользу. Мои поиски не увенчались успехом, и мне не удалось много узнать о Панду Касиме, но, возможно, друзья Салима в клубе мне смогут помочь. Я не хотел и не планировал смотреть подобные достопримечательности и был бы вполне доволен, не побывав в этих злых местах, но какой, в конце концов, вред это могло принести? Да, мне дурно от мыслей об этом месте, и я не хотел знакомиться с друзьями Салима, от которых, наверняка, как и от него самого, волосы встают дыбом... Но до моего возвращения в Англию оставалось меньше двух дней. Что могло случиться? Интервью придется подождать, а мне — провести утомительный вечер, слушая сказки о сексуальных победах над смехотворно легковверными женщинами. Пожалуй, это все же лучше, чем спровадить Салима и навлечь на себя его гнев.

Итак, я был готов к встрече с ним. В какой-то момент я даже стал думать, что он не придет: к его историям я относился с таким скепсисом, что он мог захотеть меня проучить. Однако когда я спустился, его машина уже стояла. Он мрачно взглянул на меня, пробормотал приветствие и тронулся. “Хуже не бывает”, — подумал я и задрожал от дурного предчувствия. Ну почему я просто не отказался ехать? Я задумчиво смотрел в окно, не обращая внимания на дорогу, которую хорошо знал. Однако через некоторое время я с удивлением обнаружил, что Салим свернул с трассы и ехал по незнакомой мне ухабистой, темной колее, вдоль которой теснились кусты. Свет фар разрезал крошечную тьму, мне было не по себе — мы будто двигались под землей. Вечер выдался приятный и свежий, но здесь было душно, пахло влажной землей. Салим посмотрел на меня, ухмыльнувшись. “Осталось недолго”, — сказал он и начал напевать. В ночи взвизгнула собака, кусты зашевелились. Салим, с трудом преодолев небольшую насыпь, выехал на поляну,

окруженную громадными, темными деревьями. В свете фар виднелись очертания нескольких домов, перед одним из них стояла машина. Салим припарковался рядом, и мы вышли.

Клуб оказался грязной комнатухой в обветшалом доме, плохо освещенной керосиновой лампой. Когда мы вошли, я увидел двоих мужчин, которые встали, приветствуя нас.

— Это наш гость из Uingereza, — сказал, хмыкнув, Салим.

На вид один из мужчин был ровесником Салима, и вид у него был такой же раздраженный. Другой был моложе и крупнее, взглянув на меня, он невольно улыбнулся. Его звали Маджид. Имени старшего я не расслышал. (Позже я узнал, что звали его Буда.) Еще до того, как мы сели за грубый, старый стол, Маджид громко потребовал пива. Из другой комнаты вышла женщина неопределенного возраста в обтягивающем, изношенном платье с черными пятнами под мышками, с платком на голове и выцветшей кангой¹ вокруг талии. Посыпались издевки, сопровождаемые натянутыми смешками. Успокоившись, мои лихие приятели сделали заказ, и женщина ушла готовить.

На столе стояли пустые бутылки из-под пива — вот они, трофеи истинных победителей! Маджид и второй, Буда, причмокивая, потягивали пенящееся пиво из больших бутылок, бокалов видно не было. Когда Салим говорил про клуб, я, конечно, представлял себе не темный дом в лесу, где люди собираются и пьют украдкой.

— Будет еще, — уверенно сказал Буда, кивая на бутылку. Его лицо искажала странная гримаса, нечто среднее между сдерживаемым раздражением и мрачной злобой, — та же, что и на лице Салима. Может, дело в алкоголе. Нужно быть дьявольски осторожным, когда пьешь в мусульманском городке, где скрыться невозможно и разоблачение неизбежно. Может, вина за совершаемый грех вызывала ожесточенное презрение к себе, или нищета, нехватка всего на свете побуждали их пить любую отраву и порождали эти мрачные, полные боли взгляды? Или неизбывная горечь заставляла этих мужчин пить, несмотря ни на что? Впрочем, откуда мне знать.

— А вы не утруждали себя вечерней молитвой? — проговорил Салим с мрачной иронией, кивая на пустые бутылки. Мужчины рассмеялись, нехотя улыбнулся и он, его лицо сморщилось так, будто он обжегся.

Буда был невысоким и тучным, даже толстым, но при этом выглядел сильным и крепким — казалось, полнота не связана с погоней за простыми удовольствиями. Он посмотрел на меня и игриво нахмурился, изображая из себя монстра.

— Расскажи нам новости из Uingereza. Там действительно поезда ходят под водой?

— Только послушайте этого дикаря! — воскликнул Салим. — Ты что, не слышал о подземке?

1. Канга — узорчатая ткань небольшого размера.

— Англичанин подумает, что все здесь так же невежественны, как и ты, — сказал Маджид без тени любезности в голосе.

Из дальней комнаты вышла девушка в рваной, грязной рубашке с двумя бутылками пива. Пустым взглядом она напряженно всматривалась во что-то внутри нас. Когда она наклонилась, ставя передо мной бутылку, сквозь протертую до дыр рубашку я увидел ее молодое, сильное тело. Вторую бутылку она поставила перед Салимом, который погладил ее пониже спины. Девушка вздрогнула.

— Азиза, наш друг из Улайя хочет тебя, — сказал Маджид со смехом, похожим на громкий лай.

Она посмотрела на меня с интересом и застыла в ожидании того, что будет дальше.

— Иди с ней, — сказал Салим со зловещей ухмылкой. Она снова вздрогнула.

Я посмотрел на девушку, на ее маленькое, заостренное личико и стройное молодое тело — она не была против. Я покачал головой, она опустила глаза. Маджид засмеялся и встал. Девушка повернулась и пошла в дальнюю комнату, разглаживая рубашку, Маджид за ней следом. Буда мягко улыбнулся и начал расспрашивать меня об Англии. На вопросы отвечал Салим, время от времени поглядывая на меня, и я кивал в подтверждение. В какой-то момент до меня донесся громкий голос откуда-то из глубины дома, затрепетал фитилек керосиновой лампы. Прошло немало времени, прежде чем вышел Маджид, на его лоснящемся, здоровом лице сияла улыбка.

— Как хочется пить! — воскликнул он, протягивая руку к бутылке. Он осушил остатки и поставил бутылку на стол с самодовольной улыбкой. — Теперь очередь англичанина!

Они позвали Азизу, она вскоре появилась: глаза пусты, как и прежде, уголки рта опущены. Я заказал им пива и сказал Салиму, что мне пора идти.

— А как же еда? — спросил Буда. — Мы ведь заказали много еды.

— Мне еще нужно поработать, — сказал я.

Девушка принесла пиво, Буда встал и, неслышно ступая, последовал за ней.

— Что за работа? — хмуро спросил Маджид. — Ты что, женщинами не интересуешься? Иди поработай там. С ним она точно не пойдет, — сказал он, кивая в сторону Салима. — Что ты с ней сделал?

Салим сделал большой глоток пива.

— Мы опаздываем на свадьбу, — сказал он, допив кружку. — Сами играйте в ваши грязные игры!

— Что ты с ней сделал, извращенец? — спросил Маджид, расплывшись в широкой улыбке.

Мы прибыли на свадьбу, когда процессия, состоящая из семьи и друзей, провожала жениха к дому невесты. Два барабанщика — толстые молодые люди, похожие друг на друга — играли с напряженными, отсутствующими лицами, не разделяя всеобщего веселья. Рядом с домом стояли арки из пальмовых листьев, на передней стене

горела разноцветная гирлянда. Изнутри доносилось пение женщин, которое превратилось в радостное улюлюканье, когда жених подошел к двери. Люди толпились вокруг, подбадривая жениха и выкрикивая непристойности, а когда его впустили внутрь, все разразилось громким смехом. Теперь глаза гостей тревожно блуждали в поисках еды, которую вот-вот должны были вынести.

— Невеста — родственница моей жены, — насмешливо фыркнул Салим.

Я даже не подумал, что у него есть жена.

— Ты был женат, когда уехал с Бетани? — спросил я по пути к гостинице. Мне понравилось это имя и поскорей хотелось его произнести.

— Да, — сказал он. Мы ехали по плохо освещенной дороге в сторону товарных вагонов, но даже при таком свете я различал враждебность и злобу на его лице. — Я женился на ней давным-давно.

— Ты вернулся из-за нее? — спросил я.

Он хихикнул. Машина с рычанием пробиралась по разбитой дороге, он заговорил.

— Она кое-что в конце подарила мне. Малайка. После того, как я уехал с ней, у меня пошла кровь. Она отправила меня к врачу, и он сказал, что это пустяки. Но она сказала, что так дело не пойдет. Не знаю, в чем дело, но всякий раз, когда я занимаюсь сексом с женщиной, у меня начинается кровотечение.

Мы ехали молча.

— Ты был у врача, когда вернулся? — спросил я, когда машина остановилась у отеля.

— Врач? Здесь нет врачей, — пробормотал он, глядя вдаль. Он повернулся ко мне с застенчивой, ласковой улыбкой. — Возьми меня с собой. Я схожу к врачу там. Возьми. Я сделаю все, что ты захочешь. — Он наклонился ко мне, в его глазах читалась мольба и боль.

Он приехал на следующий день, хотя я сказал, что доберусь до аэропорта сам. Он говорил с уже привычной мне злобой и высокомерием, насмехаясь над всем, что попадалось ему на глаза. Я настаивал, чтобы он высадил меня и уехал, но он припарковался и пошел меня провожать со свернутой газетой в руке.

— Сколько стоит такой портфель? Привези мне, когда приедешь в следующий раз. Или отправь по почте, я пришлю деньги. Хотя нужны ли тебе мои деньги в стране роскоши? Знаешь, ты ведь все равно скоро бросишь эти игры и вернешься домой. Все должны вернуться, или же рано или поздно они превратятся в посмешище на чужой земле.

Я пожал ему руку и отдал все местные деньги, что у меня были. Он с удивлением посмотрел на толстую пачку купюр.

— Надеюсь, ты поправишься.

— О чем ты? — сказал он с ухмылкой, убирая деньги в карман. — В следующий раз ты должен остаться.

Он развернулся, помахал рукой и ушел не оглядываясь.

Уильям Шекспир

Сонет XVIII

Переводы с английского

Составление и вступление АНДРЕЯ КОРЧЕВСКОГО

С момента публикации в 1609 году в формате кварто сонеты Шекспира заняли уникальное место во всей мировой поэзии — но русская культура оказалась к ним особенно восприимчива. Количество русских переводов полного собрания сонетов или избранных текстов множится в прогрессии: простой поиск в интернете приводит к практически неограниченному блужданию между вариантами. Вслед за Александром Сергеевичем, Уильям Иоаннович оказывается еще одним “нашим всем”. Причина притягательности Шекспира для русского переводчика, возможно, находится в плоскости поисков всемирного поэтического идеала. Но художественный дар Шекспира представляет особую переводческую проблему; как и в случае с переводами Пушкина, переложения эйвонского барда обесцениваются, если потеряна доминанта оригиналов: у Пушкина это стремительное, легкое дыхание русского стиха, у Шекспира — интеллектуальная насыщенность, сконцентрированность мысли.

Сонет XVIII весьма популярен, и в английских источниках он часто называется самым известным у Шекспира или, по крайней мере, входит в десятку наиболее значимых. Этот текст меняет не только посыл, но и тематику предыдущих семнадцати сонетов: взамен настойчивого призыва к тому, чтобы герой обрел вечную жизнь в потомстве, здесь возникает и утверждается идея первичности творчества, идея “нерукотворного памятника”, бессмертия в поэтическом тексте.

История русских переводов восемнадцатого сонета, по всей видимости, начинается с публикации Николая Гербеля в 1879 году, за которым следует целый ряд интереснейших имен. Любопытен, хотя и не безупречен, опубликованный в 1902 году перевод Сергея Ильина, поэта, актера и музыканта. Стоит обратить внимание на весьма качественную версию Модеста Чайковского (1914), в чьих поэтических талантах принято сомневаться после “Пиковой дамы” и “Иоланты”. Однако же версия Самуила Маршака (1948) не кажется существенным прорывом: и в конце девятнадцатого века, и в середине двадцатого проблемой русских переводов становится романтизация сонета, обращение напряженного, пульсирующего, метафорического стиха в серенаду под балконом. Определенный интерес представляет практически неизвестная работа с восемнадцатым сонетом Николая Гумилева (этот перевод относится к первым послереволюционным годам и мог быть обращен, по мнению А. Ламзиной, к Ларисе Рейснер)...

Какие задачи решают современные переводчики сонетов, присоединяясь к длинной цепочке предшественников? Все больше попыток передать шекспировскую усложненную метафорику: сонет XVIII, к примеру, пронизан снижающими, почти что юридическими, едва ли не бухгалтерскими терминами и мотивами — как “lease”, или “договор аренды”, что отсылает к мысли о скоротечности любви, красоты и самой жизни — в отличие от бессмертной поэзии. Переводчики чаще используют строгие “мужские” окончания строк (с ударением на последний слог каждой строки, как в шекспировском оригинале) вместо более привычного русскому слуху чередования мужских и женских рифм: следование ритмике оригинала помогает избежать искусственной напевности и ускорить темпоритм сонета. Обнадёживает, что позднейшие переводчики просто понимают текст лучше (Гумилев, например, явно ошибся в значении слова “complexion”, означаящем здесь отнюдь не сложность, а оттенок или цвет лица; с подобными ошибками к началу XXI века мы уже надеемся не столкнуться). Проблемой остается, однако, необходимость истолкования центральной темы сонета: Шекспир предлагает адресату бессмертие в поэтической строке, но не до конца ясен механизм действия подобной магии; утверждает ли поэт свое собственное величие, которое и обеспечит вечную жизнь и сонету, и персонажу? Одним из возможных истолкований является антитеза времени и вечности — похоже, что поэт обещает подарить возлюбленному или возлюбленной особенное, поэтическое время: стихотворение можно вообразить песочными или солнечными часами, не подчиняющимися обыденному ходу времен. Взамен стука часов возникает стихотворный ритм, подобный тому, какой выбивали юноши узорной чашей в брюсовском “Подражании Горацию”. Шекспировская машина времени — то неувядающее лето, в которое автор приглашает своих персонажей, читателей и переводчиков.

Shall I compare thee to a summer's day?
 Thou art more lovely and more temperate:
 Rough winds do shake the darling buds of May,
 And summer's lease hath all too short a date:
 Sometime too hot the eye of heaven shines,
 And often is his gold complexion dimm'd;
 And every fair from fair sometime declines,
 By chance or nature's changing course untrimm'd;
 But thy eternal summer shall not fade
 Nor lose possession of that fair thou owest;
 Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
 When in eternal lines to time thou growest:
 So long as men can breathe or eyes can see,
 So long lives this and this gives life to thee.

Как я сравню тебя с роскошным летним днем,
 Когда ты во сто раз прекрасней, друг прекрасный?
 То нежные листки срывает вихрь ненастный
 И лето за весной спешит своим путем;
 То солнце средь небес сияет слишком жарко,
 То облако ему туманит ясный зрак —
 И все, что вокруг манит, становится неярко

Иль по закону злой природы, или так —
 Случайно; но твое все ж не увянет лето
 И не утратит то, чему нельзя не быть,
 А смерть не скажет, что все в тень в одето,
 Когда в стихах моих ты вечно будешь жить.
 И так, пока дышать и видеть люди будут,
 Они, твердя мой гимн, тебя не позабудут.

Перевод Николая ГЕРБЕЛЯ (1879)

Я с летним днем сравнить тебя готов,
 Но он не столь безоблачен и кроток;
 Холодный ветер не шадит цветов,
 И жизни летней слишком срок короток:
 То солнце нас палящим зноем жжет,
 То лик его скрывается за тучей...
 Прекрасное, как чудный сон, пройдет,
 Коль повелит природа или случай.
 Но никогда не может умереть
 Твоей красы пленительное лето.
 Не может смерть твои черты стереть
 Из памяти забывчиваго света.
 Покуда кровь кипит в людских сердцах,
 Ты не умрешь в моих живых стихах.

Перевод СЕРГЕЯ ИЛЬИНА (1901)

Сравню ли я тебя с весенним днем?
 Нет, ты милее длительной красою:
 Злой вихрь играет нежным лепестком,
 Весна проходит краткой полосой.
 Светило дня то шлет чрезмерный зной,
 То вдруг скрывается за тучей мрачной...
 Нет красоты, что, строгой чередой
 Иль случаем, не стала бы невзрачной.
 Твоя ж весна не ведает теней,
 И вечный блеск ее не увядает.
 Нет, даже смерть бессильна перед ней!
 На все века твой образ просияет.
 Пока есть в людях чувства и мечты,
 Живет мой стих, а вместе с ним и ты!

Перевод Модеста ЧАЙКОВСКОГО (1914)

С веселым летним днем сравню ль тебя я?
 Его ты привлекательней, нежней.
 Суровый ветер губит почки мая,
 Отпущен краткий срок для летних дней:
 То слишком ярко глаз небес пылает,

То золотая сложность в нем молчит,
И чудо из чудес свой лик склоняет,
Изменной дней унижено, бежит,
Но вечное твое не минет лето,
Не потеряет власть своих красот,
Не скажет Смерть — тобой она согрета,
Коль в вечных строках образ твой живет.
Доколе вольно дышит грудь людская,
Живите, речи, жизнь тебе давая.

Перевод Николая Гумилева (1918–1921)

Сравню ли с летним днем твои черты?
Но ты милей, умеренней и краше.
Ломает буря майские цветы,
И так недолговечно лето наше!
То нам слепит глаза небесный глаз,
То светлый лик скрывает непогода.
Ласкает, нежит и терзает нас
Своей случайной прихотью природа.
А у тебя не убывает день,
Не увядает солнечное лето.
И смертная тебя не скроет тень —
Ты будешь вечно жить в строках поэта.
Среди живых ты будешь до тех пор,
Доколе дышит грудь и видит взор!

Перевод Самуила Маршака (1948)

Сравнит ли с летним днем тебя поэт?
Но ты милей, умереннее, кротче.
Уносит буря нежный майский цвет,
И лето долго нам служить не хочет.
То яркое чересчур небесный глаз,
То золото небес покрыто тучей,
И красоту уродует подчас
Течение природы или случай.
Но лета твоего нетленны дни,
Твоя краса не будет быстротечна,
Не скажет Смерть, что ты в ее тени, —
В моих стихах останешься навечно.
Жить будешь ими, а они тобой,
Доколе не померкнет глаз людской.

Перевод Александра Финкеля (1976)

Сравню ли я тебя с июльским днем?
Твоя природа мягче и нежней.
Уже цветы осыпались дождем,

Идет на убыль счастье летних дней.
Глаз неба, слишком жаркий иногда,
Теряет золотистый ореол,
Всему прекрасному грозит беда,
Природы беспощаден произвол.
Но нет конца у лета твоего,
И красоты не похищает рок.
Не угрожает смерти торжество
Тому, кто под защитой вечных строк.
Покуда мир дышать не устает,
Живет мой стих и жизнь тебе дает.

Перевод Игнатия Ивановского (2001)

На летний день не слишком ты похож:
в тебе и света больше, и добра.
От ветра дерева бросает в дрожь,
и скоротечна летняя пора.
То запыляет жарко небосвод,
то потускнеет золотой зрачок,
а то на убыль красота пойдёт
естественным путём или не в срок.
А над тобой не вянет благодать
весны и полновластной красоты.
Тебе под сенью Смерти не блуждать —
в строфе бессмертной возродишься ты.
Она жива — и ты среди живых,
пока не гаснет свет в глазах людских.

Перевод Юрия Лифшица (2006)

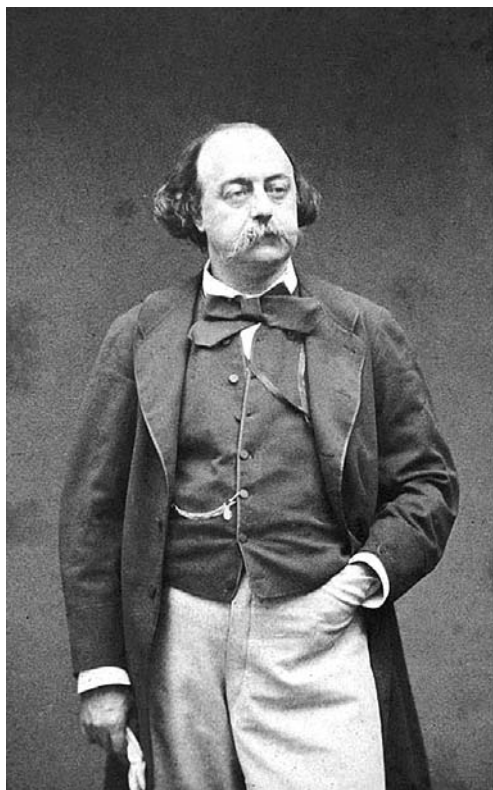
Из тех ли ты, кто с летним днем сравним?
Твой облик краше, сдержаннее нрав:
Бутоны мая вихрь развеет в дым,
До срока долг погожих дней взыскав.
То око неба беспощадно жжет,
То вдруг лишь цедит золотистый свет,
И кто прекрасен, всех своих красот
Лишится вскоре — иль с течением лет.
Но лета твоего не схлынет пыль,
И прелести не пошатнется трон,
И смерть смирится — раз назначен был
Тебе в стихах иной отсчет времен:
Пока дыханье, зренье в людях есть,
Живи в строке, чтоб вечность с ней обрести.

Перевод Андрея Корчевского (2021)

Составление, перевод с французского и вступление
Анастасии Глагощук

[227]

ИЛ 12/2021



“Эта книга — мое завещание”

“Тургенев уговаривает меня поскорее вернуться к великому опусу о моих двух Мокрицах. Уж очень они его впечатлили. Но трудности, которые такая книга за собой повлечет, приводят меня в ужас. И все же я не хотел бы умереть, ее не написав. — В самом деле, эта книга — мое завещание” — читаем в письме Флобера Жорж Санд от 18 февраля 1876 года. Пройдет четыре года, и Флобер признается Тургеневу: “Если моя книга не придет к концу, то конец придет мне” (письмо от 7 апреля 1880 года). “Я почти закончил свою книгу; осталось совсем чуть-чуть”¹ — написанные 6 или 7 мая, эти строки попадут в руки Максима Дюкана в день смерти писателя, 8 мая 1880 года.

“Великий опус” — роман “Бувар и Пекюше” — так и не был завершен. Недописанной осталась последняя глава первого тома, а о том, каким мог бы быть второй (так называемый “список” — “сорте”), мы можем судить лишь по письмам, пла-

© Анастасия Глагощук. Составление, перевод, вступление, 2021
1. G. Flaubert. Œuvres complètes. T. V (1874–1880). — Paris: Gallimard, 2021. — P. 1451.
2. Г. Флобер. Собрание сочинений в 10 тт. — Т. 6. — М.; Л.: Художественная литература, 1934. — С. 355–390.

нам и множеству подготовительных материалов, среди которых — знаменитый “Лексикон прописных истин”, обретший текстуальную и концептуальную самостоятельность вскоре после первой публикации: в 1910 году “Лексикон” печатается как приложение к “Бувару и Пекюше”, а в 1913-м уже выходит отдельной книгой.

Вокруг этих двух текстов, составивших флюберовское “завещание”, и построена данная рубрика.

На русский язык роман “Бувар и Пекюше” переводился трижды: И. И. Ясинским (1896), И. Мандельштамом (1934) и М. В. Вахтеровой (1971). “Лексикон” — лишь раз: перевод Т. Ириновой² увидел свет в 1934 году в составе десяти томного Собрания сочинений Флобера и с тех пор перепечатывается с незначительными исправлениями. За эти десятилетия во Франции и Италии вышло еще несколько изданий текста, в той или иной мере учитывающих все три его рукописных варианта (так называемые рукописи А, В и С), не совпадающих ни по составу слов, ни по их определениям. Мнения о том, какую из рукописей считать окончательной, расходятся между А и С, поэтому в новейшем издании Собрания сочинений Флобера в серии “Библиотека Плеяды” издательства “Галлимар” (последний том вышел в мае 2021 года, в ознаменование двухсотлетнего юбилея) все три печатаются в полном объеме и по отдельности, тогда как одна из издательских стратегий в прошлом веке состояла в компиляции. Налицо — необходимость пересмотреть и актуализировать русский перевод, в основе которого лежит вековой давности издание Луи Конара, где “Лексикон” был представлен только рукописью А. Исходя из этого, в рукописях В и С мы выбирали слова, чьи определения отличаются от определений в рукописи А, а также слова, встречающиеся лишь однажды; их дополняет ряд слов, пропущенных при переводе рукописи А или же переведенных с ошибками.

Опубликованный после смерти автора в 1880—1881 годах, роман “Бувар и Пекюше” был внимательно прочитан уже в XX веке, когда формальные эксперименты Флобера становятся “законами жанра”, а его отношение к стилю и языку оказывается созвучным борьбе с такими “устаревшими понятиями”, как “автор”, “персонаж”, “психологизм”, “сюжет”. Один из примеров внимательного прочтения романа дает предисловие Рэмона Кено, опубликованное в том же году — знаменательное совпадение, — что и “Упражнения в стиле” (1947). Сам процесс работы над текстом, который Кено усиленно перерабатывал начиная с 1942 года, обнаруживает общую для него с Флобером тягу к энциклопедизму. Заметим также, что развиваемые Кено сравнения с “Одиссеей” заставляют вспомнить письмо Флобера к Луизе Коле от 17 декабря 1852 года, где он заявлял: “...роман только нарождается, он ждет своего Гомера”.

Множество других примеров мы находим в работах Ролана Барта: начиная со статьи “Нулевая степень письма” (1953), Флобер был объектом постоянного его интереса — не только научного, но и личного. Показательно, что “Бувар и Пекюше” значатся в списке “Я люблю” в книге “Ролан Барт о Ролане Барте” (1975), написанной в форме словаря. В том же году Барт вел семинар, посвященный разбору семи фраз первой главы романа. В нашей подборке Барт представлен интервью “Кризис истины”, подготовленным главным редактором журнала “Магазин литературы” Жан-Жаком Брошье для специального флюберовского номера в январе 1976 года.

АНАСТАСИЯ ГЛАДОЩУК

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

Из “Лексикона прописных истин”

[229]

ИЛ 12/2021

Рукопись А

Верблюд. У верблюда — два горба, у дромадера — один. Или наоборот: у верблюда — один горб, а у дромадера — два. [Никто не знает наверняка (*зачеркнуто*)] Все путаются.

[**Дамы.** “Все для дам!” (*зачеркнуто*)]

Земледелие. Недостаток рабочих рук. Необходимо поддерживать. Тема для разговора с шиком. Большим шиком.

[**Зияние.** Недопустимо! (*зачеркнуто*)]

[**Камарилья.** Произносить это слово с возмущением. (*зачеркнуто*)]

Неподкупность. Исключительное свойство судейских чинов.

Орфография. Верить в нее, как в геометрию.

Пальма. Создает местный колорит.

[**Право первой ночи.** Неправда. (*зачеркнуто*)]

Призвание. Искусство — призвание. Так же как и медицина. И журнализм. И нотариальное дело — и вообще все профессии.

[**Слуги.** Все — воры. (*зачеркнуто*)]

Фламинго (птица). От слова “Фландрия”, где они обитают.

Чеснок. Убивает паразитов и приготавливает к любовным утехам. Губы новорожденного Генриха IV¹ натерли чесноком.

Рукопись В

Восьмидесятилетний. Говорится о любом старике.

Гордиев узел. Так древние завязывали свои галстуки.

Городские советники. Негодовать в связи с мощением улиц. О чем думают наши городские советники?

Гусары. Очень элегантны.

Дерби. Слово, относящееся к скачкам, — с большим шиком. Переписать определение из словаря Академии².

1. Король Генрих IV (1553–1610), прозванный “Vert Galant” (“Старый Повеса”). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

2. Слово “дерби” появляется в словаре Академии начиная с издания 1878 г. и получает следующее определение: “В подражание английской моде, говорится о скачках, которые проводятся в Шантийи в воскресенье, следующее за праздником Вознесения”.

Дураки. Все [ваши знакомые (*зачеркнуто*)] инакомыслящие.

Икота. Чтобы от нее избавиться — приложить ключ к спине или испугаться.

Инстинкт. Дополняет разум.

Интрига. Единственный способ сделать карьеру.

Калейдоскоп. Говорится исключительно о Салонах живописи.

Контральто. Никто не знает, что это такое.

Концерт. Приличный досуг.

Материализм. Произносить это слово с ужасом, делая ударение на каждом слоге.

Монополия. Негодовать против.

Нумизматика. Имеет отношение к исчислению бесконечно малых величин.

Ожирение. Его причины.

Океан. Образ бесконечности.

Описания. В романах их всегда слишком много.

Орфография. Верить в нее, как в математику.

Палач. Потомственная профессия.

Пантеист. Негодовать против. Абсурдно.

Понюшка (табаку). Подобаает доктору.

Пор-Рояль. Тема для беседы — очень в моде.

Прагматическая санкция. Никто не знает, что это такое.

Регенство. Только и делали, что давали ужины.

Реклама. Источник дохода.

Сенека. Был парижанином?

Скюдери. Высмеивать этого древнего автора, не читая.

Сон. Сгущает кровь.

Суд присяжных. Стараться не участвовать — любой ценой.

Трико. Очень возбуждает.

Фаянс. Шикарнее фарфора.

Шпион. Всегда принадлежит к высшему обществу.

Япония. Все там сделано из фарфора.

Яшма. Все вазы в музеях — из яшмы.

Рукопись С

Номо. “Ессе homo!”¹ — воскликнуть при виде человека, которого все ждут.

Usum (ad). Латинское выражение; украсит любую фразу. “Ad usum Delphini”² — непременно использовать, если женщину зовут Дельфина.

1. “Се человек” (*лат.*) — слова Понтия Пилата о Христе.

2. “Для пользования дофина” (*лат.*) — так называлось составленное при Людовике XIV для его сына (наследного принца — дофина) собрание сочинений античных классиков, из которого были исключены все предсудительные и непристойные места. Впоследствии так стали говорить обо всех исправленных по цензурным соображениям изданиях.

Абсент. Чрезвычайно сильный яд. Один стакан — и вы мертвы. Пьют журналисты, когда пишут статьи. Погубит французскую армию.

Альбион. Постоянные эпитеты: “белый, вероломный, практичный”. Чуть было не завоевал Наполеон. Восхвалять “Свободную Англию”.

Антихрист. Вольтер. Ренан.

Арбалет. Отличный повод рассказать историю Вильгельма Телля.

Ахилл. Добавлять “быстроногий”; все подумают, что вы читали Гомера.

Блондинки. [Мягкотелые, однако (*зачеркнуто*)] Более пылкие, чем брюнетки. [Блондинкам идет синий. (*зачеркнуто*)] (см. Брюнетки)

Брошь. Должна служить оправой для пряди волос или фотографии.

Верблюд. У верблюда — два горба, у дромадера — один; или наоборот: у верблюда — один горб, а у дромадера — два. Быть трезвым, как верблюд.

Вкус. “Просто — значит со вкусом” — следует говорить в том случае, когда женщина извиняется за скромность своего наряда.

Воображение. Всегда “богатое”. Остерегаться. За неимением своего поносить чужое. Чтобы писать романы, нужно одно только воображение.

Вопрос. Поставить вопрос — значит его решить.

Газета. Важная роль в жизни современного общества. Пример: “Фигаро”. Неизменно ругать и вместе с тем верить всему, что в них пишут. “Серьезные” газеты: “Обозрение двух миров”, “Экономист”, “Газета прений”. Пусть они лежат у вас на столике в гостиной, но не забудьте предварительно разрезать страницы. Отметьте пару абзацев красным карандашом — это также произведет очень хорошее впечатление. Прочитайте утром какую-нибудь статью из тех, что печатаются этими серьезными, солидными изданиями, а вечером, в светском кругу, искусно переведите разговор на освещенный в ней предмет — это даст вам возможность блеснуть.

Галлофоб. Использовать это слово, говоря о немецких журналистах.

Гарем. Петух в окружении кур, что султан в своем гареме (устойчивое сравнение). Мечта всех школьников.

Германия. Эпитеты: “белокурая, мечтательная”; однако же какая у нее армия!

Герострат. Упомянуть всякий раз, когда речь заходит о пожарах во время Коммуны.

Гидра. Гидра анархии. Id.¹ Социализма. Аналогично — в отношении всех систем, внушающих страх.

Гипотеза. Зачастую “опасная”, всегда — “смелая”.

Гнев. Возбуждает; время от времени в него впадать — полезно для крови.

1. *Здесь: Idem — то же (лат.).*

Голубь. Подается исключительно с горошком.

Гризетка. “Где ж встретишь теперь гризетку!” — говорится с видом охотника, жалующегося на то, что в лесах перевелась дичь.

Девушка. Все юные девы “бледные” и “хрупкие”. Всегда “невинные”. Оберегать от книг, музеев, театров и в особенности не пускать в Сад растений, к клеткам с обезьянами.

Деньги. [Бог дневного света (не пугать с Аполлоном). На языке министров: Оклад. На языке нотариусов: Доход. На языке врачей: Гонорар. На языке служащих: Содержание. На языке рабочих: Зарплата. На языке слуг: Жалованье. (*зачеркнуто*)] Счастье — не в деньгах. Источник всех зол. Повод порассуждать об экономике.

Деревня. Все дозволено. Чувствовать себя непринужденно. Не нужно нарядов. Прочь одежду. Шумное веселье. Проказничать. Садиться прямо на землю — курить трубку. Деревенский люд лучше городского. Завидовать его счастью.

Дива. Всех певиц следует называть “дивами”.

Женщина. Женский пол. Что подобает женщине. Значение женщины в наше время. Следует говорить не “моя жена”, а “моя супруга”, а еще лучше — “моя половина”. Ребро Адама.

Заговорщик. Для заговорщика главное — внести свое имя в список.

Закрыто. Не иначе как “наглухо”.

Зверь. Ах, если бы звери умели говорить! Некоторые звери куда умнее людей.

Зевака. Все парижане — зеваки и бездельники, хотя девять десятых жителей города — провинциалы. В Париже никто не работает.

Земля. Говорить “со всех уголков земли”, поскольку она круглая.

Знаменитость. Пусть они и знамениты, однако же — хулить, ссылаясь на их пороки и недостатки. Мюссе пил. Бальзак был по уши в долгах. Гюго — скряга.

Иврит. Все непонятное. Праязык.

Илиада. И “Одиссея”.

Исключение. Говорите “подтверждает правило”, но не пытайтесь объяснить, как такое возможно.

Искусство. Доводит до больницы. Зачем оно? Ведь машины делают все “лучше и быстрее”. *Изящные искусства.* Случай с принцем-президентом. Делегация, которую возглавлял Сешан¹. *Изящные искусства.* Промышленное искусство.

Камзол. Всегда “абрикосового” цвета.

Кларнет. Лишает зрения. Пример: все слепцы играют на кларнете.

Кожа. Все кожи привозят из России.

Лавр. Лавры не дают почивать.

1. Наполеон III обратился к делегации мастеров-орнаменталистов, возглавляемой художником-декоратором Шарлем Сешаном (1803–1874), с вопросом: чем изящные искусства отличаются от промышленного?

Ласточка. Называть их “вестницами Весны” и никак иначе. Поскольку мы не знаем, откуда они прилетают, следует говорить: “Из далеких краев”. [Ласточкины гнезда приносят удачу в дом (*зачеркнуто*).] Поэтично.

Лев. Отлично рычишь, лев!¹ “Кто бы мог подумать, что лев и тигр — кошки!” Отличается большим великодушием, чем тигр.

Лицо. “Зеркало души”. В таком случае у некоторых людей душа безобразна.

Майский жук. Дитя Весны. Называть их “вредными жесткокрылыми”, если на сельскохозяйственной выставке вы произносите речь о производимых ими опустошениях.

Максима. Максима никогда не бывает новой, но всегда — утешительной.

Мечтание. Уместно называть “мечтаниями” возвышенные идеи, которых мы не понимаем.

Мефистофелевский. Говорится о горьком смехе.

Минута. “Мы даже не подозреваем, сколько времени заключено в одной минуте”.

Море. Бездонно. Образ бесконечности. Настраивает на возвышенный лад. Всегда иметь при себе подзорную трубу. Созерцая море, восклицать: “Сколько воды!”

Мореплаватель. Всегда “отважный”.

Мрамор. Все статуи делаются из паросского мрамора.

Мышцы. У сильных людей стальные мышцы.

Напечатанное. Напечатанному — верить. Увидеть свое имя в печати! Некоторые идут ради этого на преступления.

Наружность. Приятная наружность — самый надежный паспорт.

Наука. Относительно Религии. — “Кто мало знает, тот отходит от религии; кто много знает — возвращается к ней”².

Неаполь. “Увидеть Неаполь и умереть!” Если вы беседуете с людьми учеными, не забудьте упомянуть Парфенопу³.

[**Немцы.** Не удивительно, что они нас разгромили, мы не были готовы! (*зачеркнуто*)]

1. Реплика Деметрия в комедии У. Шекспира “Сон в летнюю ночь” (акт V, сд. I). Была использована Фостэном в карикатуре на Вильгельма II и Бисмарка (1870).

2. С этими словами (в точности до глагола: вместо “éloigne” — “écarte”) граф де Фаверж обратился к Бувару в III главе книги, когда тот заявил, что в качестве геологов они вправе оспаривать религию (Г. Флобер. Собрание сочинений в 4-х тт. — Т. 4. Перевод М. В. Вахтеровой. — М., 1971. — С. 188). Сходное высказывание приписывается выдающемуся французскому химику и биологу Луи Пастеру: “Кто мало знает, отдаляется от Бога; кто много знает — возвращается к Нему”.

3. Парфенопа — сирена, в честь которой был назван Неаполь (Парфенопея). Не сумев прельстить Одиссея, вместе с сестрами Парфенопа бросилась в море. Город возник близ того места, где ее тело было выброшено на берег.

Непристойность. Все научные термины греческого или латинского происхождения скрывают какую-нибудь непристойность.

Неразборчивый. Только тот рецепт врача имеет силу, что написан неразборчиво. Таковой должна быть подпись официальных лиц. И частных тоже. Это свидетельствует о том, что вы не успеваете отвечать на письма.

Нож. Если лезвие длинное, значит нож — каталонский. Называется “кинжалом”, если стал орудием преступления.

Оригинал. “Оригиналом” следует называть того, кто не приемлет общепринятых взглядов и прописных истин. Смеяться над оригиналом — значит выказывать свое интеллектуальное превосходство. Способы сойти за.

Орфография. Не обязательна при наличии стиля.

Оскорбление. Смывается кровью [и не прощается. (*зачеркнуто*)] Смертельное оскорбление.

Параллели. Выбор ограничен: Цезарь и Помпей, Вольтер и Руссо, Наполеон и Карл Великий, Баярд¹ и Мак-Магон², Гёте и Шиллер, Гораций и Вергилий.

Париж. Великая блудница. Столица с большой буквы. Женский рай, лошадиный ад. Политические взгляды на. Способы покорить. Мнение Провинции о (и наоборот).

Пастух. Все пастухи — колдуны. Обладают исключительной способностью говорить с Пресвятой Девой.

Перевод с родного языка на иностранный. Если в школе учеников, делающих успехи в переводе с родного языка на иностранный, хвалят за прилежание (а тех, кто делает успехи в переводе с иностранного языка на родной, — за ум), то в свете таких “первых” поднимают на смех³.

Перстень. Носить на указательном пальце — весьма изысканно, на большом — кажется чересчур восточным. От перстней пальцы становятся кривыми.

Перу. Фантастическая страна, где все из золота и серебра.

Пиво. Не следует пить, *дабы не простудиться*.

Питание. В школах — непременно “здоровое и обильное”.

Плот. Не иначе как “Медузы”⁴.

1. Пьер дю Террай, сеньор де Баярд (1476–1524) — знаменитый французский полководец, герой Итальянских войн, прозванный “рыцарем без страха и упрека”.

2. Мари-Эдм-Патрис-Морис де Мак-Магон (1808–1893) — французский маршал, президент Республики в 1873–1879 г., заслуживший своими подвигами (в том числе во время Крымской войны) прозвище “Баярд современности”.

3. Флобер обыгрывает выражение “fort en thème”, как говорят об отличниках, зубрилах, “первых учениках”. В словаре Литтре читаем: “Говорится об ученике, которому удаются переводы с родного языка на иностранный, но не отличающемся живостью ума, поскольку такого рода перевод не требует воображения”.

4. Крушение французского фрегата “Медуза” у берегов Сенегала в 1816 г. имело большой общественный резонанс, став сюжетом знаменитой картины Теодора Жерико.

Поздравления. Всегда “искренние”, “горячие”, “сердечные”.

Подарок. Ценен не потому, что дорог, или наоборот: дорог не потому, что ценен. “Главное не подарок, а внимание”.

Порыв. Если не “благородный”, то “безумный”.

Природа. “Как прекрасна Природа!” — следует говорить, оказавшись за городом.

Провидение. Что бы мы делали без него?

Прогулка. Прогулка после ужина способствует пищеварению.

Простудушие. Всегда “восхитительное”. Либо переполняет нас, либо его у нас вовсе нет.

Рак. Пятится. Называть реакционеров “раками”.

Растение. Лечит те части тела, чью форму имеет.

Ресторан. Следует заказывать те блюда, что обычно не готовят у вас дома. Если вы затрудняетесь с выбором, посмотрите, что подают за соседними столиками.

Рок. Слово исключительно романтическое. “Роковой человек” — говорится о том, у кого дурной глаз. “Оффенбах¹ — роковой человек”.

Роман. Романы развращают массы. Только “исторические” романы допустимы, ибо они учат истории. Пример: “Три мушкетера” и т. д. Есть романы, написанные кончиком скальпеля². [Пример: “Госпожа Бовари” (*зачеркнуто*)]

Романс. Исполнитель романсов — идеал томного мужчины. Покой нравится как матерям, так и их дочерям.

Ружейная пальба. Единственное, что может заставить парижан замолчать.

Самка. Использовать только в отношении животных. В отличие от человеческих особей, самки животных не такие красивые, как самцы. Примеры: фазан, петух, лев и т. д.

Свет. Всякий раз, когда зажигают свечу, восклицать “Fiat lux!”³.

Свидетель. Никогда не соглашаться быть свидетелем в суде: никто не знает последствий.

Святотатство. Срубить красивое дерево — святотатство.

Сера. “Человеческий воск”⁴: ни в коем случае не удалять, поскольку сера защищает ухо от проникновения насекомых.

Скверный. Говорится о всяком художественном или литературном произведении, не заслужившем похвалы “Фигаро”.

Собственник. Человечество делится на два больших класса: собственники и съемщики. “Род вашей деятельности? — Собственник”.

1. Французскому композитору Жаку Оффенбаху (1819–1880), окруженному демоническим ореолом, Флобер посвящает отдельную статью: “Как только услышишь это имя, надо скрестить два пальца правой руки, чтобы сберечь себя от дурного глаза. Очень парижский жест — в моде” (рукописи А и С).

2. Отсылка к рецензии Сент-Бёва на роман “Госпожа Бовари”, в которой Флоберу дана следующая характеристика: “Сын и брат известных врачей, господин Гюстав Флобер орудует пером, как скальпелем”.

3. “Да будет свет!” (*лат.*) — первые слова Бога-Творца.

4. В оригинале — непереводаемое созвучие “cérumen” — “cire humaine”.

Собственность. Одна из основ Общества. Священное Религии.

Солонка. Опрокинуть солонку — дурная примета.

Странно. Говорится по любому поводу. “Как странно!”

Счастливый человек. О счастливом человеке следует говорить, что он “родился в рубашке”. Пусть даже ни вы, ни ваш собеседник понятия не имеете, что это значит.

Тринадцать. Не садиться в таком числе за стол; дурная примета. Вольнодумцы не преминут пошутить: “А что если я буду есть за двоих?”, в присутствии же дам следует осведомиться, нет ли среди них беременных.

Трубочист. Зимняя ласточка.

Ужин. Ужин во времена Регентства: цветы, огни, полуголые женщины и т. д. Остроумные шутки и шампанское там лились рекой.

Уступка. Никогда на них не идти: они погубили Людовика XVI.

Усы. Придают воинственный вид.

Утка. Все утки — из [Дюклера¹ (*зачеркнуто*)] Руана. Хороша только с репой.

Ферма. Оказавшись в гостях на ферме, ешьте только хлеб с отрубями и не пейте ничего, кроме молока. Если вам предложат еще и яйца, воскликните: “Господи! До чего свежие! В городе таких и в помине нет!”

Фигаро. Сын Бомарше и один из зачинщиков Революции.

Фиговый лист. Знак мужественности в скульптуре.

Честолюбивый. В провинции: всякий, кто дает пищу для разговоров. “Лично я не честолюбив” — так говорят либо эгоисты, либо посредственности.

Шатобриан. Известен главным образом бифштексом, который носит его имя.

Юность. Цитируйте эти стихи по-итальянски, даже если вы их не понимаете: “Gioventù! primavera della vita. / Primavera! gioventù del anno”². “Ах, молодость! Как это прекрасно!”

Ямочка. Красивой женщине следует говорить, что в ее ямочках прячутся амурчики.

1. Дюклер — город в округе Руана, славящийся своими утками.

2. “Юность! весна жизни. / Весна! юность года” (*итал.*) Эти строки, без указания источника, цитирует Байрон в своем дневнике (запись от 1 декабря 1813 г.), а Гюго предпосылает их в качестве эпитафии одному из стихотворений (XIV) книги “Осенние листья” (1831). Второй строкой — “Primavera! gioventù del anno” — начинается один из мадригалов итальянского поэта XVI в. Баттисты Гварини.

РЭМОН КЕНО

“Бувар и Пекюше”

Гюстава Флобера

[237]

ИЛ 12/2021

Предисловие к роману

<...> “Я хочу, чтобы эта книга нагоняла такую тоску и скуку, — объяснял Флобер Максиму Дюкану, — что читатель решил бы: автор — идиот”¹. Вместе с тем задуманный роман “будет притязать на комизм”², хотя в другом месте Флобер говорит, что из нового произведения должно получиться “нечто серьезное и даже устрашающее”³. “Мне кажется, никому еще не приходило в голову искать смешное в научных идеях”⁴, — замечает он и в то же время пишет: “Гротескны прежде всего их [Бувара и Пекюше] речи и действия, а не идеи”. “Заставить смеяться, излагая теорию врожденных идей, — ничего себе задачка?”⁵ (ср. цитаты, собранные Деморе⁶, *op. laud.*, pp. 72 и далее).

Тот факт, что два переписчика оказались в конце концов способны составить не только “Альбом”⁷, но и “Лексикон”, свидетельствует о том, что они стали в определенной мере выразителями мысли Фло-

© Éditions Gallimard, 1994
Публикуется с сокращениями.

1. M. Du Camp. Souvenirs littéraires: En 2 vol. — Т. II. — P.: Hachette, 1883. — P. 540–541. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

2. Письмо Жорж Санд от 1 июля 1872 г. в кн.: Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде: Письма; Статьи. В 2-х тт. — Т. 2 (1862–1880). — М.: Художественная литература, 1984. — С. 109. (Далее письма Флобера цитируются по данному изданию с указанием страниц; не представленные в двухтомнике фрагменты писем цитируются в нашем переводе.) Кено опирался на издания Луи Конара, мы же выверяли и уточняли датировку и орфографию по более современному изданию переписки в серии “Библиотека Пляды” издательства “Галлимар”.

3. Письмо И. С. Тургеневу от 29 июля 1874 г. — С. 146.

4. Письмо г-же Роже де Женетт от 2 апреля 1877 г. — С. 192.

5. Письмо г-же Роже де Женетт от 15 июля 1879 г. — С. 241.

6. D. Demorest. À travers les plans, manuscrits et dossiers de “Bouvard et Pécuchet”. — Paris: Louis Conard, 1931. Главный источник Кено, на который он ссылается как на *op. laud.*, то есть “*opere laudato*” — “в цитируемом с похвалой произведении” (*лат.*).

7. “Альбом маркизы” — собрание подлинных цитат о некой “прелестной Маркизе С.”, в чьем салоне бывал весь литературный Париж. “Альбом” был подготовлен помощником Флобера Жюлем Дюпланом и, в соответствии с одним из первых планов романа, относящимся к 1862–1863 гг., вместе с “Лексиконом прописных истин” должен был фигурировать во второй его части.

бера, прежде всего Бувар, чьи суждения о философии и мире, критическое отношение к религии, сам ход мыслей мало чем отличаются от флюберовских.

Когда Бувар заявляет: “Наука построена на изучении одного лишь уголка пространства. Быть может, ее выводы не соответствуют остальной, не доступной нам части вселенной, гораздо большей и непостижимой”¹, — это мысль самого Флобера, или почти его мысль. Когда, вместе с Пекюше, он критикует Вальтера Скотта, Жорж Санд или Бальзака, он, опять же, выражает мысль Флобера, или почти его мысль.

Если Сервантес поначалу представляет Дон Кихота как нелепого безумца, а в XI главе пишет для него прекрасную речь, делая его своим резонером, и впоследствии не ослабляет сочувственного к нему внимания, отношение Флобера к двум “чужакам” и сам замысел книги менялись по мере ее написания, хотя на всем протяжении первой части (той единственной, что мы имеем в своем распоряжении, почти завершенной) авторская позиция отмечена двойственностью.

“Они считали себя людьми очень серьезными, занятыми полезным делом”² — в этой характеристике больше иронии, как, впрочем, и доброжелательности, чем в следующей: “Кругозор Бувара и Пекюше расширился. Они были горды тем, что размышляют над столь возвышенными предметами”³. Им случается говорить банальности (см. Деморе, ор. *laud.*, р. 122), на что обращает внимание сам Флобер, когда оба друга терпят любовную неудачу: “Они повторяли все пошлости, какие говорят о женщинах”⁴; вместе с тем, когда они принимают у себя именитых граждан или когда их самих принимает граф де Фаверж, их возмущают банальности, услышанные от других, и они раздражаются ругательствами точь-в-точь как Флобер: “Что за идиоты! Какая низость!”⁵.

Поначалу Флобер хотел своей книгой разоблачить человеческую глупость, содрать шкуру с катоблепаса⁶. “Я собираюсь изрыгнуть в ней всю желчь, что меня душит, то есть высказать кое-какие истины,

1. Гл. III. Перевод наш.

2. Конец гл. II. Перевод И. Б. Мандельштама. — С. 191. (Здесь и далее цитаты из “Бувара и Пекюше” в переводе И. Б. Мандельштама приводятся с указанием глав и страниц по изданию: Г. Флобер. Собрание сочинений в 5-ти тт. — Т. 4. — М.: Правда, 1956.)

3. Гл. III. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 174. (Здесь и далее цитаты из “Бувара и Пекюше” в переводе М. В. Вахтеровой приводятся с указанием глав и страниц по изданию: Г. Флобер. Собрание сочинений в 4-х тт. — Т. 4. — М.: Правда, 1971.)

4. Гл. VII. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 279.

5. Гл. VI. Перевод И. Б. Мандельштама. — С. 280.

6. Одно из фантастических существ, явившихся св. Антонию в “Искушении святого Антония” (1874). Катоблепас — животное, само себя пожирающее, наделенное смертоносным взглядом. В одном из черновых планов Флобер соотносил катоблепаса с астоми — животными, притягивающими “Глупость” (G. Flaubert. *Ceuvres complètes*. — Т. V (1874–1880). — Paris: Gallimard, 2021. — P. 180).

и тем самым очиститься¹... мне понадобится несколько лет на то, чтобы изрыгнуть все это из себя²... я вновь спущусь в издательский ад лишь тогда, когда из меня выйдет вся желчь, что меня душит³... чело-веческая глупость до того меня угнетает, что я сам себе кажусь мухой, на спину которой взвалили Гималаи. Ну, ничего! Постараюсь изрыгнуть всю накопившуюся во мне желчь в своей книге. Эта надежда успокаивает меня⁴ (см. Дешарм⁵, *op. cit.*, pp. 265 и далее).

Если верить Рене Дешарму (*op. cit.*, гл. II), Флобер впервые упоминает новую книгу в письме госпоже Роже де Женетт в понедельник 19 августа 1872 года: “Собираюсь начать новую книгу, которая отнимет у меня несколько лет”. Это будет “история тех самых двух чудаков-переписчиков, которые кропают некую шутовскую критическую энциклопедию⁶”. 20 июня 1872 года Флобер завершил “Искушение святого Антония” (Дешарм, *op. cit.*, p. 49). А 1 августа 1874 года он напишет первую фразу: “Стояла жара – тридцать три градуса, и на бульваре Бурдон не было ни души⁷”. <...>

Параллель между “Буваром и Пекюше” и “Искушением святого Антония” напрашивается еще и потому, что ее наметил сам Флобер в одном письме: “Этим летом я засяду за другую книгу в том же духе; после чего вернусь к роману – настоящему, без всяких затей⁸”, – из чего следует, что “Бувар и Пекюше” – не “настоящий” роман “без всяких затей”. Он в самом деле представляет собой “роман-энциклопедию”, тогда как “Искушение” – “роман-пантеон”. К тому же оба произведения сопровождали Флобера на протяжении жизни. Находясь под впечатлением от “Искушения святого Антония” Брейгеля, увиденного в 1845 году в одном музее Генуи, Флобер за год написал первую версию своего “Искушения” и впоследствии не раз к нему возвращался, окончательный же вариант был завершён лишь в 1872 году. Аналогичным образом замысел “Бувара и Пекюше” восходит к тексту, написанному еще в юности, можно даже сказать детстве – “Уроку естественной истории”, опубликованному в “Колибри” в 1837 году. По словам Максима Дюкана, начиная с 1843 года Флобер думает написать “историю двух приказчиков”, а Мопассан утверждает, что идею этой книги он вынашивал полжизни.

Что касается сюжетной канвы “Бувара и Пекюше”, то восходит она – сознавал ли то сам Флобер или нет – к новелле Бартеlemi Мориса “Два клерка”, опубликованной 14 апреля 1841 года в “Су-

1. Письмо Жорж Санд от 12 декабря 1872 г. – С. 120, с изменениями.

2. Письмо Эрнесту Фейдо от 29 декабря 1872 г. Перевод наш.

3. Письмо г-же Роже де Женетт, 7 сентября 1873 г. Перевод наш.

4. Письмо Эдмону де Гонкуру от 9 октября 1877 г. – С. 198–199.

5. R. Descharmes. *Autour de Bouvard et Pécuchet : Études documentaires et critiques.* – Paris, 1921.

6. Письмо г-же Роже де Женетт от 19 августа 1872 г. – С. 110.

7. Первая фраза гл. I. Перевод М. В. Вахтеровой. – С. 105.

8. Письмо Жорж Санд от 1 мая 1874 г. – С. 136.

дебной газете”¹, перепечатанной в “Газете газет”², а затем, уже в третий раз, 7 февраля 1858 года, в “Судебном заседании”³ — газете, которой руководил друг Флобера Эжен Делаттр (Дешарм, ор. cit., р. 90). Два секретаря суда, Андреас и Робер, уходят на пенсию. Намереваясь снять дом, они штудируют “Газету объявлений”: “Слишком дорого. Слишком к северу — медвежий угол — слишком близко... Слишком далеко от Парижа”. Думая поселиться на берегах Луары, они обмениваются репликами точь-в-точь как Бувар и Пекюше: “Мы будем наблюдать за пароходами — и отравимся дымом”, “Мы будем выращивать кроликов — и разоримся”. Может возникнуть ощущение, что мы читаем “Лексикон прописных истин”: “Пароходы: радуют глаз, но отравляют все дымом”, “Кролики: сметают все на своем пути”. В итоге они обосновались за городом.

Увлеченный охотой Робер⁴ случайно убил собственную собаку. (В начале VII главы, когда первые опыты были завершены (“Вот тебе и прогресс! Экое надувательство! — А уж политика! Какая гнусность!”⁵), для Бувара и Пекюше “начались печальные дни”. Тогда “Пекюше занял у Ланглуа ружьё, чтобы пострелять жаворонков; ружьё взорвалось при первом же выстреле и чуть не убило его”⁶.) Увлеченный рыбалкой Андреас сам угодил в воду. Затем они решают посвятить себя садоводству: “...накануне, тайком друг от друга, один прочитал ‘Хорошего садовника’, второй — ‘Альманах Луаре’, а также альманах Матье Лансберга⁷”. Однако садовник противится их деятельности, “не иначе как сад их станет маленькой Солонью”⁸.

<...>

Наступила зима. Чем заняться? Игры наводят скуку. Тогда Андреас и Робер принимаются переписывать. “Так, они нашли свое последнее, истинное, единственное удовольствие в том бесплодном труде, который заполнял их существование в течение тридцати восьми лет и за который они вновь, по-видимому, взялись; именно в нем, быть может, заключалось счастье всей их жизни, хотя сами они того не осознавали”.

В первом плане романа, который Деморе проанализировал в IV главе своей замечательной книги, Бувар и Пекюше были увлечены искусствами. Они учились рисовать и фотографировать, а Пекюше позировал обнаженным.

В соответствии с этим первым планом, научная одиссея начиналась лишь с XIV главы; между тем Бувар и Пекюше едут в Париж, где возвращаются в артистических кругах, восхищаются проектами

1. “Gazette des Tribunaux”.

2. “Journal des Journaux”.

3. “Audience”.

4. Ошибка автора: не Робер, а Андреас.

5. Конец гл. VI. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 269.

6. Гл. VII. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 270.

7. Издатель “Льежского альманаха” (XVII в.).

8. Солонь — богатая озерами и лесами область в центральной Франции.

Османа, пресыщаются всеми возможными играми и развлечениями, которых ищут люди праздные и т. д. В целом они представляются не искателями знаний, а скорее людьми, которым нечем себя занять. Можно сказать, что Флобер здесь недалеко ушел от Мориса.

Бувара и Пекюше поначалу звали Дюболар и Пекюше, затем Болар и Манише (роман же был озаглавлен “История двух мокриц”, затем — “История двух чудаков”). Сходство фамилий “Бувар” и “Бовари” любопытным образом усиливается за счет того, что “Бовари”, как писал Флобер, есть “искаженное Буваре”¹. Сближает “Историю двух мокриц” и “Госпожу Бовари” также одно высказывание Флобера, записанное братьями Гонкур в “Дневнике”: “серый цвет, цвет плесени, в которой прозябают мокрицы”² — вот что хотел он передать своим романом.

Сама героиня, не имея интеллектуального потенциала Бувара и друга его Пекюше, пробует себя в различных сферах деятельности — адюльтер, набожность, итальянская грамматика — с той же беззаботностью и спонтанной непринужденностью, что, на первый взгляд, присущи обоим “чудакам”.

Если, по признанию Флобера, госпожа Бовари — это он сам (о, подлое общее место!), не менее очевидно и то, что Флобер — это Бувар и Пекюше вместе взятые. Повторяя, по необходимости, их энциклопедическую одиссею, Флобер прочитал “более тысячи пятисот томов”³, что само собой подтверждает их сходство. Деморе отмечает следующие места в переписке (ор. *laud.*, который я не могу не цитировать, р. 37): “Бувар и Пекюше переполнили меня до такой степени, что я уже превратился в них! Их глупость — это моя глупость. От этого я и пропадаю”⁴, “Я живу настолько, насколько возможно, жизнью моих чудаков”⁵, “Моя книга меня поглотила... глупость моих чудаков передается мне”⁶. (Ср. со следующей фразой, ближе к концу VIII главы: “Это пробудило в них пренеприятную способность замечать глупость и возмущаться ею”⁷.)

Переходы между этапами интеллектуальной одиссеи Бувара и Пекюше отмечены следующими фразами:

“Наверное, все дело в том, что мы не знаем химии”⁸.

“Через полгода они уже были археологами”⁹.

1. Письмо Ортанс Корню от 20 марта 1870 г. Перевод наш.

2. Запись от 17 марта 1861 г. в кн.: Э. и Ж. де Гонкур. Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы в двух томах. — Т. I (1851–1870). — М.: Художественная литература, 1964. — С. 299.

3. Письмо г-же Роже де Женетт от 25 января 1880 г. — С. 254.

4. Письмо г-же Роже де Женетт, апрель 1875 г. — С. 153.

5. Разночтение: в издании “Плеяды” — “je me rejette”, а не “je vis”, в смысле “я отдаюсь, ухожу с головой, посвящаю себя всецело...”. Письмо г-же Роже де Женетт от 3 августа 1877 г. Перевод наш.

6. Письмо племяннице Каролине, август 1874 г. — С. 147.

7. Гл. VIII. Перевод М. В. Вахтеровой, с изменениями. — С. 318.

8. Последняя фраза гл. II. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 155.

9. Первая фраза гл. IV. Перевод И. Б. Мандельштама. — С. 223.

“Выпишем несколько исторических романов!”¹

“Сдается мне, что скоро у нас начнется заваруха!”²

“Пекюше, глядя на нее, испытывал какое-то совершенно новое чувство, очарование, бесконечное удовольствие”³.

“Такой режим очень нравился им, и они решили укрепить свое здоровье еще и гимнастикой”⁴.

“И казалось им, что в душе у них занимается заря”⁵.

“Они раздобыли труды по педагогике”⁶.

“И они прошли по деревне и прибыли в гостиницу “Золотой крест” крайне взволнованные”⁷.

“Они принимают за работу”⁸.

Каждая из этих фраз вводит новую тему, каждая глава посвящена конкретному предмету, хотя одна из опубликованных Деморе заметок⁹ (ор. laud., p. 45) свидетельствует о том, что в определенный момент Флобер хотел избежать механического чередования исследований и сопутствующих им разочарований от главы к главе. Однако в том виде, в котором роман до нас дошел, каждая из частей имеет свой тематический стержень: глава II – Сельское хозяйство; глава III – Естественные науки; глава IV – Археология и История; глава V – Литература; глава VI – Политика; глава VII – Любовь; глава VIII – Философия (вслед за Гимнастикой); IX – Религия; X – Педагогика и Социальное переустройство; XI – Список с цитатами; при этом главы IV, IX и X предвосхищаются предыдущими, в соответствии с вышеупомянутой заметкой; роль связующих звеньев играют, соответственно, сундук Горжю, рождественская месса, Виктор и Викторина.

Любопытно, что среди наук, которые принимаются осваивать Бувар и Пекюше, отсутствует едва ли не только математика. <...> Переход от одной науки (или “хобби”) к другой в целом закономерен, однако в некоторых случаях новое направление исследований Бувару и Пекюше подсказывает случай. Конечно, логично от земледелия обратиться к древоводству, от древоводства – к садоводству, от садоводства – к искусству изготовления ликеров и броматологии¹⁰, а от нее уже – к химии, анатомии, физиологии, от них (и здесь логику подкрепляет случай: купленное у книгоноши руководство Распая; этому событию, однако, предшествует “месяц праздности”) – к медицине, гигиене, наблюдениям за Природой, затем, при посредничестве

1. Последняя фраза гл. IV. Перевод И. Б. Мандельштама. – С. 248.

2. Предпоследняя фраза гл. V. Перевод М. В. Вахтеровой. – С. 242.

3. Последняя фраза гл. VI. Перевод И. Б. Мандельштама. – С. 285.

4. Первая фраза гл. VIII. Перевод М. В. Вахтеровой. – С. 279.

5. Последняя фраза гл. VIII. Перевод М. В. Вахтеровой. – С. 323.

6. Первая фраза гл. X. Перевод М. В. Вахтеровой. – С. 359.

7. Последняя фраза гл. X. Перевод М. В. Вахтеровой. – С. 392.

8. Последняя фраза рукописного плана окончания романа.

9. Заметка, озаглавленная “Метод, общий план” (“Méthode, plan général”).

10. Наука о средствах и способах питания.

Дюмушеля, — к геологии. И здесь логика терпит крах. Естественному переходу от геологии к истории могли бы послужить палеонтология и первобытная история. Но нет. Флобер предпочел случайность: увиденный у Горжю сундук. Так Бувар и Пекюше сделали археологами. Потом они увлекаются историей, историческими романами, литературой, драматическим искусством, писательским ремеслом. Очередной крах. Вследствие событий 1848 года они начинают интересоваться политикой и социализмом. Государственный переворот. Далее, в главе VII (самой короткой в книге) — две истории любви: Пекюше увлекается Мели, а Бувар — госпожой Борден. Ученая одиссея возобновляется с занятий гимнастикой в главе VIII; затем наступает мертвый, но непродолжительный штиль, из которого Бувара и Пекюше выводит случай в лице Мареско с его вертящимися столами, после чего они вновь отправляются в каботажное плавание: спиритизм, магнетизм, магия, лозоходство, философия (здесь имеет место двойной случай: труп собаки (возможная бодлеровская реминисценция, как замечает Майниаль¹) и рождественская месса (что, конечно же, заставляет вспомнить Гёте, однако в “Фаусте” от искушения самоубийством героя спасает Пасха; все же, подобно святому Антонию, Бувар и Пекюше — герои фаустовского типа)), религия, ее критика, педагогика (дикий залив, в водах которого разбросан целый архипелаг наук и искусств: арифметика, география, космография, история (снова), рисование, наглядные уроки, ботаника, этика, музыка), социальное переустройство. В итоге они принимаются переписывать.

Из опубликованных Деморе планов следует, что Бувар и Пекюше поначалу должны были переписывать все, что попадалось им на глаза, даже “надписи на пачках табака, старые газеты, афиши, рваные книги” (“...старомодную литературу, церковную латынь, безграмотные эротические книжонки, романы времен наших бабушек, волшебные сказки, тонкие детские книжки, старинные оперы, вздорные куплеты, незамысловатые ритмы”²). Затем они стали бы упорядочивать накопленные сокровища. “Порой, — читаем в первом плане, — им бывает весьма трудно отнести автора к тому или иному разряду, и их мучает совесть”. Они проводят “параллели”, сравнивают “красоты” и т. д. Подмечают писательские “оплошности”, в том числе некоего Флобера, у которого в романе “Госпожа Бовари” в сентябре благоухает жасмин³ (в самом начале дружбы Пекюше признается Бувару, что нашел ряд ошибок в сочинениях Тьера⁴; впоследствии сходной проверке

1. Исследователь творчества Флобера Эдуар Майниаль (Edouard Maunial) издал “Бувара и Пекюше” в серии “Классик Гарнье”.

2. Из книги “Пора в аду” (гл. “Алхимия слова”) А. Рембо.

3. Ч. II, конец гл. XII: сцена в саду накануне задуманного Эммой с Родольфом побега.

4. Адольф Тьер (1797–1877) — видный политический деятель, первый президент Третьей республики, журналист и историк, известный как автор десятитомной “Истории Французской революции” (1823–1827) и двадцатитомной “Истории Консульства и Империи” (1845–1862).

подвергаются Александр Дюма и Вальтер Скотт). Позднее они составят “Лексикон прописных истин” — книгу, о которой уже 4 сентября 1850 года Флобер писал как о “совершенно готовой”¹. 17 сентября 1852 года он делится с Луизой Коле: “Особенно увлекает меня предисловие (словаря), и в том виде, как я его задумал, это может стать целой книгой...”². Эта книга и есть “Бувар и Пекюше”, а ее XI глава по объему должна была быть равна десяти предыдущим.

Под конец Бувар и Пекюше должны были обнаружить бумаги секретаря Мареско, что позволило бы Флоберу представить ряд пастишей — прежде всего, надо думать, эпистолярного жанра, для того чтобы в руки его героев попало письмо доктора Вокорбея префекту, представляющее собой “конфиденциальный отчет” об их деятельности с того момента, как они поселились в Шавиньоле, и это письмо “читатели бы восприняли как критический разбор романа”. А на самих Бувара и Пекюше оно бы никакого впечатления не произвело, так что они, преисполненные самой полной и чистой радости, продолжили бы переписывать и превозносить “статистику”, “факты” и “феномены”.

Так, развивая намеченную мною по ходу пересказа метафору морской одиссеи, можно сказать, что два “чудака” бросают якорь в тихой гавани. “Бувар и Пекюше” в самом деле — “Одиссея”, история блужданий по морям знания, в которой госпожа Борден и Мели играют роль Калипсо, а итоговый список становится Итакой, где оба героя, расправившись со всеми соперниками, увлеченно, но в меру, принимают взращивать жемчужины человеческой глупости. Подобно Кандиду, они возделывают свой сад; как писал Флобер Эдмону де Гонкуру: “Конец ‘Кандида’: будем возделывать наш сад — величайший нравственный урок, какой только может быть”³.

Литература (нерелигиозная — то есть настоящая) начинается с Гомера (а он уже был большим скептиком), и всякая великая книга является либо “Илиадой”, либо “Одиссеей”, при том что “одиссей” гораздо больше: “Сатирикон”, “Божественная комедия”, “Пантагрюэль”, “Дон Кихот” и, конечно же, “Улисс” (возникший под непосредственным влиянием Бувара и Пекюше) представляют собой “одиссеи”, то есть рассказы, насыщенные временем. “Илиады” же, напротив, — это рассказы о поисках утраченного времени, под стенами ли Трои, на обитаемом ли острове или у Германтов. Полное или полое, время в эпосе не может быть организовано по четким хронологическим принципам “настоящего романа без всяких затей”. В третьей главе своей книги Дешарм показывает, что, по законам правдоподобия, Бувару и Пекюше должно быть около восьмидесяти пяти лет, когда они вновь берутся за переписывание, но, если придерживаться текста ро-

1. В оригинале “complètement fait” — “совершенно” подчеркнуто. Флобер скорее имеет в виду будущее, а не настоящее.

2. Письмо датируется 17 декабря 1852 г. — С. 236.

3. Письмо от 22 сентября 1874 г.

мана, им было не больше семидесяти: их первая встреча имела место в июле или августе 1838 года (на тот момент им сорок семь лет), а в X главе поднимается “вопрос о свободной торговле”, значит, действие отнесено к 1861 году, что представляется в равной мере неправдоподобным; в самом деле, молодость духа, жизнелюбие, отличное здоровье свидетельствуют о том, что Бувар и Пекюше — не “простые” старики, как и роман, которому они дали свое имя, — не “простой” роман.

Разве может быть “простым романом” “некая шутовская критическая энциклопедия”, “обзор всех наук — в том виде, в каком эти науки представляются двум умам, довольно ясным, но ограниченным и простодушным”¹, “обзор всех современных идей”²? “Какой это будет опус!”³ — восклицал Флобер. “Бывают минуты, когда этот опус меня самого подавляет грандиозным размахом”⁴. “Масштабное произведение”⁵. “Чудовищный опус”⁶. “Страшный опус”⁷.

Из письма от 16 декабря 1879 года мы знаем, что Флобер намеревался дать “Бувару и Пекюше” следующий подзаголовок: “Об отсутствии метода в науке”⁸ <...> В рукописных заметках Флобера читаем: “Иногда книга предлагает несколько методов. Состояние ужасной тревоги”. Именно так происходит с садоводством: не успели Бувар и Пекюше усвоить, что деревья полезно подрезать, как из другой книги они узнают, что “непривитые и неунавоженные деревья дают плоды, правда, не такие крупные, как садовые, зато более сочные”. Тогда Пекюше восклицает: “Я требую, чтобы мне всё это объяснили! — И не только каждый сорт, но и каждый экземпляр нуждается в особом уходе, в зависимости от климата, от температуры и множества других причин! Можно ли при таких условиях вывести общее правило, да ещё надеяться на успех или доход?”⁹. Выслушав соображения друга, Пекюше снова восклицает: “Выходит, что плодоводство — чепуха!” — “Да и агрономия тоже!” — отвечает ему Бувар. То же самое происходит, когда они берутся за грамматику: составители грамматик “провозглашают принципы, отвергая их следствия, принимают следствия, отрицая принципы, основываются на традиции, не признавая авторитетов, и нередко вдаются в излишние тонкости”¹⁰. Проиллюстрировав сказанное примерами, Флобер замечает: “Из этого они заключили, что синтаксис — фантазия, а граммати-

1. Из статьи Мопассана (1881) о “Буваре и Пекюше”, текст которой стал частью большого предисловия к изданию переписки Флобера с Жорж Санд (1884). В кн.: Г. де Мопассан. Полное собрание сочинений в 12-ти тт. — Т. 11. — М.: Правда, 1958. — С. 212.

2. Письмо Гертруде Теннан от 16 декабря 1879 г. — С. 250.

3. Письмо г-же Роже де Женетт от 10 ноября 1877 г. — С. 201.

4. Письмо племяннице Каролине от 6–7 июня 1877 г. — С. 193.

5. Письмо Жорж Санд от 28 октября 1872 г. Перевод наш.

6. Письмо г-же Роже де Женетт от 27 мая 1878 г. — С. 208.

7. Письмо Жорж Санд от 5 сентября 1873 г. Перевод наш.

8. Письмо Гертруде Теннан от 16 декабря 1879 г. — С. 250.

9. Гл. II. Перевод М. В. Вахтеровой, с изменениями. — С. 142.

10. Гл. V. Перевод М. В. Вахтеровой, с изменениями. — С. 236.

ка — иллюзия”¹. Впоследствии Бувар и Пекюше будут точно так же возмущаться ботаникой: “Вот тебе на! Уж если сами исключения неверны, так кому же верить?”² (Именно по этому поводу Флобер торжественно “в действительности” над заурядными, лишенными научного сознания ботаниками (Деморе, *op. laud.*, pp. 57–58): “Эстетика есть Истина³, и на определенной стадии интеллектуального развития (когда владеешь методом), ошибиться невозможно. Действительность не соответствует идеалу, но его утверждает”⁴). Иногда Бувар и Пекюше теряют интерес к своим занятиям, не имея на то серьезных причин; например, “под конец они разочаровались в микроскопе”⁵, поскольку не умеют им пользоваться. Но чаще всего отчаяние, разочарование и скуку в них порождают противоположные точки зрения, будь то сельское хозяйство (“Взять хотя бы мергель. Пювис его рекомендует, а Роре отвергает. Риефель и Риго не одобряют известь, несмотря на положительный результат, полученный Франклином”⁶), гигиена (“Неразбавленное вино весьма полезно для желудка, если его пить после супа. Зато, по мнению Леви, от вина портятся зубы”⁷). “В море якобы нельзя купаться, предварительно не остывнув. А вот Бежен советует бросаться в воду именно когда тебе жарко”⁸), или история (“Впрочем, исторические даты далеко не всегда достоверны”. “Начав с недоверия к хронологии, они дошли до пренебрежения к фактам”⁹). Интеллектуальная позиция Бувара и Пекюше может быть четко определена: влюбленные в абсолют, они не терпят противоречий. Они верят в непогрешимость человеческого разума перед лицом явлений реальности. Приступив к эстетике, Бувар “желал бы согласовать доктрины с художественными произведениями, примирить критиков с поэтами, постичь сущность прекрасного. Все эти вопросы настолько его взволновали, что у него разлилась желчь. Он захворал желтухой”¹⁰. Наибольшей же мукой станет для них философия: “Его стремление к истине превращалось в неутолимую жажду. Возбужденный речами Бувара, он отказывался от спиритуализма, снова возвращался к нему, чтобы вновь отвергнуть, и, схватившись за голову, восклицал: ‘О сомнение, сомнение! Уж лучше небытие!’”¹¹.

Последняя глава, которую Флобер успел написать, посвящена педагогике, и в ней ошибки учеников удваиваются ошибками учителей.

1. Гл. V. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 237.

2. Гл. X. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 371.

3. У Флобера — с прописной.

4. Письмо племяннице Каролине от 2 мая 1880 г. — С. 279, с изменениями.

5. Гл. III. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 176.

6. Гл. II. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 133.

7. Гл. III. Перевод М. В. Вахтеровой, с изменениями. — С. 171.

8. Там же.

9. Гл. IV. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 215.

10. Гл. V. Перевод М. В. Вахтеровой, с изменениями. — С. 239.

11. Гл. VIII. Перевод М. В. Вахтеровой. — С. 311.

В одной из флюберовских заметок как раз говорится, что этот последний опыт Бувара и Пекюше является “кульминацией их исследований”. Флюбер писал о заключительной главе: “...что до значимости этих страниц, то в ней я не сомневаюсь”¹. В письме к Ги де Мопассану, работавшему в библиотеке Министерства народного образования, он объяснял: “Мне нужно что-нибудь характерное по части учебных программ и руководств по методике обучения. Я хочу показать, что Образование, каким бы оно ни было, не так уж много значит и что все или почти все зависит от Природы человека”². Здесь, как замечает Деморе, находит выражение двойной посыл книги: Флюбер показывает, чем грозит отсутствие метода в науке, и в то же время стремится обнаружить бесполезность какого бы то ни было метода. Остается вопрос: чем разрешится тревога, которую проблема познания вызывает у двух благонамеренных людей? <...> Флюбер *за науку*, если только те, кто ею занимаются, не теряют критического суждения, умеренности, методичности, благоразумия, человечности. И он ненавидит догматиков, метафизиков, философов. Их книги производят на него “удручающее” впечатление: “Право, до чего же это плачевное зрелище — вся эта нескончаемая вереница нелепостей”³. Начитавшись богословских трудов, Флюбер восклицает: “Какая бездна глупости! Какая наглость! Что меня возмущает, так это умники, которые носят Бога в кармане и объясняют непостижимое через Абсурд! Что ни доктрина — сплошная спесь!”⁴ В другом письме от ноября 1879 года читаем: “...меня удивляют не те люди, которые ищут объяснения непостижимого, а те, кто воображает, будто нашел это объяснение, те, кто запросто вытаскивает из кармана ответ на вопрос о бытии (или небытии) Божьем. Да, да, догматизм любой масти выводит меня из себя. Короче говоря, и материализм, и спиритуализм кажутся мне проявлением наглой самонадеянности. Прочитав за последнее время немало католических авторов, я взялся за ‘Философию’ Лефевра (‘последнее слово науки’); всех их надобно побросать в одно и то же отхожее место. Таково мое мнение. Все они невежды, шарлатаны, идиоты, которые всегда видят лишь одну какую-нибудь сторону целого”⁵.

Надо сказать, что Флюбер доходит до крайнего скептицизма. В этом отношении показательна заметка, которую приводит Деморе: “Бывает, что в защиту великолепной идеи приводятся слабые аргументы. А из слабых посылок выводятся (на практике) чудесные следствия”. В одной из глав “Бувара и Пекюше” говорится о “вред-

1. Кено пропустил слово “философский” при “значимости”. Письмо племяннице Каролине от 8 марта 1880 г. Перевод наш.

2. Письмо Ги де Мопассану от 21 января 1880 г. — С. 254. Мы восстанавливаем написание с прописных слов “Образование” и “Природа”.

3. Письмо племяннице Каролине от 4–5 января 1879 г. — С. 219, с изменениями.

4. Письмо г-же Роже де Женетт от 5 марта 1879 г. Перевод наш.

5. Письмо г-же Роже де Женетт от 13 марта 1879 г. — С. 232, с изменениями.

ном, но эффективном средстве”¹. <...> В “Буваре и Пекюше” заявляет о себе прагматизм — и пресловутая “глупость” двух чудаков есть не что иное, как жажда абсолюта, которую они надеются утолить посредством учебников и поверхностных занятий; они достигают мудрости (и полного отождествления со своим создателем) только тогда, когда составляют “Альбом” и “Словарь” и отказываются от выводов. Именно об этом, как мне кажется, говорит Флобер в письме к Буйе от 4 сентября 1850 года, которое могло бы стать лучшим предисловием к написанной через тридцать лет книге, завершить которую ему помешает смерть:

“Хорошо, что ты думаешь о ‘Лексиконе прописных истин’. Эта книга, если довести ее до конца и написать хорошее предисловие, где будет сказано, что труд этот имеет целью вернуть публику к традиции, к порядку, к общепринятым условностям, — да еще сделать ее² так, чтобы читатель не знал, издеваются ли над ним или всерьез пишут, — возможно, вызвала бы удивление и имела бы успех, ведь в ней все было бы злободневно. Если в 1852 году нас не ждет страшный разгром по случаю выборов президента, если буржуа, наконец, восторжествуют, то, быть может, мы еще продержимся лет сто³. Тогда, устав от политики, общество, возможно, пожелает развлечений литературных. От жизни деятельной мы обратимся к мечтам — тут-то настанет наш день! Если же, напротив, нас свергнут в будущее, кто знает, какая тогда возникнет Поэзия. <...>

Почему не удовольствоваться целью, нам доступной? Она ничем не хуже других. Если подойти беспристрастно, едва ли есть цели более плодотворные. Глупость состоит в желании делать выводы. Мы говорим себе: но ведь сама наша основа неустойчива; так на чьей же стороне правда? Я вижу прошлое в развалинах и будущее в зародыше; одно слишком старо, другое слишком юно. Все смешалось. Но надо признать, что бывают и сумерки, а не только полдень или полночь. <...>

Да, глупость состоит в желании делать выводы. Мы — всего лишь ниточка, а хотим видеть всю ткань. Это и приводит к вечным спорам об упадке искусства. Люди теперь только и знают, что говорить себе: у нас нет будущего, мы дошли до точки и т. д. и т. д. Бывало ли когда, со времен Гомера, чтобы художник с толикой разума делал выводы?”⁴

...О Гомер, родоначальник всей нашей литературы и всякого скептицизма и пра-пра-пра-пра...прадед “Бувара и Пекюше”.

1. Гл. X, в которой рассказывается, как Бувар и Пекюше учили Виктора и Викторину грамоте.

2. Флобер говорит не о книге в целом, а о предисловии, на что указывает окончание женского рода причастия “агtangée”, пропущенное Кено в цитате.

3. В издании Конара, которое цитирует Кено, — “bâtis” (*фр.*, букв. “крепко сложенный”), в издании “Плеяды” — “bâtés” (*фр.*, букв. “навыюченный”), что существенно меняет смысл: “...если буржуа, наконец, восторжествуют, то нас обуздают еще лет на сто”.

4. Письмо Луи Буйе от 4 сентября 1850 г. — С. 133–134, с изменениями.

РОЛАН БАРТ

Кризис истины

[249]

ИЛ 12/2021

Интервью¹

— Не является ли роман “Бувар и Пекюше” Флобера чем-то вроде “грядущей” Книги Малларме, только наоборот? Флобер хотел, чтобы после “Бувара и Пекюше” никто бы уже не решался писать, Малларме — создать книгу, которая бы заключала в себе все возможные книги.

Энциклопедии XVIII, XIX и даже XX века представляют собой свод знания или знаний. В контексте этой традиции случай Флобера, случай “Бувара и Пекюше” — случай фарсовый. Энциклопедизм здесь принимает комические, фарсовые формы. Но этот фарс имеет очень серьезную подоплеку: на место энциклопедии знаний встанет энциклопедия языков. Языки — вот что фиксирует, каталогизирует Флобер в “Буваре и Пекюше”.

Очевидно, что в той мере, в какой эта книга представляет собой ученый фарс, а проблема языка в ней выражена неявно, ее тон, *этос* кажутся очень неопределенными, и мы не можем сказать, насколько он серьезен.

— В одном из своих писем Флобер как раз говорит, что читатель никогда не узнает, издеваются над ним или нет².

Именно так большинство и воспринимают “Бувара и Пекюше”: к этой книге не получается относиться серьезно. Как не получается и обратное. Просто потому, что язык не принимает ничьей стороны: ни истины, ни заблуждения. Он — на обеих сторонах разом, и мы не понимаем, серьезен он или нет. Именно поэтому никто не может отождествить Флобера с автором “Бувара и Пекюше” — самой, как мне кажется, флоберовской книги. Флобер предстает в ней как “субъект высказывания” — совершенно определенный и неопределенный одновременно.

— Не эту ли комбинацию черт Флобер называет глупостью?

Она имеет отношение к глупости, однако слово это не должно нас завораживать, чего сам я, исследуя проблему глупости у Флобе-

© Éditions du Seuil, 1995

1. Интервью Ролана Барта Жан-Жаку Брошье, главному редактору журнала “Магазин литтерер”, для специального номера “Флобер сегодня” (январь 1976 года, № 108).

2. Письмо Флобера Луи Буйе от 4 сентября 1850 г., написанное в Дамаске. (Здесь и далее — прим. перев.)

ра, не избегал, но впоследствии осознал: важнее другое. Не только “Бувар и Пекюше”, но и “Госпожа Бовари”, и, главным образом, “Саламбо” Флобера буквально напицканы языками. Однако среди всех этих языков нет ведущего, главенствующего, преобладающего. Поэтому я бы сказал, что любимый жанр Флобера — не роман, а словарь. И в заглавии “Лексикон прописных истин” важны не “прописные истины”, а “лексикон”. Важность темы глупости несколько обманчива. Главная флюберовская книга — книга, которую он подспудно писал, — фразеологический словарь, словарь с цитатами, как, например, у Литтре.

— **Словарь связан с темой переписывания, которой открывается и завершается роман. Ведь что есть словарь, как не переписанные у других фразы?**

Конечно. Тема переписывания сама по себе огромна. Среди энциклопедических словарей есть очень интересные, такие как “Критический словарь” Бейля, появившийся в конце XVIII века. Однако у Флобера переписывание — действие бессодержательное, чисто механическое. Когда Бувар и Пекюше вновь принимаются за переписывание в конце романа, вся их деятельность сводится к жестам. Переписывать все без разбору — только бы рука повторяла привычное движение.

Исторически это момент кризиса истины, что находит выражение, к примеру, у Ницше, хотя Ницше и Флобер никак друг с другом не связаны. Именно тогда мы заметили, что не можем быть уверены в языке. Никто не поручится за язык, не найдет в нем опоры: наступает кризис современности.

Все, что с тех пор пишется, “страдает от нехватки смысла”, как удачно выразился Леви-Стросс. И это не значит, что тексты просто лишаются значения. Им недостает смысла: вместо смысла у них — тоска по смыслу. Так начинается безусловное поражение языка. Отныне акт письма мотивирует на та или иная причина, а потребность в смысле — так называемое означивание¹. Означивание языка — в отсутствие значения.

— **В новелле Б. Мориса “Два клерка”², послужившей Флоберу источником, главные герои, подобно Бувару и Пекюше, под конец вновь берутся за переписывание. Однако делают они это под диктовку. Так, принимая устную форму, язык, можно сказать, вновь выходит на первый план.**

Здесь мы затрагиваем вторую особенность “Бувара и Пекюше”, что делает этот роман загадочным, а некоторых отталкивает. Как вы знаете, многие, начиная с Сартра, не любят эту книгу. Мне ка-

1. *Fr. signifiante* — термин, которым французский лингвист Эмиль Бенвенист (1902–1976) дополнил сосюрровскую оппозицию “означаемое” — “означающее”.

2. Новелла Бартеlemi Мориса “*Deux greffiers*” была опубликована в “*La Gazette des tribunaux*” 14 апреля 1841 г.

жется, причина неудовольствия, которое испытывает большинство при чтении “Буvara и Пекюше”, кроется в отсутствии рецептивного плана, говоря лингвистическим языком: никто ни к кому не обращается, и мы не знаем, откуда исходит и куда направлено сообщение. Герои — неразлучная пара — образуют единое целое, но один отражается в другом, как в зеркале, и нам бывает довольно трудно их различить. На самом деле, если вчитаться, мы заметим, что они никогда друг к другу не обращаются. А мы даже не можем себя с этой парой неразлучных соотносить. Далекое, холодное, они не обращаются к читателю. Книга нам не адресована, и именно это может вызвать чувство неловкости у таких читателей, как Сартр; приведу его суждение о “Лексиконе прописных истин”: “Странное произведение: больше тысячи статей, но кто же примет это все на свой счет? Никто, разве что сам Гюстав”. Я бы продолжил: сам Гюстав также не становится объектом критики, не являясь “лицом”. На мой взгляд, в этом тексте удивительно именно исчезновение собеседника, адресата — между тем любая книга, даже написанная от третьего лица, обращена вовне; такова, в зачаточной форме, речь психически больного.

Когда психически больной человек говорит, он ни к кому не обращается, вот почему “Бувар и Пекюше”, при всей формальной традиционности, — безумная книга, в прямом смысле этого слова. Сходным образом поражает то, что Флобер исключает из нее акт дарения: Бувар и Пекюше никогда ничем не делятся. В известном эпизоде романа¹ они находят применение даже экскрементам — простейшая, с точки зрения современной теории, форма дара, — делая из них удобрение. Все может стать предметом обмена, все предназначается для обмена, говорится ввиду обмена, однако обмена никогда не происходит. Мир “Буvara и Пекюше” — мир стерильный, глухой, тусклый. Мастерство Флобера в этом романе — искусство эллипсисов, искусство классическое, однако флоберовские эллипсы ничего не подразумевают. Они — не более чем фигуры, что классическому, гуманистическому сознанию и даже обыкновенному современному сознанию представляется совершенно неприемлемым. “Бувар и Пекюше” — авангардное, в прямом смысле слова, произведение.

— Как если бы люди прекратили существовать и существовал только язык.

Да. Ваше определение звучит очень современно.

— Если в “Буваре и Пекюше” Флобер доходит до психоза, можно сказать, что его одержимость стилем, фразой имеет вполне невротическую природу.

Наследуя классической традиции, Флобер усваивает те принципы работы со стилем, что стали обязательными со времен Горация

1. Имеется в виду II глава романа, посвященная сельскому хозяйству.

и Квинтилиана: писатель — тот, кто неустанно совершенствует язык, форму. Флобер был этими принципами одержим. Примеров тому множество: Флобер мог, как он сам признавался, восемь часов редактировать пять страниц; во время работы над “Госпожой Бовари” целую неделю писать четыре страницы; потратить весь понедельник и вторник на две строчки и так далее. Такое культивирование формы отвечает категории *ужасного*¹. Ужасное есть абсолютное, упорное принесение себя в жертву пишущим: Флобер жил затворником в Круассе с тех пор, как ему исполнилось двадцать пять лет. Символом, эмблемой этого затворничества стала кровать — неотъемлемая часть обстановки его рабочего кабинета: на эту кровать он падал, когда в голове не оставалось больше мыслей, — это состояние он сам называл “*marginade*”².

В работе над стилем Флобера особенно мучили повторяющиеся слова и синтаксические переходы. Одержимый стилем, он доходил до иступления, стремясь доказать равноценность прозы и поэзии. Именно Флобер первым заявил о том, что писать прозу не менее трудно, чем стихи.

Все усилия Флобера сосредоточены на той единице текста, что обретает благодаря ему особое качество, — на фразе. Флоберовская фраза в высшей степени самодостаточна: она является одновременно единицей стиля — как в лингвистическом, так и в риторическом смысле; единицей писательского труда, поскольку количество написанных фраз становится для него мерой времени; а также единицей существования: во фразах — вся его жизнь. Флобер сумел выработать, как в теории, так и на практике, то, что Пруст назвал “особой материей”³ фразы, — ту особую материю, которую сам Пруст хорошо чувствовал и которой, по его же мысли, нет у Бальзака. Бальзаковская фраза, в отличие от флоберовской, не столь однозначно узнаваема. Подтверждением чему служит тот факт, что среди пастишей Пруста⁴, представляющих собой величайшие исследования стиля, наиболее совершенен флоберовский. “*Faire des*

1. В оригинале “*atrocse*”, слово самого Флобера, см. письмо Луизе Коле от 15 августа 1846 г.: “*On n’arrive au style qu’avec un labeur atrocse, avec une opiniâtreté fanatique et dévouée*” — “Стиль достигается только суровым, тяжким трудом, фанатичным и самоотверженным упорством”. (Г. Флобер. О литературе, искусстве, писательском труде: Письма; Статьи. В 2-х тт. — Т. 1. — М.: Художественная литература, 1984. — С. 80. Здесь и далее письма Флобера цитируются по указанному изданию.)

2. “*Маринад*” (*фр.*). У Флобера не встречается существительное “*marginade*”, которое приписывает ему Барт, однако в письме Эрнесту Шевалье от 12 августа 1846 г. используется глагол “*se mariner*” — мариноваться (*фр.*): “Работаю, читаю, немного занимаюсь греческим, твержу то Вергилия, то Горация и валяюсь на обитом зеленым сафьяном диване, который недавно себе заказал; обреченный мариноваться здесь, я постарался устроить себе банку по своему вкусу и живу в ней как мечтательная устрица”. — С. 77.

3. Выражение “*substance spéciale*” использовано М. Прустом в главе “Сент-Бёв и Бальзак” книги “Против Сент-Бёва”.

4. “Дело Лемуана”.

phrases” — вот чему, можно сказать, Флобер посвятил всю свою жизнь, как в прямом (“составлять фразы”), так и в переносном (“говорить пышными фразами”) смысле этих слов. Флоберовскую фразу ни с чем не спутаешь. Однажды Флобер написал: “Итак, я вернусь к своей жалкой жизни, такой обыденной и спокойной, где фразы — это приключения”¹. Почему флоберовская фраза определила ход его жизни и нашей литературы? Потому что она вывела на первый план сущностное противоречие языка. А именно: фраза поддается структурированию (что последовательно, вплоть до Хомского, доказывали лингвисты), и, поскольку у фразы есть структура, встает вопрос ценностного порядка: структура может быть плохой, а может быть хорошей, вот почему Флобер был одержим поисками хорошей; в то же время фраза по сути своей бесконечна. Ничто не вынуждает ее завершать, она может вступать в бесконечные “каталитические” реакции, присоединяя к себе новые элементы. И так — пока мы живы. Пример чему дает “Бросок костей” Малларме. Головокружение, испытываемое Флобером, сводится к двум взаимоисключающим установкам: “Наша цель — закончить фразу”, — и в то же время: “Ей нет конца”².

Отношение к стилю делает Флобера последним писателем классической эпохи, однако присущая ему чрезмерная, головокружительная, нервная требовательность к себе смущает умы классического склада, начиная с Фаге³ и заканчивая Сартром. Именно так, оказавшись на грани безумия, Флобер становится первым писателем современности. Флоберовское безумие не есть реализм, вызвано оно не воспроизведением и подражанием действительности, а письмом, языком.

1. Из письма Элизе Шлезингер от 14 января 1857 г. — С. 385.

2. В письме Луизе Коле от 22 июля 1852 г. Флобер, занятый исправлением первой части “Госпожи Бовари”, писал: “Какая подлая штука — проза! Никак не закончишь, всегда остается что переделывать”. — С. 201.

3. Эмиль Фаге (1847–1916) — литературный критик, историк литературы, член Французской академии, автор книги “Флобер” (1899).

ДАНИЕЛЬ ДЕФО

Из книги *Дальнейшие приключения Робинзона Крузо*

Глава XIII

Перевод с английского и вступление АЛЕКСАНДРА ЛИВЕРГАНТА

Сегодняшний читатель знакомится с “Дальнейшими приключениями Робинзона Крузо” в переводе З. Журавской, сделанном — страшно сказать — 117 лет назад, в 1904 году. Журавская, как в те времена было принято, обращалась с оригиналом не слишком бережно, легко расставаясь с не особенно аппетитными подробностями батальных сцен, богословскими дискуссиями, с описанием нравов туземных племен и хозяйства английских и испанских колонистов на острове Робинзона. От этих досадных, а иногда и уместных купюр, встречающихся едва ли не на каждой странице, шедевр Даниеля Дефо “похудел” чуть не вдвое. Пришло время восстановить переводческую справедливость.

В этом номере мы печатаем главу из “Дальнейших приключений”, полный же, “без изъятий и сокращений”, перевод романа выйдет в конце нынешнего или начале следующего года в московском издательстве “Текст”.

НА Мадагаскаре мы вынуждены были пробыть довольно долго, пока не запаслись провизией, и я, с присущим мне ненасытным любопытством, старался высаживаться на берег как можно чаще. Однажды вечером, когда мы высадились на востоке острова, нам навстречу высыпали туземцы, очень много туземцев. Держались они на расстоянии и не спускали с нас глаз. Но поскольку у нас состоялся товарообмен, с нами они обошлись хорошо, никакой опасности они не представляли. При виде туземцев мы срезали с дерева три ветки и воткнули их в землю — знак того, что за этими ветками заканчивается наша территория, а также символ перемирия и дружбы. Если противная сторона эти условия принимает, то она, в свою очередь, втыкает в землю три палки или ветки — это означает, что туземцы готовы поддерживать с нами дружественные отношения. Вместе с тем — и это главное условие перемирия — заходить за пределы сво-

ей территории мы права не имеем, равно как и они не должны переступать через свои воткнутые в землю ветки. На своей территории мы находимся в полной безопасности, расстояние между нашими и их ветками объявляется ничейной зоной, своего рода рынком для свободного обмена товарами. Заходя в ничейную зону, мы не должны брать с собой оружие, точно так же как и они, переступив через свое ограждение, втыкают копыя и пики рядом с ветками и входят на территорию рынка безоружными. Если же на туземцев совершается нападение, перемирие прекращается. Туземцы бегут обратно к своим веткам и расхватывают копыя и пики — войны не миновать.

Однажды вечером, когда мы в очередной раз съехали на берег, нам навстречу выбежало больше туземцев, чем обычно. Тем не менее и на этот раз вели они себя по-дружески: принесли различной провизии, а мы в ответ вручили им безделушки. Их женщины дали нам молоко и корнеплоды, и еще некоторые вещи, которые нам оченьгодились. Одним словом, все было тихо и мирно, мы сплели себе из древесных ветвей небольшой шалаш или хижину и улеглись спать на берегу.

Уж не знаю, по какой причине, но лежать на берегу вместе со всеми мне не хотелось. Наша лодка стояла на якоре в двух шагах от берега, ее сторожили два матроса, одного из них я отправил нарвать ветвей, устроил из них навес, разостлал на дне лодки парус и лег. Часа в два ночи на суше поднялся страшный шум, кто-то из наших звал на помощь, умолял поскорей привести лодку, иначе их всех перебьют. И в это же самое время раздались три выстрела из пяти мушкетов — именно таким числом ружей располагали наши люди. Как видно, здешних туземцев, в отличие от американских, испугать ружейными выстрелами было не так-то просто.

Все это время я не понимал, что происходит. Проснувшись от шума, я велел оставшемуся в лодке матросу немедленно грести к берегу; я решил взять из лодки три запасных ружья, выйти на берег и помочь своим товарищам.

Подплыв, мы увидели, что нам навстречу со всех ног бегут наши люди. Не дожидаясь, когда лодка достигнет берега, они бросились в воду, за ними гнались не меньше трехсот-четырёхсот туземцев, наших же было не больше девяти, к тому же ружья имелись лишь у пятерых, остальные были вооружены пистолетами и саблями, но толку от них было мало.

Мы втащили в лодку семь человек, что потребовало от нас немало усилий, ибо трое из семи были тяжело ранены. Еще хуже было то, что, втаскивая беглецов, мы поднялись на ноги и, таким образом, подвергались не меньшей опасности, чем те, кому мы пришли на помощь, ибо стрел на нас туземцы не жалели, и нам приходилось прикрываться от них скамейками и двумя-тремя незакрепленными досками, которые по чистой случайности (или это было Провидение?) нашлись на дне лодки.

Будь сейчас белый день, туземцы ни за что бы не промахнулись, они отличались такой меткостью, что попали бы в нас, даже если бы мы не стояли в лодке во весь рост. При свете луны мы их неплохо рассмотрели: они столпились у кромки воды и стреляли в нас с берега дротиками и стрелами. В свою очередь, и мы тоже перезарядили ружья и дали по ним залп; судя по жалобным крикам, несколько туземцев было ранено. Тем не менее уходить вглубь острова они не собирались, решив, как видно, дожждаться утра, чтобы при свете дня стрелять наверняка.

Мы лежали на дне лодки, не зная, как, не рискуя жизнью, поднять якорь и распустить паруса, ведь для этого понадобилось бы встать, и тогда бы они не упустили случая перестрелять нас, как охотники куропаток. Мы стали подавать на корабль тревожные сигналы, и мой племянник-капитан, хотя от берега до корабля было не меньше лиги, услышав выстрелы, разглядев в подзорную трубу, где мы находимся, и сообразив, что стреляли мы не с берега, а по берегу, — понял, как обстоит дело. Поспешно снявшись с якоря, он подвел судно как можно ближе к берегу и выслал нам на подмогу еще одну лодку с десятью матросами. И хотя мы кричали им, чтобы они не подплывали слишком близко, хотя давали понять, в каком положении оказались, они подошли к нашей лодке, и один из матросов, зажав в руке веревку, бросился вплавь, чего туземцы не могли не видеть, и, добравшись до нашей лодки, привязал к ней другой конец веревки, после чего перерезал канат, на котором держался якорь, и матросы с корабля оттащили нас на буксире на такое расстояние от берега, что стрелы туземцев больше до нас не долетали. Мы же все это время неподвижно лежали, прикрывшись досками и скамейками.

Как только мы оказались на полпути между кораблем и берегом, капитан повернул корабль боком и обрушил на туземцев шквальный огонь, и залп этот посеял в их стане невероятную панику.

Поднявшись на борт и ощутив себя в безопасности, мы задумались, чем было вызвано подобное нападение, и наш торговый агент, не раз бывавший в этих местах, заверил меня, что островитяне после заключения перемирия ни за что бы нас не тронули, если бы мы сами не подали им повод. Вот что в конечном счете выяснилось: старуха, носившая нам молоко, захватила накануне с собой молодую женщину с корнями и травами на продажу. И пока старуха — приходилась ли она матерью девушки или нет, осталось неизвестным — продавала нам молоко, один из наших матросов начал с девицей довольно грубо заигрывать. Старуха подняла шум, однако матрос свою добычу не выпустил и на глазах у старухи, пользуясь тем, что уже стемнело, отвел свою жертву за деревья. Старуха ушла без нее и, судя по всему, в тот же вечер переполошила всю округу. Не прошло и трех-четырех часов, как туземцы, выслушав старуху, снарядили против нас целую армию, и мы чудом остались живы.

Один из наших людей был убит дротиком в самом начале, когда вылезал из шалаша, в котором устроился на ночь. Все остальные уцелели, если не считать виновника всей этой заварухи, — чернокожая подруга обошлась ему дорого. Долгое время мы не знали, что с ним, и, несмотря на попутный ветер, задержались на Мадагаскаре еще на два дня: давали пропавшему матросу сигналы, несколько раз проплыли на лодке вдоль берега, по две-три мили в одну и другую сторону — тщетно. И в конце концов были вынуждены поиски прекратить. Как скоро выяснится, от его выходки пострадает не он один.

Эта история не давала мне покоя, и вечером, на третий день после боя, я решил напоследок вновь побывать на берегу и попытаться выяснить, что же случилось с нашим матросом, какой урон мы нанесли индейцам и как они восприняли произошедшее. Ночное время я выбрал, поскольку боялся, как бы туземцы во второй раз на нас не напали. Не доверять людям, с которыми я пускаюсь в столь рискованное предприятие, я не мог, а потому отобрал два десятка самых надежных и отчаянных матросов, взял с собой торгового агента, и за два часа до полуночи мы высадились в том самом месте, где вечером того дня, когда я впервые ступил на берег, сбежались туземцы. Место это я выбрал в основном, чтобы убедиться, ушли ли туземцы и не собираются ли они мстить нам и в дальнейшем. Мне пришло в голову, что если бы нам удалось взять в плен одного-двух туземцев, то мы могли бы обменять его на нашего пропавшего товарища.

Стараясь не шуметь, мы высадились на берегу и разделились на два отряда, один возглавлял боцман, вторым командовал я. В темноте никого не было ни видно, ни слышно, мы двинулись гуськом вглубь острова, держась на почтительном расстоянии друг от друга, и тут боцман, он шел впереди, споткнулся и упал на лежащий у него под ногами труп туземца. Отряд остановился, мы находились в том самом месте, где несколько дней назад стояли туземцы. Я догнал боцмана, и мы решили дождаться, когда взойдет луна, что должно было произойти меньше чем через час. При свете луны мы воочию увидели, какие жертвы туземцы понесли. На земле лежали тридцать два трупа — двое, впрочем, были еще живы. Кому-то оторвало руку, кому-то ногу, а одному туземцу — голову. Раненых, надо полагать, они унесли с собой.

Удовлетворив свое любопытство, я решил вернуться на корабль, но боцман заявил, что он со своим отрядом пойдет дальше, в селение, где живут, как он выразился, “эти собаки”, и стал уговаривать меня пойти с ними. Там, предположили они, наверняка будет чем поживиться и, очень может быть, найдется Томас Джеффри — так звали пропавшего матроса.

Если бы они спросили у меня разрешения, я бы ни минуты не колебался с ответом и приказал им немедленно воротиться на берег, ибо понимал, что в противном случае мы подвергаемся большому риску,

ведь на корабле нас ждут, мы отвечаем за товар на борту, нам предстоит долгое путешествие, и его успех целиком зависит от безопасности экипажа. Но поскольку они сообщили мне, что вознамерились идти дальше, и просили всего-навсего их сопровождать, я ответил отказом и поднялся с земли (ибо все это время сидел, а не стоял), чтобы пуститься в обратный путь к нашей лодке. Один или два матроса начали меня уговаривать пойти с ними, а когда я сказал “нет”, стали ворчать, что мне они не подчиняются и к туземцам пойдут в любом случае. “Что скажешь, Джек? — подал голос один из матросов. — Пойдешь со мной?” — “Я-то пойду, нет вопросов”, — отозвался Джек. Вслед за Джеком вызвался пойти еще один матрос, потом еще один, и вскоре меня покинула вся команда, кроме одного матроса, которого я уговорил остаться, а также юнги, дожидавшегося нас в лодке. Прежде чем вернуться на берег вместе с торговым агентом и матросом, я передал боцману и его людям, что мы будем ждать их в лодке и возьмем на борт всех, кто останется в живых, и предупредил, что идти к туземцам — чистое безумие, и их ждет судьба Томаса Джеффри.

На это они ответили, что дают слово моряка обязательно вернуться, что примут все меры предосторожности и т. д. С этими словами они ушли, не прислушиваясь к голосу рассудка и моим уговорам. Что я им только не говорил! Чтобы они подумали о корабле и предстоящем путешествии. Что корабль доверили им. Что если они не вернуться, корабль, лишившись их помощи, погибнет. И что они отвечают за него перед Богом и людьми. Говорил я и многое другое, но с тем же успехом мог обращаться к грот-мачте; они настроились идти в селение, умоляли меня на них не сердиться и клятвенно пообещали, что будут предельно осторожны и вернуться самое большее через час, ибо, сказали они, город находится не дальше чем в миле отсюда. Как впоследствии выяснилось, до города надо было идти больше двух миль.

И с этими словами они отправились в путь. Только сумасшедшему могло прийти в голову совершить подобную эскападу. Вместе с тем им следует отдать должное: они продемонстрировали не только отвагу, но и предусмотрительность. Вооружены они были и в самом деле превосходно: у каждого было с собой по ружью или мушкету с примкнутым штыком, у каждого имелся пистолет, у некоторых были широкие тесаки, у других кортики, у боцмана же и еще двух матросов из-за пояса торчали бердыши, запаслись они и ручными гранатами. На свете не было более отважных и лучше вооруженных людей, которые решились бы на более отвратительный поступок.

Их целью был грабеж, в этом сомневаться не приходилось. Они очень рассчитывали разжиться у индейцев золотом, однако одно непредвиденное обстоятельство пробудило в них жажду мести, превратило в сущих дьяволов. Начать с того, что их постигло разочарование. Когда они дошли до селения, то увидели, что это никакой не

город — было в нем всего-то двенадцать-тринадцать домов; где находится город, большой ли он, они не знали. Они стали совещаться, как поступить, однако решение приняли далеко не сразу. В самом деле, если им встретятся туземцы, то придется их зарезать всех до одного, но ведь наверняка найдется хотя бы один, который сумеет убежать под покровом ночи, даже если выйдет луна. Он спасется бегством, перебудит весь город, и тогда на них набросится целая армия местных жителей. С другой стороны, если они сейчас уйдут и никого не тронут, не у кого будет спросить, как добраться до города.

После долгих раздумий они все же выбрали второй вариант, решив туземцев не трогать и искать дорогу в город самим. Через некоторое время они увидели привязанную к дереву корову и сообразили, что корова может оказаться хорошим поводырем, ибо, подумали они, корова наверняка живет либо в городе, который находится впереди, либо в городе, который находится сзади, и, если ее отвязать, они увидят, куда она пойдет; пойдет назад — значит, город сзади; пойдет вперед — значит, город впереди, они же в любом случае последуют за ней. Они отрезали сплетенную из плитняка веревку, корова пошла вперед и привела их напрямиком в город, состоявший, по их словам, из двухсот с лишним домов или хижин. В некоторых домах ютилось сразу несколько семей.

Город мирно спал — как спят люди, не помышляющие о близости врага. Тут матросы вновь стали совещаться и решили, что разделятся на три отряда и подожгут три дома в трех разных концах города, когда же туземцы выбегут наружу, схватят их и свяжут. Если туземцы окажут им сопротивление, то церемониться с ними они не станут, после чего пойдут грабить еще не сгоревшие дома. В город, решили они, мы войдем без шума, чтобы сориентироваться, большой ли он и сможем ли мы им овладеть.

Так они и поступили. И пока остальные подзуживали друг друга, три шедшие впереди матроса громкими криками подозвали товарищей — они нашли Томаса Джеффри. Шедшие сзади к ним подбежали и действительно увидели беднягу: Джеффри, совершенно обнаженный, с перерезанным горлом, был повешен за руку на дереве. Возле дерева находился дом, где шестнадцать или семнадцать главных индейцев обсуждали вчерашнюю схватку; двое или трое из собравшихся в доме были ранены. Видно было, как они сидят без сна и о чем-то говорят, но сколько всего было туземцев, матросы не знали.

При виде своего замученного товарища они пришли в такую ярость, что поклялись за него отомстить. Пусть только туземец попадет им в руки — ему не жить. После чего тотчас же приступили к делу, однако действовали осмотрительно, чего от охваченных слепой яростью людей трудно было ожидать. В первую очередь надо было озаботиться тем, чтобы как можно быстрее разжечь огонь. Но вскоре матросы сообразили: сделать это — пара пустяков: низкие дома

были крыты плитняком или камышами, на острове они росли в избытке. Замочив немного пороху в ладонях, матросы получили зажигательную смесь, которая зовется у нас “греческим огнем”, и через четверть часа подожгли город в четырех или пяти местах, начали же с дома, где туземцы сидели без сна и разговаривали. Как только огонь вспыхнул, бедные, перепуганные туземцы бросились вон из дома, но на улице вместо спасения их ожидала смерть. Столпившихся в дверях загоняли обратно и безжалостно с ними расправлялись, сам боцман убил одного или двух индейцев ударом бердыша. Дом был большой, индейцев в нем собралось много, и боцман, не решившись войти, швырнул внутрь ручную гранату; сперва туземцы лишь перепугались, но когда граната взорвалась, то поднялся чудовищный переполох, несчастные метались по дому и истошно кричали.

Большинство туземцев, находившихся в открытой части дома, были убиты или ранены взрывом гранаты, еще двое или трое бросились к двери, где боцман и трое матросов, стоя на пороге, приканчивали их штыками. Имелась в доме и еще одна комната, где в окружении нескольких туземцев сидел их царь или повелитель — не знаю, как он у них называется. Наши люди не выпускали их из дома, который вскоре был охвачен пламенем, — крыша провалилась, и туземцы вместе со своим повелителем либо задохнулись в дыму, либо сгорели живьем.

За все это время матросы не выстрелили ни разу — не хотели преждевременно туземцев будить. Разбудило их бушевавшее пламя, дома из легко воспламеняющегося материала вспыхивали как свечки, жар от пламени был так велик, что даже на улице находиться было невозможно. Наши люди подбегали к загоревшимся домам и, когда туземцы в страхе выбегали наружу, наносили им удары по голове, призывая друг друга помнить, что случилось с Томасом Джеффри.

Мне, должен признаться, было в это время очень не по себе, тем более когда я увидел над городом вздымавшиеся в ночное небо языки пламени.

Матросы на корабле разбудили моего племянника-капитана, и тот, увидев пожар, тоже забеспокоился. В чем дело, он не знал и, услышав выстрелы, испугался за меня и за нашего торгового агента. В конце концов он не выдержал и, хотя людей на борту оставалось совсем мало, взял с собой тринадцать матросов, сел в баркас и поплыл ко мне на помощь.

Обнаружив в лодке на берегу лишь меня, торгового агента и двух матросов, он очень удивился и, хотя был рад найти нас в добром здравии, хотел поскорей узнать, что происходит, — тем более что шум не утихал и пожар разрастался. Думаю, никому на свете не удалось бы в подобных обстоятельствах справиться с желанием узнать, что произошло, и не озаботиться безопасностью своих людей. А потому капитан сказал мне, что пойдет матросам на помощь, — и будь что будет. Я пытался его отговорить теми же доводами, что недавно приводил

матросам. Говорил, что он отвечает за безопасность корабля, что предстоящее плавание таит в себе немало опасностей, что он в ответе перед владельцами судна и купцами. И в заключение сказал ему, что вместо него в город пойду я с двумя матросами. Мы посмотрим издали, что происходит, сразу же вернемся и всё ему расскажем.

Уговорить капитана оказалось, однако, делом столь же безуспешным, что и матросов, он заявил, что пойдет обязательно и жалеет лишь о том, что на корабле осталось не более трех десятков человек. Сказал, что никогда не оставит своих людей в беде, что ради них готов пожертвовать кораблем, плаванием и самим собой. И с этими словами ушел.

Теперь мне хотелось сопровождать его в охваченный пожаром город не меньше, чем уговаривать туда не ходить. Капитан приказал двум матросам плыть на его баркасе обратно на корабль и привезти оттуда еще двенадцать человек. Баркас он велел поставить на якорь, распорядился, чтобы шесть матросов остались караулить лодку и баркас, а остальные шли с ними. На корабле тем самым из шестидесяти пяти человек оставалось всего шестнадцать; двое пали в недавней схватке, с которой, собственно, все и началось.

Мы шли, не разбирая дороги, в направлении горевшего города. Если раньше мы вздрагивали от грохота выстрелов, то теперь — от доносившихся до нас криков бедных туземцев, крики эти наполняли ужасом наши сердца. Признаюсь, никогда раньше не доводилось мне быть свидетелем разграбления города или взятия его штурмом. Я слышал, что Оливер Кромвель захватил ирландский город Дрогеду и перебил тысячи мужчин, женщин и детей. Я читал о графе Тилли, который разграбил Магдебург, перерезав глотки двадцати двум тысячам человек обоего пола. Но я никогда не представлял себе, что происходит после того, как город берут штурмом, какой ужас охватывает, когда узнаешь подробности кровавых бесчинств.

Наконец мы добрались до города, но из-за пожара войти в него смогли с трудом. Первое, что попало нам на глаза, были развалины хижин или дома, а вернее — груда пепла, от него оставшаяся. Рядом с домом при свете пожара мы увидели на земле семь трупов, четверо убитых мужчин и три женщины, еще двое лежали среди догорающих развалин. Иначе говоря, мы стали свидетелями такой варварской расправы, такой бесчеловечной свирепости, что трудно было поверить, будто это дело рук наших людей. Не вызывало сомнений: каждый из них заслуживает за содеянное самой лютой казни. Но это было еще не все: пожар разгорался, и чем яростнее гудело пламя, тем громче становились крики индейцев. От этого зрелища мы пришли в полное смятение и окончательно растерялись. Мы прошли немного дальше и, к своему удивлению, увидели трех голых женщин, они испускали отчаянные крики и бежали с такой прытью, словно за плечами у них были крылья. Вслед за ними, охваченные не меньшим

ужасом, бежали шестнадцать или семнадцать туземцев, а позади них трое мясников-англичан — назвать их иначе язык не поворачивается. Когда им не удавалось догнать убежавших, они принимались в них стрелять, и один туземец упал замертво на наших глазах. Завидев нас, беглецы вообразили, что и мы такие же их враги, как и те, кто за ними гонится, и что мы точно так же собираемся их убить, и подняли отчаянный вопль, в особенности женщины, две из них рухнули на землю, будто у них от страха разорвалось сердце.

При виде этого зрелища у меня сжалось сердце, кровь застыла в жилах, и, если бы матросы во главе с боцманом к нам подбежали, я приказал бы своим людям пристрелить всех троих. Мы стали делать знаки беглецам, давая им понять, что не желаем им зла, и они тотчас бросились к нам и, упав на колени и воздев руки, стали умолять их спасти. Мы попытались им объяснить, что они в безопасности, и, сбившись в кучу, они последовали за нами в надежде на нашу защиту. Тут я расстался со своими матросами, велел им туземцев не трогать и, если получится, узнать у людей боцмана, что за дьявол в них вселился, что они затеяли, и приказать им немедленно прекратить резню, ведь в противном случае с наступлением утра против них выступит стотысячная армия туземцев. Итак, я расстался со своей командой и, взяв с собой всего двух матросов, отправился к беглецам. Сколь же жалкое зрелище они собой являли! У одних были обожжены ноги, у других обгорели руки, одна женщина упала в огонь и чуть не сгорела. У троих мужчин на спине и на бедрах оставались следы от сабельных ударов, нанесенных преследователями. Один индеец был ранен пулей навывлет и умер у меня на глазах.

Мне не терпелось узнать, что же произошло, но я не понимал ни слова из того, что мне говорилось; судя по знакам, некоторые туземцы и сами не догадывались, в чем дело. Чудовищная жестокость боцмана и его людей не укладывалась у меня в голове, я не мог заставить себя слушать, что говорят потерпевшие, а потому вернулся к своей команде и объявил матросам о своем решении, невзирая на пожар, пробраться в центр города и любой ценой прекратить бесчинства. Я приказал матросам следовать за мной, и тут, в эту самую минуту, мы увидели четверых негодяев с боцманом во главе: в залитой кровью, покрытой пылью одежде, они брели по улице, переступая через трупы своих жертв и озираясь по сторонам, словно выискивая, кого бы еще убить. Мои люди стали кричать им что было мочи, одному удалось, хоть и не без труда, до них докричаться, они нас узнали и двинулись в нашу сторону.

Боцман не скрывал своей радости, он, по-видимому, решил, что мы пришли ему на помощь. «Капитан, — воскликнул он, не дав мне раскрыть рот. — Благородный капитан! Как же я рад, что вы пришли! Мы ведь еще не сделали и половины дела. Мерзавцы! Гнусные псы! Я перебыю их столько, сколько было волос на голове у бедного Тома! Мы

покаялись никого не щадить, и мы сотрем их с лица земли!” Он тяжело дышал и говорил не переставая, не позволив нам слово вставить.

Наконец, возвысив голос, чтобы заставить его замолчать, я сказал: “Изверг! Что ж ты творишь?! Слышишь, под страхом смерти я запрещаю тебе бесчинствовать. Приказываю не трогаться с места, или я убью тебя как бешеную собаку!” — “Вы что ж, не знаете, сэр, что они натворили? Если хотите знать, почему мы так поступаем, идите-ка сюда”. И он указал мне на бедного Томаса, висевшего на дереве с перерезанным горлом.

Признаться, это зрелище и меня тоже не оставило равнодушным. В другое время я бы не допустил, чтобы подобный поступок остался безнаказанным, однако в своем желании отомстить они зашли слишком далеко, мне вспомнились слова Иакова, обращенные к его сыновьям Симеону и Левию: “Да будет проклят их гнев, ибо он был свиреп, и месть их, ибо она была жестока”. У меня появилась еще одна забота: теперь, когда люди, пришедшие со мной, увидели то, что увидел я, удержать их от кровопролития было не легче, чем боцмана и его матросов. Даже мой племянник и тот был на их стороне; выслушав их, он сказал мне, причем громко, чтобы все слышали, что боится только одного — чтобы дикари не взяли над нашими матросами верх. Что же касается самих дикарей, то, по его мнению, они, все до одного, пощады не заслуживают: они запятнали себя убийством бедного Тома и должны за это ответить. Слова капитана не прошли даром: восемь моих матросов тотчас же бросились вслед за боцманом и его людьми, чтобы довершить начатое. Осознав, что остановить их мне не под силу, я ушел, задумавшись и расстроившись: зрелище бойни произвело на меня неизгладимое впечатление, тем более — крики несчастных созданий, ставших жертвами членов нашего экипажа.

На берег вместе со мной вернулись только торговый агент и два матроса. С моей стороны было крайне легкомысленно возвращаться обратно всего с тремя спутниками. Начинало светать, вся округа была поднята на ноги, в небольшом селении у меня на пути, о котором уже шла речь, где было всего-то двенадцать-тринадцать домов, собралось человек сорок индейцев, вооруженных копьями и луками. Однако по чистой случайности я обошел селение стороной и уже при свете дня вышел прямо на берег, сел в баркас и, поднявшись на борт корабля, тут же отослал баркас обратно на тот случай, если он понадобится нашим матросам.

С корабля было видно, что пожар стих, да и шум почти совсем прекратился, однако не прошло и получаса, как до меня донеслись ружейные выстрелы и над деревьями повис густой дым. Как впоследствии выяснилось, наши люди на обратном пути столкнулись с туземцами в том самом небольшом селении по дороге в город. Шестнадцать или семнадцать человек они застрелили, дома подожгли, но женщин и детей не тронули.

Когда баркас подошел к берегу, начали возвращаться и наши матросы, но возвращались они не двумя отрядами и не строем, как прежде, а небольшими, разрозненными группами, вразброд — десятку решительных людей перебить их ничего не стоило.

Но наши люди навели страх на всю округу, туземцы были так потрясены и напуганы, что при виде пятерых матросов сотни туземцев разбежались бы врассыпную. И действительно, среди них не нашлось ни одного, кто бы оказал нашим людям малейшее сопротивление. Чудовищный пожар и неожиданное, под покровом ночи, вторжение застали их врасплох. Если они бежали в одну сторону, им навстречу шел один отряд вооруженных людей, если бежали обратно — другой; смерть поджидала их на каждом шагу. Наши же совершенно не пострадали; один матрос, правда, подвернул ногу, а второй сильно обжег руку.

Я был очень сердит на своих людей и особенно на племянника. И за то, что он пренебрег обязанностями капитана, который отвечает за порядок на корабле, и за то, что он не только не сдерживал людей, но и подстрекал их устроить кровавую резню. На все эти обвинения мой племянник с достоинством отвечал, что когда он увидел тело бедного Томаса, которого туземцы лишили жизни с такой садистической жестокостью, то потерял над собой власть и оказался не в силах управлять своими чувствами. Он готов был признать, что как капитан корабля не имел права так поступить, но ведь он еще и человек и, будучи человеком, он поддался эмоциям, не сумел взять себя в руки. Что же до матросов, то вам, сказал он, они не подчиняются и хорошо это знают, а потому на ваше недовольство они не обратили никакого внимания.

На следующий день мы подняли паруса и простились с Мадагаскаром. Потери туземцев оценивались по-разному, одни называли одну цифру, другие другую, но если сопоставить все, что говорилось, то получится, что мы убили и ранили в общей сложности человек сто пятьдесят — мужчин, женщин и детей, и в городе не осталось ни одного уцелевшего дома.

Что же до бедного Томаса Джеффри, то индейцы перерезали ему горло так глубоко, что голова могла в любую минуту отвалиться, и поэтому было решено труп с собой не уносить, а оставить там, где его нашли, только снять с дерева, на котором он был повешен за руку.

Что бы там наши люди ни думали о расправе, которую учинили, я был на сей счет другого мнения и потом не раз говорил им, что той ночью они совершили кровавое преступление. Верно, индейцы убили Тома Джеффри, но ведь верно и то, что Джеффри был насильником, он нарушил перемирие и изнасиловал или соблазнил молодую женщину их племени, которая ни в чем перед нами не провинилась и пришла продавать свой товар в полном соответствии с достигнутой договоренностью.

Боцман, когда мы все собрались на корабле, доказывал свою правоту, в действительности, говорил он, не мы, а индейцы нарушили перемирие, ведь это они первые прошлой ночью развязали войну, напали на нас и безо всякого повода убили одного из наших людей — а значит, мы были вправе сразиться с ними и проучить их, пусть и таким варварским способом. Да, бедняга Джеффри распустил руки, это правда, но нельзя было его за это убивать, да еще с такой жестокостью. А потому, сказал боцман, мы поступили по справедливости, ибо, по закону Божьему, убийство — преступление непростительное.

Случай на Мадагаскаре должен был научить нас не иметь дела с язычниками и варварами, не высаживаться там, где живут дикие племена. Но научить человека мудрости невозможно — разве что ценой его собственной жизни; приобретенный нами опыт тем полезнее, чем дороже он нам обошелся.

Теперь наш путь лежал в Персидский залив, а оттуда на Коромандельский берег с остановкой в Сурате. Но главной целью нашего торгового агента был Бенгальский залив, откуда, если там ему не удастся распродать свой товар, он собирался отправиться в Китай, а в Бенгальский залив вернуться по дороге домой.

Первое несчастье случилось с нами в Персидском заливе, где пятеро членов нашего экипажа, рискнув выйти на берег с арабской стороны залива, были окружены арабами и либо убиты, либо отданы в рабство. Остальные сошедшие на берег не смогли спасти своих товарищей, они и сами спаслись с трудом, в последний момент вскочив в лодку и уплыв на корабль. Я вновь принялся упрекать матросов, говоря, что это Небеса мстят им за их преступление, но тут боцман, разгорячившись, заявил, что в своем порицании я зашел слишком далеко и не могу подкрепить сказанное словами из Священного Писания. И он привел мне тринадцатую главу Евангелия от Луки, стих четвертый, где Спаситель говорит, что те люди, на которых упала Силоамская башня, были не более греховны, чем другие галилеяне¹. Возразить мне на это было нечего: ни один из пятерых погибших или проданных в рабство не высаживался на берег на Мадагаскаре и не принимал участие в Мадагаскарской резне (как я назвал расправу с туземцами, хотя нашим людям такое название определено претило). Это обстоятельство, повторюсь, вынудило меня до поры до времени этой теме не касаться.

1. “Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?” Лук. 13:4. (Прим. перев.)

ЕВГЕНИЙ БЕРКОВИЧ

Томас Манн и Первая мировая война

После убийства в Сараеве 28 июня 1914 года наследного принца Австро-Венгрии Фердинанда и его супруги все в Европе с ужасом говорили о войне, хотя только немногие верили, что она в самом деле произойдет. Этот необоснованный оптимизм европейцев понятен, ведь последняя война на континенте закончилась в 1871 году, за четыре года до рождения Томаса Манна, и более сорока лет Европа наслаждалась миром. Прозрение наступило только тогда, когда ударил первый гром.

То лето Томас Манн проводил с семьей в своем загородном доме в Бад-Тельце. Оттуда 30 июля, за один день до вступления Германии в войну, он писал старшему брату:

Известие о мобилизации мы получили сегодня после полудня. Последовало, правда, опровержение, но похоже все-таки, что оно останется в силе недолго. Только что нам сказали, что через несколько часов будет прекращена телефонная и телеграфная связь с Мюнхеном, поскольку линию надо освободить для военных нужд. До такого еще не доходило на нашей памяти. Хочется знать, что ты испытыва-

ешь. Я, признаюсь, потрясен и пристыжен ужасным натиском действительности. До сегодняшнего дня я был оптимистичен и недоверчив — слишком штатская душа, чтобы счесть возможной такую чудовищность. И я все еще склонен верить, что дойдут лишь до определенной точки. Но кто знает, какое безумие может охватить Европу, если она закусит удила!¹.

Однако худшее случилось: Европа “закусила удила”, и все новые и новые страны втягивались в воронку мировой бойни. Дошла очередь и до Германии. Были мобилизованы и призваны в армию младший брат Томаса и старший брат Кати — Хайнц. Жар начинающейся войны быстро дошел до благополучных семей Прингсхаймов и Маннов и заставил по-новому взглянуть на реальность. В своем автобиографическом “Очерке моей жизни”, написанном в 1930 году, писатель вспоминает:

Как обстояло дело в Германии, во всем мире, об этом мы получили представление, когда, чтобы попрощаться с моим младшим бра-

1. Генрих Манн — Томас Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество. Переписка. Статьи. — М.: Прогресс, 1988. — С. 155.

том, в качестве артиллериста медленно назначенным на фронт, поехали в Мюнхен и очутились в раскаленной зноем сутолоке вокзалов, забитых людьми, посреди взбодраженной, страхом и воодушевлением влекомой толпы. Рок вершил событиями¹.

Через неделю после начала войны Томас уже полностью определил свое отношение к случившемуся. В письме Генриху от 7 августа он признается:

Я все еще как во сне — и все же, наверно, должен теперь стыдиться, что не считал этого возможным и не видел неизбежности катастрофы. Какое испытание! Как будет выглядеть Европа, внутренне и внешне, когда все пройдет? Я лично должен приготовиться к полной перемене материальной основы своей жизни. Если война затянется, я буду почти наверняка, что называется, “разорен”. Ради бога! Что это значит по сравнению с переворотами, особенно психологическими, которые последуют за подобными событиями по большому счету! Не впору ли быть благодарным за совершенно неожиданную возможность увидеть на своем веку такие великие дела? Главное мое чувство — невероятное любопытство и, признаюсь, глубочайшая симпатия к этой ненавистной, роковой и загадочной Германии, которая, хоть доселе она и не считала “цивилизацию” высшим благом, пытается, во всяком случае,

разбить самое подлое в мире полицейское государство¹.

Уже в эти дни стала углубляться пропасть между братьями в оценке “германской войны”. Если Томас разделял с миллионами сограждан “глубочайшую симпатию” к своей воюющей родине, Генрих открыто призывал к поражению Германии и считал, что “война ведется... одной лишь буржуазией в интересах ее кармана и ее идеологии, которая так великолепно способствует его пополнению”. Даже мать братьев, Юлия Манн, увещевала своего старшего сына “не говорить с чужими людьми дурно о Германии”².

Вернувшись в Мюнхен, Томас риторически спрашивает брата в письме от 18 сентября: “неужели ты действительно думаешь, что эта великая, глубоко порядочная, даже торжественная народная война отбросит Германию в ее культуре и цивилизованности так далеко назад...”³

После этого переписка братьев прекратилась на долгие три года, а настоящее примирение состоялось только в 1922 году, уже в другом политическом ландшафте их родины.

Признанный негодным к строевой службе, Томас сам себе поставил личное боевое задание: оправдать позицию Германии в начавшейся “глубоко порядочной” войне. И писатель, отложив все остальные литературные дела, с жаром взялся за это не просто трудное, но, скорее всего, невыполни-

1. Томас Манн. Очерк моей жизни. В кн.: Томас Манн. О себе и собственном творчестве. Статьи. Собрание сочинений в 10-ти тт. — Т. 9. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. — С. 124.

1. Генрих Манн — Томас Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество. Переписка. Статьи. — С. 156.

2. Там же, с. 431—432.

3. Там же, с. 158.

мое поручение. В автобиографии он вспоминал: “Я был ‘призван’ не государством и не военным командованием, а самим временем”¹.

Первым результатом его усилий стал очерк “Мысли во время войны”, написанный между серединой августа и началом октября и опубликованный в ноябре 1914 года в журнале “Die neue Rundschau”.

Суть конфликта, в который оказался втянутым весь мир, Томас Манн определил как борьбу “культуры” с “цивилизацией”. При этом Германия билась за культуру, а страны Антанты — за цивилизацию. Эти два понятия лишь на первый взгляд кажутся синонимами. На самом деле, как попытался Томас Манн обосновать в очерке, они глубоко различны. В древности многие народы обладали своей культурой, но вряд ли их, кроме китайцев, можно назвать цивилизованными, поясняет Манн. По его словам, “культура — это вовсе не противоположность варварства; часто это лишь стилистически цельная дикость... Это законченность, стиль, форма, осанка, вкус, это некая духовная организация мира”. В отличие от культуры, “цивилизация — это разум, просвещение, смягчение, упрощение, скептицизм, разложение”². Современная цивилизация, которую насаждают страны “крайнего Запада”, — враг древней духовной культуры, за которую воюет Германия. Культура и политика — антиподы, при-

чем культура имеет перед политической приоритет. Именно поэтому немцы в этой войне, считает Манн, сражаются за правое дело, и он готов на любые лишения ради того “переворота в душах людей”, который последует за их победой.

За пределами Германии лишь немногие разделяли позицию немецких патриотов, которую кроме Томаса Манна отстаивали другие известные литераторы — Герхарт Гауптман, Райнер Мария Рильке, Альфред Керр, Роберт Музиль, Карл Вольфскель и др. Европейские интеллектуалы решительно осуждали “немецкое варварство”. Германия нарушила в августе четырнадцатого нейтралитет маленькой Бельгии, бомбардировала ее города, превратив в горы пепла бесценные памятники культуры. “Чьи внуки вы — Гёте или Атилла?” — спрашивал Ромен Роллан в знаменитом открытом письме Герхарту Гауптману от 29 августа 1914 года¹. Своим очерком “Мысли во время войны” Томас Манн однозначно поставил себя и Романа Роллана по разные стороны баррикад.

Позицию автора “Будденброков” в отношении мировой войны немцы немедленно заметили в Европе. Ромен Роллан в публицистической книге “Над схваткой” написал, что Томас Манн “уподобился бешеному быку, который, пригнув голову, несется на шпагу матадора”². В России А. В. Луначарский, готовя в 1915 году ре-

1. Томас Манн. Очерк моей жизни. — С. 125.

2. Thomas Mann. Gedanken im Kriege. In: Thomas Mann. Essay II. 1914–1926. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke — Briefe — Tagebücher. Band 15.1, S. 27 — 46. — Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag, 2002. — S. 27.

1. Ромен Роллан. Открытое письмо Герхарту Гауптману. В кн.: Ромен Роллан. Собрание сочинений. — Т. XVIII. — Л.: ГИХЛ, 1935. — С. 11.

2. Томас Манн. Размышления аполитичного. — М.: Издательство АСТ, 2015. — С. 44.

цензию на книгу Генриха Манна, рисует его младшего брата каким-то психом: “В настоящее время Томас Манн является совершенно сумасшедшим шовинистом, истерические вопли которого даже в глазах самых заядлых пангерманистов кажутся компрометирующими”¹.

Анатолий Васильевич, конечно, погорячился. Томасу никогда не изменяло чувство стиля, и “истерические вопли” слабо вяжутся с мастерством художника, достигшего уже литературной зрелости. Что касается зрелости политической, то до нее время еще не пришло.

Манн чувствовал, что одной статьи для обоснования прогерманской позиции мало, что большинство современников, и в их числе его собственный брат, аргументы в защиту Германии не приняли и поведение немецких патриотов осуждают. Поэтому в том же 1914 году он пишет еще одно эссе “Фридрих и большая коалиция” с подзаголовком “Очерк на злобу дня и часа”².

Аналогия между нападением Фридриха на нейтральную Саксонию в 1756 году и ударом Германии по нейтральной Бельгии в 1914 году читателю очевидна. Да Манн ее и не скрывает. Он верит, что Германия в двадцатом веке продолжает дело Фридриха из века восемнадцатого. Фридрих, по словам Руссо, которые приводит Манн, мыслит как философ, но ведет себя как король. Он нарушает

признанные законы и договоры ради того, чтобы “свершилось земное призвание великого народа”. Его право — это право поднимающей силы, утверждал автор очерка. За это же сражалась Пруссия в 1870—1871 годах с Францией, за это же воюет Германия в 1914 году против стран Антанты.

Очерк “Фридрих и большая коалиция” вышел в свет в начале 1915 года, а в ноябре того же года Томаса ждал удар, заставивший надолго забыть о довоенных литературных планах. Против него публично выступил брат Генрих, напечатавший в издававшемся в Швейцарии журнале “Белые листы” очерк об Эмиле Золя (большие фрагменты статьи напечатаны в сборнике документов “Томас Манн в суждении его времени”¹). Этот очерк был написан с позиции той самой “демократической цивилизации”, против которой так страстно выступал Томас Манн. Текст Генриха Манна полон скрытой полемики с младшим братом, видной, впрочем, и невооруженным глазом. По всем основным аргументам Томаса Генрих имеет свое мнение, прямо противоположное мнению брата. Вместо победы сильной Германии он желает ей поражения, не признает силы без права, не отделяет литературу от политики...

Через три года, отвечая на попытку примирения со стороны старшего брата, Томас в письме от 3 января 1918 года вспоминает давние обиды, нанесенные ему очерком Генриха:

1. Цит. по: С. К. Апт. Томас Манн. — М.: Изд-во ЦК ВЛКСМ “Молодая гвардия”, 1972. — С. 158—159.

2. См.: Томас Манн. Аристократия духа, сборник очерков, статей и эссе. — М.: Культурная революция, 2009. — С. 11—59.

1. См.: Klaus Schröter (Hrsg.) Thomas Mann im Urteil seiner Zeit. Dokumente 1891—1955. — Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 2000. — S. 69—71.

Братское мироощущение придает личную окраску всему. Но вещи, которые ты в своей статье о Золя позволил своим нервам и преподнес моим, — нет, такого я никогда себе не позволял и не преподносил никому. Что после поистине французских колкостей, передержек, оскорблений этой блестящей поделки, уже вторая фраза которой была бесчеловечным эксцессом, ты счел возможным, хотя это “казалось безнадежным”, “искать сближения”, доказывает всю беспечность того, кто “щедр сердцем вширь”¹.

Вторая фраза в очерке, так больно кольнувшая Томаса, была следующей: “Это те, кому суждено рано засохнуть, в свои двадцать лет действуют сознательно, сообразуясь с существующим миром”². В последующих изданиях Генрих эту фразу вычеркнул.

Уязвленный в самое сердце, Томас Манн садится за письменный стол, чтобы “познать себя”, к чему призывал второй эпитафия книги. Так началась работа над “Размышлениями аполитичного”, про которую писатель вспоминал в автобиографии: “без пути-дороги продирался я сквозь густые заросли — этому суждено было длиться два года”³.

Писатель далеко не уверен, что принял правильное решение, пожертвовав “чистым сочинительством” ради исповедальных размышлений о войне и мире. Не случайно первым эпитафией новой книги выбрана фраза из “Проделок Ска-

пена” Мольера: “Какого черта он полез на эту галерею?”.

В письме, отправленном 6 ноября 1917 года шурина Петеру Прингсхайму, томившемуся в концлагере в далекой Австралии, Томас признается: “Я же тебе писал, что время поставило передо мной чисто публицистические задачи, которые вынудили меня приостановить художественные проекты, такие как ‘Волшебная гора’ и ‘Авантюрист’. По нынешнему состоянию и с учетом близкого завершения получается довольно толстая книга, которая под названием ‘Размышления аполитичного’ должна появиться зимой. Это вопрос самопознания и самоутверждения, собственно, ‘вопрос совести’, как сказал бы К. Ф. Майер¹... Но ты когда-нибудь и сам увидишь”². О попытке самопознания в “Размышлениях аполитичного” говорит второй эпитафия к книге — стих из драмы Гёте “Торквато Тассо”: “Сравни себя с другим! Познай себя!”.

“Я хочу всё сказать — и в этом смысл этой книги”, — напишет автор в главе “О добродетели”³. Поставленная грандиозная задача — “всё сказать” — потребовала и текста немалого объема: получившаяся в результате двухлетнего напряженного труда книга содержит более шестисот страниц (в русском переводе — более пятисот сорока).

1. Конрад Фердинанд Майер (1825–1898) — швейцарский поэт и писатель.

2. Thomas Mann. Briefe 1889–1936, hrsg. von Erika Mann. — Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag, 1961. — S. 142.

3. Thomas Mann. Betrachtungen eines Unpolitischen. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke — Briefe — Tagebücher, Band 13.1. — Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag, 2009. — S. 462.

1. Генрих Манн — Томас Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество. Переписка. Статьи. — С. 166.

2. Там же, с. 433.

3. Томас Манн. Очерк моей жизни. — С. 126.

Главный довод Манна, на котором строится защита воюющей Германии, — это ее особый путь в истории, ее особые, отличные от других европейских народов ценности, за которые она сражается. Для обоснования этого довода Манн прибегает к помощи великих предшественников. Начинает он “Размышления” с цитаты из “Дневника писателя” Ф. М. Достоевского, написанного в 1877 году, через четыре года после объединения Германии:

Задача Германии одна, и прежде была, и всегда. Это ее протестантство, — не та единственно формула этого протестантства, которая определилась при Лютере, а всегдашнее ее протестантство, всегдашний протест ее — против римского мира, начиная с Арминия, против всего, что было Римом и римской задачей, и потом против всего, что от древнего Рима перешло к новому Риму и ко всем тем народам, которые восприняли от Рима его идею, его формулу и стихию, к наследникам Рима и ко всему, что составляет это наследство¹.

Этот “протест” Германии против “крайнего западноевропейского мира”, как называл его автор “Дневника писателя”, проявляется, по мнению Томаса Манна, в противостоянии культуры и цивилизации. Для Германии важнее всего духовная культура, выраженная, прежде всего, в музыке. А для “крайнего западноевропейского мира” приоритетом является цивилизация, здесь больше ценят те

самые “разум, просвещение, смягчение, упрощение, скептицизм, разложение”, о которых он писал в “Мыслях во время войны”.

Кроме Достоевского, Манн прибегает к другим авторитетам — от Ницше и Шопенгауэра до Вагнера, но все это доводы из прошлого. Ведь “Дневник писателя”, на который ссылается Томас Манн, был написан тогда, когда автору “Размышлений” было всего два года. Сейчас же сорокалетнему писателю позарез необходимы новые аргументы. И он нашел их в опере Ганса Пфифцнера “Палестрина”.

Опера подтверждала главный аргумент Томаса Манна, пытавшегося оправдать позицию Германии в Первой мировой войне. По мнению писателя, Германия отстаивала в этой войне право на собственные идеалы и ценности, отличные от идеалов и ценностей Франции, Англии и примкнувшей к ним России. Суть немецкого духа, считал Манн, есть музыка, которая много важнее, чем политика, и вечные ценности культуры, за которые воюет Германия, несравненно значительнее пошлых идеалов прогресса, насаждаемых западными странами Антанты. Опера Ганца Пфифцнера наглядно выразила превосходство музыки над политикой, классической культуры — над беспочвенным модерном. Она словно освобождала писателя от необходимости снова и снова обосновывать свою позицию, очень близкую в то время к националистическому лагерю, из которого вскоре выйдет на политическую сцену национал-социализм.

В этом лагере, обозначаемом иногда трудно переводимым словом “фёлькиш”, находились тогда и композитор Ганс Пфифцнер, и восхищавшийся им писатель То-

1. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. Январь — август. Полное собрание сочинений в 30-ти тт. — Т. 25. — Л.: Наука, 1983. — С. 151.

мас Манн. Но единомышленниками они были не долго, и уже через пять лет пути их окончательно разошлись. Недавние товарищи стали непримиримыми идеологическими врагами.

С Ганцем Пфцинером Томас Манн был знаком лично, принимал его у себя дома — см., например, письмо Томаса Манна Бруно Вальтеру от 24 июня 1917 года¹. Перед премьерой композитор дал Томасу Манну прочитать либретто оперы, за что писатель благодарит его в письме от 19 мая 1917 года². Саму оперу Манн оценивал как “музыкально-драматическую исповедь, в духовном измерении на голову превосходящую современную оперную продукцию”³.

Социальная позиция Пфцинера, которого Манн охарактеризовал как “романтического ху-

дожника, т. е. национального, но аполитичного”, была близка писателю в то время, когда он заканчивал “Размышления аполитичного”. Можно сказать, что в композиторе писатель нашел родственную душу, которой ему так не хватало, а опера стала важным аргументом для Томаса Манна в попытке оправдать позицию Германии в мировой войне.

После Первой мировой войны Пфцинер из аполитичного романтического художника превратился, по словам Манна, в “антидемократического националиста”. Веймарскую республику он, в отличие от Томаса, не признал, а в 1933 году открыто выступил против своего бывшего друга, подписав знаменитый “Протест Мюнхена, города Рихарда Вагнера” против Томаса Манна.

1. См.: Thomas Mann. Briefe 1889–1936, S. 137.

2. См.: Thomas Mann. Briefe 1889–1936, Op. cit., S. 135.

3. Томас Манн. Место Фрейда в истории современного духа. Аристократия духа. Сборник очерков, статей и эссе. — М.: Культурная революция, 2009. — С. 172.

Содержание журнала “Иностранная литература”

[273]

ИЛ 12/2021

за **2021** год [1—12]

Специальные номера

“Искать, найти, дерзать...” Номер посвящен английской литературе [1]

Немецкие литературные премии. Составитель номера, автор вступления и комментария — Татьяна Баскакова [3]

Иное небо. Номер посвящен аргентинской литературе. Составители Александр Казачков, Анастасия Гладошук, Татьяна Ильинская [5]

Польша за пределами Польши / Polska poza Polską
Составитель номера Светлана Панич [6]

14 июля. Номер посвящен французской литературе [7]

Романы, повести, рассказы, пьесы

- АГУАЛУЗА ЖУЗЕ ЭДУАРДУ *Креольская нация.* Роман. Перевод с португальского и вступление Варвары Махортовой [9]
- БЕЙНБРИДЖ БЕРИЛ *С днем рождения, друг!* Перевод с английского Е. Суриц [1]
- БИНЧИ МЭВ *Лилобус.* Роман. Перевод с английского Ольги Сиротенко [10]
- БОСК АДРИЕН *Звездный рейс.* Роман. Перевод с французского Юлии Рац [7]
- ВИШНЕК МАТЕЙ *Два рассказа.* Перевод с румынского Анастасии Старостиной [9]
- ГАДДА КАРЛО ЭМИЛИО *Сан-Джорджо в доме Брокки.* Повесть. Перевод с итальянского Геннадия Федорова [8]
- ГЛОВАЦКИЙ ЯНУШ *Два рассказа.* Перевод с польского и вступление Регины Ковенацкой [2]
- ДРАГОМАН ДЁРДЬ *Перезапуск системы.* Истории освобождения. Перевод с венгерского Евгении Волновой. Вступление Вячеслава Середы [10]
- ИБАРГУЭНГОЙТИА ХОРХЕ *Лежащие перед тобой руины.* Роман. Перевод с испанского и вступление Дарьи Синециной [4]
- КАРБАЛЬДО ЭМИЛИО *В тот день, когда сбежали львы.* Фарс в трех действиях. Перевод с испанского и вступление Алексея Гришина [9]
- МЕДВЕДКОВА ОЛЬГА *Пять новелл.* Перевод с французского Ирины Стаф [7]
- ОУТС ДЖОЙС КЭРОЛ *Сага о Бельфлёрах.* Фрагмент книги. Перевод с английского и вступление Александры Финогеновой [11]
- ПЕТРОВСКАЯ КАТЯ *Бабий Яр.* Глава из книги “Кажется Эстер”. Перевод с немецкого Михаила Рудницкого. Вступление автора [8]
- СИМОН КРИСТОФ *Прогулки Цбиндена.* Роман. Перевод с немецкого и вступление Екатерины Гюнтхард [2]

- СИМОН ЯНА *“Без страха жить учись”*. Отрывки из книги. Перевод с немецкого и вступление Людмилы Болотновой [12]
- СОЛЬДАТИ МАРИО *Рассказы фельдфебеля карабинеров*. Перевод с итальянского Геннадия Федорова [10]
- ТВАРДОХ ЩЕПАН *Морфий*. Роман. Перевод с польского Сергея Морейно [11, 12]
- ФАРКАШ ПЕТЕР *В Люксембургском саду навсегда*. Повесть. Перевод с венгерского и вступление Юрия Гусева [2]
- ШВАЙКЕРТ РУТ *В дурмане*. Рассказ из книги “Арахис. Убивать”. Перевод с немецкого и вступление Веры Менис [4]

Альбан Николай Хербст

- ХЕРБСТ *Двенадцатая элегия*. Из книги “Остающийся зверь. Бамбергские элегии”. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]
- ХЕРБСТ *По правде говоря*. Рассказ из сборника “Волчицы”. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

Арно Шмидт

- ШМИДТ АРНО *Фарос, или О могуществе поэтов*. Рассказ. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

Боги жаждут

- ДЕЗЕРАБЛЬ *Покажи мою голову народу*. Переводы с французского Валерии Фридман, Яны Арьковой, Наталии Смирновой, Веры Соловьевой, Марии Вантеевской, Татьяны Пономаревой, Татьяны Филиной [7]

Бригитта Кронауэр

- КРОНАУЭР БРИГИТТА *Стремления к музыке и горам*. Фрагменты романа. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

В двух словах

Антология современного аргентинского микрофасказа: Эдуардо Гудиньо Киффер, Ана Мария Шуа, Давид Лагманович. Перевод с испанского Ольги Кулагиной [5]

В малом жанре

- ВЕРИССИМО ЭРИКО *Руки моего сына*. Перевод с португальского Варвары Махортовой [4]
- ОДОР ЯСМИНА *Барселона*. Перевод с английского Дарьи Берёзко [4]
- ПОЛЕ ГРЕГУАР *Роза Гринвич*. Перевод с французского Нины Хотинской [4]
- ТАЦУО ХОРИ *Соломенная шляпка*. Перевод с японского и вступление Екатерины Юдиной [4]
- ТУТЕН ФРЕДЕРИК *Автопортрет на фоне цирка*. Перевод с английского Анны Лысиковой [4]

Вольфганг Хильбиг

ХИЛЬБИГ ВОЛЬФГАНГ *После полудня*. Рассказ. Перевод с немецкого Василия Черкасова [3]

Вольфганг Хильдесхаймер

ХИЛЬДЕСХАЙМЕР *Максин*. Радиопьеса. Перевод с немецкого Михаила Рудницкого [3]

Из классики XX века

ВОННЕГУТ КУРТ *Между Вроцлавом и вредным*. Рассказ. Перевод с английского Михаила Грачева [5]

УИЛЬЯМС ТЕННЕССИ *Темная комната*. Рассказ. Перевод с английского Гиль Сон И. *Десятиминутная остановка*. Рассказ. Перевод с английского Андрея Голышева [2]

Изобретение призрака

АЙРА СЕСАР *Две новеллы из книги “Изобретение поезда-призрака”*. Перевод с испанского Александра Казачкова [5]

АЙРА СЕСАР *Портниха и ветер*. Повесть. Перевод с испанского Ольги Кулагиной [5]

КОНТРЕРАС САНДРА *Айфа, Пуиг, Борхес...* Фрагменты книги *Вращения, обращения и возвращения Сесара Айры*. Перевод с испанского Александра Казачкова [5]

Литературное наследие

ДЖЕЙМС ГЕНРИ *Бруксмит*. Рассказ. Перевод с английского Александра Ливерганта [2]

Литературный гид.

“Для чего Создатель выбрал нас?”

“Из воспоминаний Адама и Евы” и другие тексты
[ПЕТЕР БИКСЕЛЬ, БОДО ХЕЛЬД, ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР, РАЙНХАРД ГРУБЕР, КИЛЕЗ МОР, МОРГЭН, ЭОН]. Составление, перевод с немецкого и вступление Наталии Васильевой [9]

Молодая гвардия

АРИАС ЭРНАН *Десять минут*. Рассказ. Перевод с испанского Надежды Мечтаевой [5]

МАЙРАЛЬ ПЕДРО *Персональный гипнотизер*. Рассказ. Перевод с испанского Надежды Мечтаевой [5]

НЕУМАН АНДРЕАС *Последняя поэма Петра Черны*. Рассказ. Перевод с испанского Ольги Кулагиной [5]

ФАЛЬКО ФЕДЕРИКО *Счастливейший человек*. Рассказ. Перевод с испанского Надежды Мечтаевой [5]

ШВЕБЛИН САМАНТА *Землекоп*. Рассказ. Перевод с испанского Ольги Кулагиной [5]

[275]

ИЛ 12/2021

Независимая жизнь

БЕРТИ ЭДУАРДО *Микроновеллы, рассказы и рамонерии.* Перевод с испанского и вступление Александра Казачкова [5]

[276]

ИЛ 12/2021

Ничего смешного

- ВО ИВЛИН *Эдвард Великолепный. Портрет молодого карьериста.* Два рассказа. Перевод с английского Анны Лысиковой [1]
- ДАНИЕЛЬССОН ТАГЕ *Сага о справедливой Гудрун.* Перевод со шведского Марины Семченковой [10]
- КОРСГОР ТОМАС *Две новеллы.* Перевод с датского и вступление Натальи Кларк [11]
- ЭСТИС АЛЕКСАНДР *Как не написать роман.* Миниатюра. Перевод с немецкого Елены Вишняковой [10]

Нобелевская премия

- ЛЕССИНГ ДОРИС *Зима в июле.* Повесть. Перевод с английского Ольги Долженковой [1]
- ГУРНА АБДУЛРАЗАК *Провожатый.* Рассказ. Перевод с английского Анастасии Бородачевой [12]

“Память, говори”

- ВИНЦЕНЦ СТАНИСЛАВ *На высокой полонине. Правда старовека.* Перевод с польского Сергея Морейно [6]
- КРАЛЬ ХАННА *Правнук.* Рассказ. Перевод с польского Светланы Панич [6]

Переперевод

- ДЕФО ДАНИЕЛЬ *Из книги Дальнейшие приключения Робинзона Крузо.* Глава XIII. Перевод с английского и вступление Александра Ливерганта [12]
- КАЛЬДЕРОН ДЕ ЛА БАРКА ПЕДРО *Жизнь есть сон.* Фрагменты драмы. Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен [10]
- ОСТЕН ДЖЕЙН *Гордость и предубеждение.* Фрагменты романа. Перевод с английского и вступление Александра Ливерганта [1]

Райнхард Йиргль

- ЙИРГЛЬ РАЙНХАРД *Гений-из-леса, или О генозисе свое-Волия.* Глава из романа “Отщепенчество”. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

Сибилла Левичарофф

- ЛЕВИЧАРОФФ СИБИЛЛА *Блюменберг.* Две главы из романа. Перевод с немецкого Алексея Огнёва [3]

Сказки нового времени

- ЯРЖЕКОВ НИНА *Послушная маленькая девочка. Принцесса, которая не хотела работать.* Рассказы. Перевод с французского и вступление Ивана Оносова [7]

Современный китайский рассказ

- БАЙ Сянь-юнь *Зимний вечер*. Рассказ из сборника "Тайбэйцы". Перевод с китайского и вступление Виталия Андреева [8]
- ХАНЬ Шаогун *Роковой выстрел*. Перевод с китайского Лейсан Мирзиевой [8]

[277]

ИЛ 12/2021

Странная история

- МОРРОУ Уильям *Три рассказа*. Перевод с английского и вступление Андрея Танасейчука [8]
- МУНКАДА Жезус *Четыре рассказа*. Перевод с каталанского и послесловие Марины Кетлеровой [8]

Хуберт Фихте

- ФИХТЕ ХУБЕРТ *Лихие времена*. Рассказ. Перевод с немецкого Михаила Рудницкого [3]

В

- ГАВЕЛ Вацлав *Заговорщики*. Пьеса в пятнадцати картинах. Перевод с чешского и вступление Ивана Беляева [8]

Стихи

- АЛЬТЕН Габриэль *"Научи меня длиться"*. Стихи. Перевод с французского и вступление Екатерины Белавиной [7]
- ДИМУЛА Кики *Стихи*. Перевод с новогреческого Олега Цыбенко и Мзии Эбралидзе. Вступление Олега Цыбенко [2]
- Из современной индонезийской поэзии* [Дамано Сапарди Джоко, Джохар Зубайда, Идавати Эви, Исмаил Тауфик, Кристианти Денок, Пинурьо Джоко, Хаданинг Диах, Хэрати Тутти]. Перевод с индонезийского и вступление Виктора Погодаева [4]
- КОМБ Франсис *"Если симптомы останутся, проконсультируйтесь с поэтом"*. Стихи. Перевод с французского и вступление Екатерины Белавиной [7]
- ПАГИС Дан *Из стихотворений в прозе*. Перевод с иврита и вступление Никиты Быстрова [9]
- РАКОВСКИ Жужа *Стихи из книги "Фортепан"*. Вступление и перевод с венгерского Наталии Дьяченко [11]
- ЭНГОНОПУЛОС
НИКОС *Стихи*. Перевод с новогреческого и вступление Олега Цыбенко [8]

Вглубь стихотворения

- ТЕННИСОН Альфед *Улисс*. Составление и вступление Андрея Корчевского [1]
- ШЕКСПИР Уильям *Сонет XVIII*. Переводы с английского. Составление и вступление Андрея Корчевского [12]

Вольфганг Хильбиг

- ХИЛЬБИГ Вольфганг *Стихотворения разных лет*. Перевод с немецкого Марка Гринберга [3]

Изнанка неба

- МОЛИНАРИ “*Воспеть бы даль и долготу печали...*” Две оды. Перевод с испанского Натальи Ванханен [5]
 РИКАРДО
 ОРАСКО ОЛЬГА “*...там, в глубине, всегда есть сад*”. Стихи. Перевод Анастасии Глагошук [5]
 ХИРОНДО ОЛИВЕРИО “*А не создать ли нам облако?*” Стихи из книги *Доводы дней*. Перевод Анастасии Глагошук [5]

Литературное наследие

- НЕЛЛИГАН ЭМИЛЬ *Стихи*. Перевод с французского Романа Дубровкина. Вступление Людмилы Пружанской [2]
 САУТВЕЛЛ РОБЕРТ *Стихи*. Перевод с английского и вступление Дмитрия Якубова [1]

Нобелевская премия

- ЙОРГОС СЕФЕРИС *Стихи*. Перевод с новогреческого Олега Цыбенко [11]

Пограничье: из современной польской поэзии

- КАРПОВИЧ *Трудный лес*. Перевод и вступление
 ТИМОТЕУШ Сергея Морейно [6]
 ПОЛЬКОВСКИЙ ЯН “*Быть может еще существует поэзия*”. Перевод с польского Владимира Штокмана. Вступление Игоря Белова [6]
 ШАТРАВСКИЙ *Из разных книг*. Перевод с польского Евгении
 КШИШТОФ Добровой [6]

Ян Вагнер

- ВАГНЕР ЯН *Десять стихотворений*. Перевод с немецкого Алёши Прокопьева [3]

Solidarność / Солидарность

- КАЧМАРСКИЙ ЯЦЕК *Баллады о времени и свободе*. Перевод с польского и вступление Игоря Белова [6]

Документалистика

Винтаж

- МАРТИН ДЖОРДЖ *All You Need Is Ears*. Главы из книги. Перевод с английского и вступление Владимира Ильинского [4]

Хроника карантина

- ЧЕРНЯВСКАЯ ОКСАНА *Сорок дней после жизни* [5]

NB

- ВИТТЛИН ЮЗЕФ *Мой Львов*. Перевод с польского Сергея Морейно [6]

Публицистика

Альбан Николай Хербст

КЕРН РОМАН *“Между тем отождествлять какую бы то ни было персону с собой – это уже есть грубое упрощение...”*: Портрет писателя Альбана Николая Хербста. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

[279]

ИЛ 12/2021

Арно Шмидт

ВОЛЬШЛЕГЕР ХАНС *“Одному немецкому писателю – полвека”*. В 50-летию Арно Шмидта, 18 января 1964 года. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

Бригитта Кронауэр

МОЗЕБАХ МАРТИН *О Бригитте Кронауэр: “Чтение ее книг требует самоотверженности”*. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

Вольфганг Хильбиг

ХИЛЬБИГ ВОЛЬФАНГ *Литература – это монолог*. Речь при вручении премии им. Георга Бюхнера (2002). Перевод с немецкого Михаила Рудницкого [3]

Вольфганг Хильдесхаймер

БАСКАКОВА ТАТЬЯНА *О Вольфганге Хильдесхаймере и его пьесе “Максин”* [3]
ХИЛЬДЕСХАЙМЕР *Бегство их жизни*. Интервью для газеты “Цайт”, 1973.
ВОЛЬФАНГ Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

Генеалогия одиночества

МАРТИНЕС ЭСТРАДА *Рентгенограмма памяти*. Фрагменты книги. Перевод
ЭСЕКИЭЛЬ с испанского и вступление Анастасии Гладошук [5]

День поэзии

ТЕРЕШКО ЕКАТЕРИНА, *Всемирный день поэзии 2021 года. Хроника*
ФЕДОРОВА ЕКАТЕРИНА, *фестиваля “Poesia21”* [11]
БОЧАВЕР СВЕТАНА

Диккенс

ДМИТРИЕВА НИНА *О “Тайне Эдвина Друда”* [1]

Из будущей книги

АЛЕКСАНДР *Викторианская Сивилла* [9]
ЛИВЕРГАНТ

Изнанка неба

ГЛАДОШУК *Plus ultra* [5]
АНАСТАСИЯ

Изобретение призрака

АЙРА СЕСАР О современном искусстве. Перевод с испанского Александра Казачкова [5]

[280]

ИЛ 12/2021

К нашим иллюстрациям

ВОЛЬШЛЕГЕР ХАНС *Заметки о променаде перед “Дон Кихотом” Эберхарда Шлоттера.* Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

Литературный гид.

Шарль Бодлер — 200 лет

Составление Анастасии Глагощук. Перевод с французского и комментарии Веры Мильчиной

АССЕЛИНО ШАРЛЬ *Бодлериана* (1867—1868) [7]

АССЕЛИНО ШАРЛЬ *Из книги “Шарль Бодлер. Жизнь и творчество”* (1869). Глава IV. *Эдгар По* [7]

БАНВИЛЬ ДЕ ТЕОДОР *Мои воспоминания* (1882). Глава VII. *Шарль Бодлер* [7]

БАРАЛЬ ЖОРЖ *Происхождение фамилии Бодлер* (1890) [7]

БОДЛЕР ШАРЛЬ *Заметки для моего адвоката* (1857) [7]

ГЛАДОЩУК *Бодлериана* [7]

АНАСТАСИЯ

ДЮКАН МАКСИМ *Литературные воспоминания* (1882—1883). Глава XVIII. *Призраки* [7]

ТУБЕН ШАРЛЬ *Воспоминания семидесятилетнего* (1890) [7]

Нобелевская премия

ГОРЕЛИК МИХАИЛ *Женщина в саду* [2]

СЕФЕРИС ЙОРГОС *Речь в мэрии Стокгольма по случаю вручения Нобелевской премии 10 декабря 1963 года.* Перевод с новогреческого Олега Цыбенко [11]

ЦЫБЕНКО ОЛЕГ *Йоргос Сеферис и восприятие античности* [11]

“Память, говори”

БОБКОВСКИЙ *Наброски пером (Франция 1940–1944).* Перевод Анджей с польского Ирины Киселевой [6]

“Париж — город польский”

ВОДНИЦКИЙ АДАМ *Август и Элен.* Глава из книги *Воспоминания.* Перевод Елены Барзовой и Гаянэ Мурадян [6]

ЛИПСКИЙ ЛЕО *Люди из Мезон-Лаффита.* Отрывки из воспоминаний, 1975. Перевод с польского Владимира Окуня [6]
“...сотрудничество с “Культурой” для меня огромная радость и честь”. Из переписки Томаса Венцловы и Ежи Гедройца. Перевод с польского и комментарии Светланы Панич. Вступление Томаса Венцловы [6]

Писатель путешествует

ГАНДЛЕВСКИЙ *Горы* [11]
СЕРГЕЙ

Польша—Россия

- БЕРНХАРДТ АННА *Бездонный архив парижской “Культуры”*: русские следы. Перевод с польского Светланы Панич [6]
- ЧАПСКИЙ ЮЗЕФ *Блок и тайная свобода*. Эссе. Перевод с польского Анастасии Векшиной [6]

Райнхард Йиргль

- ЙИРГЛЬ РАЙНХАРД *О своеобразии писателя как этосе*. Благодарственная речь при получении Бременской литературной премии (2006). Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]
- ШЁЛЛЕР
УИЛФРИД Ф. *Богатства художника-очернителя*. Лаудацию Райнхарду Йирглю в связи с присуждением ему Бременской литературной премии за роман “Отщепенчество”, 26 января 2006 года. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

Реверсивное движение. Путешествия американцев в первой трети XX века

Составление, перевод с английского и вступление Даши Сиротинской (Кузиной)

- ДЖЕЙМС ГЕНРИ *Конкорд* [10]
- ДОС ПАССОС ДЖОН *Страна великих вулканов* [10]
- ДРАЙЗЕР ТЕОДОР *Американский городок. Лилли, дитя улицы* [10]
- ЛАЙОНС ЮДЖИН *По России. Мы переезжаем в особняк. Локомотивы едут в Среднюю Азию* [10]
- МАККЕЙ КЛОД *Когда негр за своего* [10]
- СИРОТИНСКАЯ
(КУЗИНА) ДАША *Американский травелог* [10]
- ФРЭНК УОЛДО *Аргентина инков* [10]
- ХЬЮЗ ЛЭНГСТОН *Сценарий на русском и Первомай. Африка. Луна в Бурту. Джокко. Италия. Бродяга* [10]

Сибилла Левичарофф

- БЛЮМЕНБЕРГ ХАНС *Львы*. Фрагменты книги. Перевод с немецкого Алексея Огнёва [3]

Статьи, эссе

- БЕРКОВИЧ ЕВГЕНИЙ *Томас Манн и Первая мировая война* [12]
- ЕФИМОВА МАРИНА *Петербуржец Джеймс Уистлер* [8]
- КЛЮЧНИКОВ СЕРГЕЙ *Страсть к красоте*. О поэте и переводчике Юрии Ключникове [9]
- КРУЖКОВ ГРИГОРИЙ *Ступени: о трех русских переводах “Памятника” Горація* [4]
- ЛИВЕРГАНТ
АЛЕКСАНДР *Поиски за утраченным временем* [7]
- ПАНИЧ СВЕТЛАНА *“Польша за пределами Польши”*: в поисках определения [6]
- ФЁЛДЕНИ ЛАСЛО Ф. *Прощание с образованностью*. Об образованности, знании, информации. Перевод с венгерского Ольги Балла [11]

Трибуна переводчика

КРУЖКОВ ГРИГОРИЙ *Пересадка поэтических растений. К вопросу об адаптации перевода* [2]

Флобер — 200 лет

Составление, перевод с французского и вступление Анастасии Глагощук

БАРТ РОЛАН *Кризис истины*. Интервью. Перевод с французского Анастасии Глагощук [12]

ГЛАДОЩУК АНАСТАСИЯ *“Эта книга – мое завещание”*

КЕНО РЭМОН *“Бувар и Пекюше” Гюстава Флобера*. Предисловие к роману. Перевод с французского Анастасии Глагощук [12]

ФЛОБЕР ГЮСТАВ *Из “Лексикона прописных истин”*. Перевод с французского Анастасии Глагощук [12]

Хуберт Фихте

ФИХТЕ ХУБЕРТ *Одиннадцать гипербол. Введение в антологию*. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

Эхо одиночества

ИЛЬИНСКАЯ ТАТЬЯНА *Жизнь, распахнутая всем ветрам* [5]

ОКАМПО ВИКТОРИЯ *Два эссе*. Перевод с испанского Татьяны Ильинской, Ольги Кулагиной [5]

Юбилей

Задаваться вопросами. К 90-летию Павла Грушко [8]

Ян Вагнер

ФИОРЕТОС АРИС *Откровения Вагнера*. Перевод с немецкого Татьяны Баскаковой [3]

NB

КРУДИ ДЮЛА *Город болен*. Эссе. Перевод с венгерского Ольги Балла [9]
ЭЛИСЕО АЛЬБЕРТО *Донос на меня самого*. Фрагмент книги. Перевод с испанского Александра Лебедева, Дмитрия Лупича и Фатимы Таутиевой [2]

Solidarność / Солидарность

РУШАР ЮЗЕФ МАРИЯ *“Солидарность”*. Это случилось со мной. Перевод с польского Никины Кузнецова [6]

БиблиоФИЛ

БАСКАКОВА ТАТЬЯНА *О “мешках с перцем”, солдатах и детях, а также учредителях немецких литературных премий* [3]
Книги вразнос. Что у нас переводят. И как. Экспресс-рецензии Даши Сиротинской [2, 8, 9]

Новые книги Нового Света с Мариной Ефимовой [1, 2]
Среди книг с Александром Ливергантом [1]
Среди книг с Ильей Прокловым [8]
Среди книг с Константином Львовым [7]
Среди книг с Марией Мазняк и Андреем Танасейчуком [2]
Среди книг с Юрием Гириным [4]
Среди книг с Ольгой Балла [6]

[283]

ИЛ 12/2021

Анкета—2020

Итоги 2019–2020 гг. Наш конкурс [9]

Библиография

*Алфавитный указатель авторов журнала
“Иностранная литература” за 2021 год* [12]
*Аргентинская литература на страницах “ИЛ”.
2010–2020* [5]
*Немецкая литература на страницах “ИЛ”.
2015–2020* [3]
*Польская литература на страницах “ИЛ”.
2011–2021* [6]
*Содержание журнала “Иностранная литература”
за 2021 год* [12]
*Французская литература на страницах “ИЛ”.
2018–2021* [7]

Авторы номера [1–2, 4–12]

Переводчики номера [3]

Алфавитный указатель авторов журнала “Иностранная литература”

[284]

ИЛ 12/2021

за **2021** год [1–12]

- Агуалуза Ж. Э. [9]
Айра С. [5]
Альберто Э. [2]
Альтен Г. [7]
Андреев В. [8]
Ариас Э. [5]
Асселино Ш. [7]
Бай Сянь-юн [8]
Балла О. [6]
Банвиль де Т. [7]
Барраль Ж. [7]
Барт Р. [12]
Баскакова Т. [3]
Бейнбридж Б. [1]
Белавина Е. [7]
Белов И. [6]
Беляев И. [8]
Беркович Е. [12]
Бернхардт А. [6]
Берти Э. [5]
Биксель П. [9]
Бинчи М. [10]
Блюменберг Х. [3]
Бобковский А. [6]
Бодлер Ш. [7]
Болотнова Л. [12]
Боск А. [7]
Бочавер С. [11]
Быстров Н. [9]
Вагнер Я. [3]
Ванханен Н. [10]
Васильева Н. [9]
Венцлова Т. [6]
Вериссимо Э. [4]
Винценц С. [6]
Виттлин Ю. [6]
Вишnek М. [9]
Во И. [1]
Водницкий А. [6]
Вольшлегер Х. [3]
Воннегут К. [4]
Гавел В. [8]
Гадда К. Э. [8]
Гандлевский С. [11]
Гедройц Е. [6]
Гербель Н. [12]
Гириh Ю. [4]
Глагощук А. [5, 7, 12]
Гловацкий Я. [2]
Горелик М. [2]
Гришин А. [9]
Грубeр Р. П. [9]
Грушко П. [8]
Гудиньо Киффер Э. [5]
Гумилев Н. [12]
Гурна А. [12]
Гусев Ю. [2]
Гюнтхард Е. [2]
Дамоно С. Д. [4]
Даниельссон Т. [10]
Дезерабль Ф.-А. [7]
Дефо Д. [12]
Джеймс Г. [2, 10]
Джохар З. [4]
Димула К. [2]
Дмитриева Н. [1]
Дос Пассос Д. [10]
Драгоман Д. [10]
Драйзер Т. [10]
Дьяченко Н. [11]
Дюкан М. [7]
Ефимова М. [1, 2, 8]
Ибаргуэнгойтия Х. [4]
Ивановский И. [12]
Идавати Э. [4]
Ильин С. [12]
Ильинская Т. [5]
Ильинский В. [4]
Исмаил Т. [4]
Йиргль Р. [3]
Казачков А. [5]
Кальдерон де ла Барка П. [10]
Карбальидо Э. [9]
Карпович Т. [6]
Качмарский Я. [6]
Кено Р. [12]
Керн Р. [3]
Кетлерова М. [8]
Кларк Н. [11]
Ключников С. [9]
Ковенацкая Р. [2]
Комб Ф. [7]
Контрерас С. [5]
Корсгор Т. [11]

КОРЧЕВСКИЙ А. [1, 12]
КРАЛЬ Х. [6]
КРИСТИАНТИ Д. [4]
КРОНАУЭР Б. [3]
КРУДИ Д. [9]
КРУЖКОВ Г. [2, 4]
ЛАГМАНОВИЧ Д. [5]
ЛАЙОНС Ю. [10]
ЛЕВИЧАРОВФ С. [3]
ЛЕССИНГ Д. [1]
ЛИВЕРГАНТ А. [1, 7, 9, 12]
ЛИПСКИЙ Л. [6]
ЛИФШИЦ Ю. [12]
ЛЬВОВ К. [7]
МАЗНЯК М. [2]
МАЙРАЛЬ П. [5]
МАККЕЙ К. [10]
МАРТИН ДЖ. [4]
МАРТИНЕС ЭСТРАДА Э. [5]
МАРШАК С. [12]
МАХОРТОВА В. [9]
МЕДВЕДКОВА О. [7]
МЕНИС В. [4]
МОЗЕБАХ М. [3]
МОЛИНАРИ Р. [5]
МОР К. [9]
МОРГЭН [9]
МОРЕЙНО С. [6]
МОРРОУ У. [8]
МУНКАДА Ж. [8]
НЕЛЛИГАН Э. [2]
НЕУМАН А. [5]
ОДОР Я. [4]
ОКАМПО В. [5]
ОНОСОВ И. [7]
ОРОСКО О. [5]
ОСТЕН ДЖ. [1]
ОУТС ДЖ. К. [11]
ПАГИС. Д. [9]
ПАНИЧ С. [6]
ПЕТРОВСКАЯ К. [8]
ПИНУРБО Д. [4]
ПОГАДАЕВ В. [4]
ПОЛЕ Г. [4]
ПОЛЬКОВСКИЙ Я. [6]
ПРОКЛОВ И. [8]
ПРУЖАНСКАЯ Л. [2]
РАКОВСКИ Ж. [11]
РУШАР Ю. М. [6]
САУТВЕЛЛ Р. [1]
СЕРЕДА В. [10]

СЕФЕРИС Й. [11]
СИМОН К. [2]
СИМОН Я. [12]
СЕНИЦЫНА Д. [4]
СИРОТИНСКАЯ Д. [2, 8, 9, 10]
СОЛЬДАТИ М. [10]
ТАНАСЕЙЧУК А. [2, 8]
ТВАРДОХ Ш. [11, 12]
ТЕННИСОН А. [1]
ТЕРЕШКО Е. [11]
ТУБЕН Ш. [7]
ТУТЕН Ф. [4]
УИЛЬЯМС Т. [2]
ФАЛЬКО Ф. [5]
ФАРКАШ П. [2]
ФЕДОРОВА Е. [11]
ФЁЛДЕНИ Л. Ф. [11]
ФИНКЕЛЬ А. [12]
ФИНОГЕНОВА А. [11]
ФИОРЕТОС А. [3]
ФИХТЕ Х. [3]
ФЛОБЕР Г. [12]
ФРЭНК У. [10]
ХАДАНИНГ Д. [4]
ХАНЬ Ш. [8]
ХЕЛЬ Б. [9]
ХЕРВСТ А. Н. [3]
ХИЛЬБИГ В. [3]
ХИЛЬДЕСХАЙМЕР В. [3]
ХИРОНДО О. [5]
ХОРИ Т. [4]
ХЬЮЗ Л. [10]
ХЭРАТИ Т. [4]
ЦЫБЕНКО О. [2, 8, 11]
ЧАЙКОВСКИЙ М. [12]
ЧАПСКИЙ Ю. [6]
ЧЕРНЯВСКАЯ О. [5]
ШАТРАВСКИЙ К. [6]
ШВАЙКЕРТ Р. [4]
ШВЕБЛИН С. [5]
ШЕКСПИР У. [12]
ШЁЛЛЕР У. Ф. [3]
ШМИДТ А. [3]
ШУА А. М. [5]
ЭНГОНОПУЛОС Н. [8]
ЭНЦЕНСБЕРГЕР Х. М. [9]
ЭОН [9]
ЭСТИС А. [10]
ЮДИНА Е. [4]
ЯКУБОВ Д. [1]
ЯРЖЕКОВ Н. [7]

ЯНА СИМОН

JANA SIMON
Немецкий журналист, прозаик. Лауреат премии для молодых журналистов Александра Ромберга [2000] и Акселя Шпрингера [2001], премии Теодора Вольфа [2001], премии немецкого репортера *Лучший репортаж* [2015], *Расследование* [2018] и *Культурный репортаж* [2020].

Автор монографий *Потому что мы разные. История Феликса С. Роволта Верлага* [Denn wir sind anders. Geschichte des Felix S. Rowohl Verlag, 2002], *Ежедневные бездны. Странное в нашем районе. Репортажи и портреты* [Alltägliche Abgründe. Das Fremde in unserer Nähe. Reportagen und Porträts, 2004], *Это взорвало меня. Люди между бездной и новым* [Das explodierte Ich. Menschen zwischen Abgrund und Aufbruch, 2014].

Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *Без страха жить учиться* [Sei dennoch unverzagt. FRANKFURT AM MAIN: S. FISCHER VERLAG, 2021].

АБДУЛРАЗАК

ГУРНА

ABDULRAZAK

GURNAN

[р. 1948]. Танзанийский писатель, пишущий на английском языке. Лауреат Нобелевской премии [2021]. Живет в Великобритании.

Автор романов *Путь паломников* [Pilgrims' Way, 1988], *Рай* [Paradise, 1994], *В отрыве* [Desertion, 2005], *У моря* [By the Sea, 2001], *Последний подарок* [The Last Gift, 2011], *Каменное сердце* [Gravel Heart, 2017] и др.; сборника рассказов *Моя мать жила на ферме в Африке* [My Mother Lived on a Farm in Africa, 2006].

Перевод выполнен по электронной версии журнала *Васафири* [Wasafiri, vol. 11, 1996, № 23; <https://doi.org/10.1080/02690059608589487>].

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

GUSTAVE FLAUBERT

[1821–1880]. Французский писатель.

Автор романов *Госпожа Бовари* [Madame Bovary, 1856], *Саламбо* [Salammbô, 1862], *Воспитание чувств* [L'Éducation sentimentale, 1869], *Бувар и Пекюше* [Bouvard et Pécuchet, 1880–1881], повестей *Простая душа* [Un cœur simple, 1877], *Легенда о св. Юлиане Странноприимце* [La Légende de St. Julien l'Hospitalier, 1877], *Иродиада* [Herodias, 1877], философской фантазмагории *Искушение святого Антония* [La Tentation de saint Antoine, 1874] и др. Избранные статьи из *Лексикона прописных истин* [Le Dictionnaire des idées reçues] взяты из полного собрания сочинений. Т. V [Œuvres complètes. T. V (1874–1880). PARIS: GALLIMARD, 2021].

РЭМОН КЕНО

RAYMOND QUENEAU

[1903–1976]. Французский романист, поэт, член Гонкуровской академии, один из основателей Цеха потенциальной литературы [УЛИПО]. Первый лауреат премии *Дё Маго* [1933].

Автор романов *Помеха* [Le Chiendent, 1933], *Одиль* [Odile, 1937], *Суровая зима* [Un Rude hiver, 1939], *Пьеро, мой друг* [Pierrot mon ami, 1942], *Защи в метро* [Zazie dans le métro, 1959; рус. перев. 1992], *Голубые цветочки* [Les fleurs bleues, 1962; рус. перев. 1994] и др.; поэмы *Маленькая портативная космогония* [Petite cosmogonie portative, 1950] и др. В ИЛ напечатана его заметка *Знаете ли вы Париж?* [2020, № 3]. Перевод выполнен по изданию *Палочки, цифры и буквы* [Bâtons, chiffres et lettres. PARIS: GALLIMARD, 1994].

РОЛАН БАРТ

ROLAND BARTHES

[1915–1980]. Французский литературовед,

Автор книг *Нулевая степень письма* [Le Degré zéro de l'écriture, 1953], *О Расине* [Sur Racine, 1963], *Система моды* [Système de la mode, 1967], *Империя знаков* [L'Empire des signes, 1970] и др.

литературный критик, теоретик культуры.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ЛИВЕРГАНТ [р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *ЗОИЛ* [2002].

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕРКОВИЧ [р. 1945]. Историк науки и литературы, кандидат физ.-мат. наук, доктор естествознания [Германия]. Дважды лауреат Белявской премии [2018, 2019].

Людмила Васильевна Болотнова
Прозаик, переводчик с немецкого, преподаватель, член Союза российских писателей.

Анастасия Викторовна Бородачева
Переводчик с английского.

Андрей Корчевский [р. 1966]. Поэт, переводчик, композитор, кандидат физико-математических и доктор биологических наук.

Анастасия Валерьевна Гладошук
Литературовед, переводчик с французского и испанского языков, кандидат филологических наук. Постдок Школы филологических наук НИУ ВШЭ.

Интервью *Кризис истины* [*La crise de la vérité*] взят из полного собрания сочинений. Т. III [*Œuvres complètes*. Т. III (1974–1980). PARIS: ÉDITIONS DU SEUIL, 1995].

Автор книг *Редьярд Киплинг* [2011], *Сомерсет Моэм* [2012], *Оскар Уайльд* [2014], *Фицджеральд* [2015], *Генри Миллер* [2016], *Грэм Грин* [2017], *Вирджиния Вулф: “Моменты бытия”* [2019], *Пелем Гренвилл Вудхаус. О пользе оптимизма* [2021]. В его переводе издавались романы Дж. Остен, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, Н. Уэста и др., повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, С. Моэма, П. Г. Вудхауса и др., эссе, статьи и очерки О. Голдсмита, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Автор книг *Банальность добра* [2003], *Томас Манн и физики XX века* [2017], *Альберт Эйнштейн в фокусе истории XX века* [2018], *Альберт Эйнштейн и “революция вундеркиндов”* [2021] и многих статей в журналах *Новый мир*, *Знамя*, *Вопросы литературы*, *Нева*, *Наука и жизнь* и др. В *ИЛ* опубликованы статьи *Томас Манн в свете нашего опыта* [2011, № 9] и *Физики и время: Портреты ученых в контексте истории* [2014, № 2].

Переводчики

В ее переводе опубликованы стихи Г. Гессе, Г. Бенна *Рыцарь безнадежного стоицизма* [*Юность*, 2010, № 2], Ф. Ницше, Р. М. Рильке, Г. Штайэкерт. В *ИЛ* публикуется впервые.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Автор многочисленных научных работ, пяти сборников стихов и переводов. В его переводе публиковались пьесы У. Шекспира, Д. Уэбстера, Д. Форда, Д. Довалоса, стихи Джона Донна, Джона Мильтона, Дилана Томаса, Эдит Ситвелл, Эмили Дикинсон и др.

Автор статей о творчестве О. Паса, Х. Кортасара, Р. Дарио, рецепции французской литературы в Латинской Америке. В ее переводе вышла одна из глав книги *Лабиринт одиночества* О. Паса [2018] и его эссе о Р. Дарио [2017] и Ш. Бодлере [2015]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 13.00 до 17.30).

В оформлении обложки использована индийская миниатюра XVIII века с изображением офицера Вест-Индской компании.

Художественное оформление и макет
АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО,
ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ.

Старший корректор,
секретарь-референт
КСЕНИЯ ЖОЛУДЕВА.

Компьютерный набор
НАДЕЖДА РОДИНА.
Компьютерная верстка
ВЯЧЕСЛАВ ДОМОГАЦКИХ.

Главный бухгалтер
ТАТЬЯНА ЧИСТЯКОВА.
Исполнительный директор
МАРИЯ МАКАРОВА.

Менеджер по правам
МИЛЬДА СОКОЛОВА.

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 68,
стр. 24 (фактический, почтовый); м. "Аэропорт".
Телефон: (495) 225-98-80.
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

Купить журнал можно:
в Москве:

в редакции;
в книжном магазине "Фаланстер" (ул. Тверская, д. 17);
в киоске "Лингвистика" (ВГБИЛ им. М. И. Рудомино,
Николаямская ул., д. 1);

в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (ул. Некрасова,
д. 23);
в книжном магазине "Книжные мастерские" (Камен-
ноостровский пр., д. 10; наб. реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (наб. реки Фонтанки,
д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского
театра);

в книжном магазине "Подписные издания" (Литейный
просп., д.57);

в интернет-магазине "Лабиринт"
(<http://www.labyrinth.ru>)

в интернет-магазине "Ozon"
(<https://www.ozon.ru>)

Официальный сайт журнала:
<http://www.inostranka.ru>


Наш блог:
<http://obzor-inolit.livejournal.com>

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
11.11.21
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1056.
Тираж 2000 экз.

 Отпечатано в
ПАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, Россия, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
Сайт: www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.